АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1977

СОДЕРЖАНИЕ

Белодед И. К. (Киев). Научно-технический прогресс и язык художественной литературы 3

К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Кононов А. Н. (Ленинград). Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы 13

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Скорик П. Я. (Ленинград). К проблеме языковой общности аборигенов северо-востока Азии 27
Зыцарь Ю. В. (Тбилиси). К типологической характеристике эргативной структуры языка басков 37
Ахманова О. С., Гюббенет И. В. (Москва). «Вертикальный контекст» как филологическая проблема 47
Маковский М. М. (Москва). Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях 55
Блох М. Я. (Москва). Проблема тождества предложения в свете соотношения понятий синтаксиса, семантики и информации 73

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Благова Г. Ф. (Москва). О методике изучения морфологии средневековых тюркских поэтических текстов 86
Коготкова Т. С. (Москва). К вопросу об освоении лексико-семантических единиц литературного языка в современных русских говорах 101

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Реферовская Е. А. (Ленинград). Лингвистическая концепция Гюстава Гийома 113

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Демьянов В. Г. (Москва). «Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений» 124
Волков С. С., Мжельская О. С. (Ленинград). «Словарь русского языка XI—XVII вв.» 127
Кумахов М. А. (Москва). *A. H. Kuipers*. A Dictionary of Proto-Circassian Roots 133
Будагов Р. А. (Москва). *В. Г. Гак*. Русский язык в сопоставлении с французским 135
Дэжё Л. (Дебрецен). «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги» 137

Эмиль Бенвенист 140

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1977 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

БЕЛОДЕД И. К.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(На материале современной восточнославянской художественной прозы)

Известно, что одним из важных достижений языковедческой науки XX в. в изучении национального литературного (письменного) языка явилось научное определение, дифференциация его объективно существующих структурных (функциональных, по другой терминологии) стилей — научного, публицистического, словесно-художественного (языка художественной литературы), делового (или официально-делового), эпистолярного, литературно-разговорного, кодицифированного (ораторско-монологического и многообразного диалогического) и т. п. [1].

Лингвистическая (или лингвостилистическая) их характеристика, как и характеристика соответствующих явлений в стихии устной речи (некодифицированной), а также в соотношении этих стилей литературного языка со стилевым комплексом художественной литературы, публицистики, науки, официально-деловой письменности и т. п., дала возможность глубже и четче познать литературный язык в его структурной композиции, в его дифференцированном функционировании в общественной жизни, в его познавательном и эстетическом функционировании. Этому способствовала более углубленно-профессиональная характеристика, например, специфики компонентов языка науки в сравнении с языком художественной литературы, языком деловым; языка художественной литературы — с языком публицистики и т. д. В результате более четко обозначились, определились лингвостилистические границы стилей, сфера их применения и т. п.

В этом же плане много было сделано для характеристики нормы, стандарта литературного языка (в лучшем толковании понятия) в сравнении с комплексом просторечия, индивидуальной ненормированности, авторского «словотворчества». Труды советских ученых (В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, Л. А. Булаховского, А. И. Ефимова, Р. А. Будагова и др.) и зарубежных (Ф. де Соссюра, Б. Гавранка, А. Едлички, В. Дорошевского и др.) способствовали закреплению выработанных понятий как в научно-исследовательской сфере, в общественной практике, так и в учебно-воспитательной деятельности. Все это содействовало повышению

[1] Нельзя согласиться с некоторыми утверждениями о том, что и в самом определении понятия структурного (функционального) стиля литературного языка, и в самом наличии, характеристике функциональных стилей отсутствует «концепция», фундаментальные разработки и т. п.; авторы этих утверждений «пытаются» если не решить, то хотя бы «приблизиться» к решению этой проблемы, «поставить» ее (см. например: Е. С. Троянская, К общей концепции понимания функциональных стилей, сб. «Особенности стиля научного изложения», М., 1976, стр. 24. В дальнейшем изложении, правда, автор не может пройти мимо давно уже существующих в научной литературе классификаций функциональных стилей, а также мимо многообразных научных исследований по данному вопросу).

общей речевой культуры общества в целом, способствовало углублению логики, четкости мышления и речевого поведения каждого человека в отдельности, т. е. развитию общей культуры, цивилизации.

Однако развитие языка — динамический процесс, непосредственно и многообразно связанный, в большей или меньшей степени, в своих временных выявлениях с развитием общества, с происходящими в нем изменениями. Продолжая мысль А. Франса о том, что «слова — это образы, а словарь — это целый мир в алфавитном порядке» [2], отметим, что изменения в общественной жизни середины XX в. нашли, естественно, свое отображение в жизни литературного языка, в частности, в движении его словаря, его стилей и т. д.

Влияние современного бурного научно-технического прогресса, проникающего во все сферы жизни общества, находит свое отображение и в динамике, даже структуре национального литературного языка. «Специальная лексика в наше время,— отмечают советские лингвисты,— стала ведущим источником пополнения словарного состава общеупотребительного литературного языка» [3]. Анализ структурных стилей современного (середина XX в.) литературного языка, соотношения их компонентов (лексики вообще, терминологии в частности, фразеологии, образных средств выражения, соотношения нормы и просторечия и т. п.) показывает, во-первых, во многих случаях размывание (большее или меньшее) строгих, традиционных границ между ними; во-вторых, наличие более сильной, чем прежде, тенденции взаимопроникновения, диффузии этих компонентов.

Как известно, изучение вопроса о художественно-образных элементах в научном языке имеет длительную традицию и разнообразную исследовательскую литературу. В частности, К. Маркс в одном из писем Ф. Энгельсу отмечал: «Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть то достоинство, что они представляют собой художественное целое...» [4]. Известны как приверженцы метафорических компонентов в языке научных произведений, считающих, что в основе всякого понятия таится образ, так и противники этих взглядов. Представители строго научного стиля считают, что «научная терминология старается быть исключительно четкой и, насколько это возможно, свободной от метафор. В этих усилиях особенно важна роль математики, язык которой... совсем не содержит в себе метафор» [5]. Этот же автор подчеркивает, что нельзя принимать метафору за реальность, ибо метафора может привести к иллюзии; конкретно и ясно познать мир поможет точный, конкретный язык [6].

Однако, несмотря на категоричность подобных утверждений, и в настоящее время можно наблюдать как примеры научного языка с ярко выраженной художественно-образной системой, так и художественные произведения, язык которых насыщен определенной научной, профессиональной терминологией, которая не производит здесь впечатления «инородного тела», а является нормальным, общим для всех стилей компонентом национального литературного языка.

Это не исключает, естественно, тенденции к развитию специфических черт какого-либо из стилей, даже выработки в нем определенной даль-

---

[2] А. Франс, Полн. собр. соч., XX, М.— Л., 1931, стр. 362.

[3] Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, К. С. Горбачевич, О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» (в семнадцати томах), ВЯ, 1976, 3, стр. 8—9.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 31, стр. 111—112.

[5] Б. Данэм, Герои и еретики. Политическая история западной мысли, М., 1967, стр. 342.

[6] См. там же.

нейшей изолированности и спецификации, дробления на узкие «языки» или «подъязыки» («подстили»), например: язык кибернетики, спорта, машинный язык и т. п. — в научном стиле; язык массовой информации (радио, телевидение, кино, реклама и т. п.) — в сплаве стилей публицистического, делового, художественного и т. п. Мы не говорим уже здесь о различных современных жаргонах устной речи, например, терминологический или подтерминологический жаргон некоторых групп работников какой-либо узкой профессиональной сферы деятельности (иногда такой жаргон наблюдается среди молодежи, иногда — как словесная игра в кругу близких людей) и т. п.

В советской и зарубежной литературе неоднократно рассматривался вопрос о сленге в английском языке. Зарубежные авторы писали о «лингвистическом бунте» и создании «конформистского языка», к которому прибегают так называемые «левые» будто бы с целью противодействия господствующей идеологии, а на самом деле — это засорение английского (или другого) литературного языка нелитературными речевыми элементами.

Рассмотрим пути и факты проникновения элементов образного слова в научный язык на материале русского, украинского и белорусского языков. Например: «генетический код — „язык узнавания", действующий между членами одной близкородственной группы химических веществ — между нуклеиновыми кислотами» («Наука и жизнь», 1976, 2, стр. 29); ср.: «...Андрея поразила растерянность в ее глазах..., пропавшая в миг узнавания» («Новый мир», 1976, 4, стр. 152); «природа нашла решение в сочетании многообразия с монотонностью» («Наука и жизнь», 1976, 2, стр. 29); «общий нуклеотидно-аминокислотный язык для узнавания молекул нуклеиновых кислот» (там же); генетический код, «с помощью которого эта запись совершается и может быть прочитана...» («Правда», 13 V 1976); «увидели ген, а затем определили, как он „работает"» (там же); «...генная инженерия сможет, не нарушая экологический баланс, добиться нужных результатов путем направленного изменения наследственного аппарата...» (там же). См. еще: «Миобласты — строители мышц» («Здоровье», 1976, 4, стр. 9); «развязывание выбросов угля»; «созвездие металлов»; «протекание выбросов» (из доклада); «В период международной разрядки народы вправе рассчитывать, что перспектива восьмидесятых годов будет определяться не через танковую смотровую щель» («Правда», 19 VII 1976).

Подобные же тенденции и в украинском научном языке: «згоряння при розігріві від тертя в повітрі» (сб. «*На магістралях науки*», Київ, 1976, стр. 74); «просочення фторопластом з антифрикційними присадками» (там же, стр. 75); «спектр матеріалів», «задані властивості матеріалів» (там же, стр. 83); «композиційні матеріали»; «спектр властивостей»; «баланс вільної енергії»; «класичний зразок дисперсно зміцненого композиційного матеріалу» (там же, стр. 84, 86, 87) и др. Ср. также перенесения термина в иную семантическую сферу: «Берегите зрение! Оно дает обширную информацию об окружающем нас мире» («Здоровье», 1976, 4); «Земля — це термодинамічна система»; «глибинні розломи», «кільцеві структури» (сб. «На магістралях науки», стр. 66, 67); «Гібридні обчислювальні системи» (там же, стр. 44).

Подобные примеры наблюдаются и в современном белорусском литературном языке, например: «Назіраемы сігнал можна аднесці, на нашу думку, да наяўнасці пасля радыяцыйнай апрацоўкі двух тыпаў парамагнітных цэнтраў: першы — дзіркі, лакалізаваныя на аніёне, суседнім з катыённым вузлом, і другі — электроны, захопленыя на аніённую вакансію» («Весці АН БССР». Серыя хім. навук, 1976, 2, стр. 40); «Мы лічым, што ў кожнай гаспадарцы павінна быць свая асабістая кладоўка

зялёных кармоў» (С. Д. Лямешчанка, Кладоўка зялёных кармоў, Мінск, 1974, стр. 40); «...не ўсім загадчыкам ферм прышліся да густу новыя ўмовы спаборніцтва» (там же, стр. 4), «Невычарпальнай крыніцай сыравіны для вытворчасці азотных угнаенняў служыць паветра, якое змяшчае 78, 08% азоту» (В. І. Озераў, В. Ц. Сямашка, Эканамічныя асновы хімізацыі земляробства, Мінск, 1971, стр. 8); «Адным толькі хлебным злакам доводзіцца змагацца за існавання з 200—250 відамі пустазелля» (там же, стр. 72); «Практыка показала, што ў такіх брыгадах брыгадзір мала заняты як рабочы і шмат часу затрачвае на адміністрацыйныя абавязкі. Ад гэтага церпіць вытворчасць, таму што брыгадзір, кваліфікаваны рабочы, дасць у гэтым выпадку мала прадукцыі» (М. В. Міронаў, Павышэнне прадукцыйнасці працы ў сельскім будаўніцтве, Мінск, 1972, стр. 60).

Говоря о языке научной литературе, один из исследователей этого вопроса, Е. Рейман, отмечает, что «обороты речи, которыми пользуются ученые, разнообразны не менее, чем обороты речи художественной литературы, но единство предмета языкового изображения в научной литературе приводит к очевидному единству в многообразии используемых языковых средств» [7]. И далее автор отмечает, что в научном стиле нетерминологические лексико-фразеологические элементы, «языковые единицы, получают некую дополнительную качественную специфику, проявляющуюся в предпочтительности одних значений перед другими и в определенной трансформации этих значений. Поэтому и связи отдельных лексических единиц с другими лексическими единицами научного стиля речи другие, чем за его пределами...» [8]. Иными словами, происходит процесс терминологизации нетерминологической лексики и ее сочетаний, а также и процесс обратный — утрата некоторыми терминами своего прямого значения и переход их в разряд обычной лексики. Все это свидетельствует об общей тенденции к сглаживанию границ между стилями литературного языка, обусловленной современной динамикой жизни.

Однако все эти процессы находят наибольшее отражение все-таки в стиле языка художественной литературы. Еще А. В. Луначарский в одной из своих характеристик языкового мастерства А. М. Горького в различных стилях подчеркивал: «Горький идет в публицистике по линии величайшей популяризации, а по линии художественности поднимается до очень высоких обобщений, которые требуют почти той же степени изощрения ума и т. д., как и произведения наших классиков — Маркса и Энгельса» [9]. Нет сомнения, что язык художественной литературы, наряду, очевидно, с языковыми средствами массовой коммуникации, информации, научно-популярной литературы и т. п., является наиболее восприимчивым стилем, отражающим, фиксирующим и перерабатывающим для массового употребления научную терминологию данной эпохи, даже определенного ее периода, влияющим на весь национальный литературный язык, во многом регулирующим соотношение различных его компонентов в лексике, словообразовании, фразеологии, синтаксисе, стилистике.

К сожалению, эти вопросы пока не находят надлежащего освещения в современной лингвистической литературе, о чем свидетельствуют хотя бы тезисы докладов научной конференции Института языкознания АН СССР («Научно-техническая революция и функционирование языков мира», М., 1969).

---

[7] Е. А. Рейман, О нетерминологической лексике научных текстов, сб. «Особенности стиля научного изложения», М., 1976, стр. 178.

[8] Е. А. Рейман, там же, стр. 191.

[9] А. Луначарский, Художник народных масс «Октябрь», 1963, 4, стр. 197.

В результате насыщения языка художественной литературы терминологической, профессиональной лексикой, даже в том случае, когда она входит в метафору, повышается информативность стиля литературного языка, обусловленная не только тематикой произведения, но и самими языковыми специальными компонентами, во многих случаях уже независимо от тематики, а вследствие определенного наполнения словаря, образного изложения, для которых подобные выражения, формулы, словосочетания стали привычными, органически вошедшими в художественный язык.

Итак, можно сделать вывод, что в языке (словесном стиле) художественной литературы, в частности прозы, изменилось соотношение между лексикой общего значения (не говоря уже о специфической «поэтической») и лексикой терминологической в сторону насыщения языка художественного произведения различного рода научной, технической, военной, спортивной и другой профессиональной терминологией. Несколько примеров: «Навіть у світі духу все прямує до своєї протилежності — явище гераклітівської енантіодромії. А тобі лишається так звана фрустація — вигадка інтелектуалів двадцятого віку, ця вимушена відмова від задоволення життєвих потреб» (П. Загребальний, «Вітчизна», 1976, 4, стр. 70); «Но я не смогу ничего предсказать, если они (члены команды судна.— *И. Б.*) будут действовать вне поля моего зрения, моей воли, моего телекинеза. Там их поступки абсолютно непредсказуемы и удивительны, как поведение электрона на орбите: если угадаешь время его появления, то не будешь знать состояния, предугадаешь состояние,— не будешь знать места, где этот подлый электрон в данный миг в пространстве находится»; «Кудрявцев нарушает принцип дополнительности. Он оказался старомодной доверчивой частицей, которая позволяет без труда определить и ее координаты, и массу, и время прибытия и убытия в данную точку. Кудрявцев слетел с орбиты прямо мне в руки, как доверчивый скворец...» («Звезда», 1976, 3, стр. 13); «Как-то это все (семейные отношения.— *И. Б.*) надо сбалансировать, организовать, настроить» («Новый мир», 1976, 4, стр. 46); «...він і є той, прилетілий з безвісті на своїй космічній бригантині» (О. Гончар, Бригантина, Київ, 1973, стр. 179); «То з космосу листи нашій Тоні йдуть,— жартує Демидиха, розвеселившись» (О. Гончар, Тронка, Київ, 1963, стр. 17); «...він не після букваря до вас... Вже й електроніка, і кібернетика, і тонкоші радіотехніки — все під отим картузиком є» (там же, стр. 339).

Белорусский писатель Я. Брыль в повести «Нижние Байдуны» хотя и отмечает, что в первые десятилетия XX в. в белорусской деревне еще не знали таких слов, как *спорт*, *рекорд*, *чемпион*, *трусы* и т. п., которые «не были тогда в моде», все же при изображении деревни того времени и ее людей пользуется словами, образными выражениями настоящего времени, например: «В третий раз Юста *автоматила долгой очередью*», «утренняя зарядка» и др. («Дружба народов», 1976, 2, стр. 17—18).

Другие примеры этого же типа, свидетельствующие о внедрении новой, терминологической лексики в художественный язык: «...раней, да жаніцьбы, ніколі не з"яўляліся такія прыватніцкія бацылы» («Полымя», 1974, 3, стр. 72); «А ты... без перадыху, без адпачынку ўсе жыццё... Берагчы трэба сябэ. А ты ўсё — амбразуры закрываеш» (А. Макаёнок, П'есы, Мінск, 1974, стр. 344); «Чарада бакастых цыстэрн адыходзіць ад сцен...» («Беларусь», 1963, 10, стр. 2); «Абодва мантажнікі, абодвум часта даводзіцца абдымацця з воблакамі» («Беларусь», 1964, 9, стр. 7); «у Васіля Чугаева — вогненная прафесія. Ён — электразваршчык» (там же); «...ствараюць вялікую хімію рэспублікі» (там же); «Ужо створаны і ўжываюцца нясучыя канструкцыі розных будынкаў з пластмасавых профіляў, што

шчыльна ўвязваюцца з сістэмамі ацяплення і вентыляцыі» (там же, стр. 20); «Дабела расплаўленае неба кідала на зямлю сухія патокі сляпучай спякоты» (В. Хомчанка, Цётка Наталка, Мінск, 1975, стр. 3).

Однако, оказавшись в составе языка художественной литературы, терминологическая лексика и фразеология во многих случаях теряет свое профессиональное лицо, свою семантическую окраску и переходит в разряд лексики и фразеологии общеупотребительной. Пути этого перехода: а) терминологизация лексики общеупотребительной; б) детерминологизация в иной семантической среде лексики терминологической; в) расширение функций терминологической лексики и фразеологии в современной производственной, социальной жизни, в быту, насыщение ею всех стилей литературного языка, где она, вследствие активного обращения в процессе массовой коммуникации, натурализации, адаптации и т. п., уже не чувствуется как инородное тело. Сам язык художественной литературы в наше время перестал служить лишь для передачи «звуков сладких и молитв», как когда-то говорил об этом пушкинский поэт (А. С. Пушкин, Поэт и чернь).

Терминологическая лексика и фразеология или посредством взаимопроникновения компонентов, прямого взаимодействия с лексикой и фразеологией общеупотребительной (в результате взаимодействия научного и словесно-художественного стилей, речевой многогранной коммуникации), или также при активном посредничестве научно-популярной, научно-фантастической литературы вошла в художественную метафору, в экспрессивные формы словообразования и словосочетания, и эти явления утверждают ее наличие в языке художественной литературы как одного из его органических компонентов.

Яркой иллюстрацией пропаганды научной терминологии, каналом научной информативности является, например, издание сборников «Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке» (изд-во «Советский писатель»). В двенадцатом сборнике (М., 1976) помещена, в числе других, статья Вл. Орлова «Диогенова жажда», посвященная 250-летию Академии наук СССР и представляющая собой, с точки зрения рассматриваемой нами языковой проблемы, выразительный сплав научного стиля литературного языка со стилем публицистическим, художественным. Автор четко осознает связь стилистических компонентов этих стилей: «Грандиозная информативность потоков изучения исчисляется современными кибернетическими формулами и запечатлелась в старинных поэтических тропах. Светоч как образ знания, борьба света и тьмы как сражение разума с невежеством — такова извечная метафорика научного прогресса» (стр. 5). Однако автор пользуется и метафорикой современной: «Этот лучик (лазерный.— *И. Б.*) оказался удивительно информативным...» (стр. 7); «призрачный шлейф натриевых паров» (там же); «Атом пробудился, и, казалось, забилось в графитовом блоке его огромное сердце» (стр. 8); «Незатихающий прибой электромагнитного волнения плещется вокруг и колышется...» (стр. 18); «Здесь использован некий аккумулятор при ускорителе — накопительное кольцо. В нем реализована красивая идея: накапливать электронные сгустки... Тут недавно поработал синхротрон, впрыснул внутрь сгустки электронов высоких энергий» (стр. 23); «ритм миллионных долей секунды» (стр. 28); «лазерная артиллерия» и т. п. Мы видим и ощущаем, что происходит органическая диффузия, соединение компонентов терминологических и бытовой речи, часто становящихся терминами или терминологическими словосочетаниями.

Широко используется терминологическая лексика в произведениях научно-фантастического характера. Причем здесь писатели, как отмечает исследователь данного вопроса, часто переводят «научной термин в образ-

по-философский план, абсолютизируя философский смысл, заложенный в его основе, и тогда научный термин превращается в образ-символ. При этом почти неизбежно происходит переключение значения термина из мифа физических явлений и процессов — в мир человеческий, социальный» [10]. Однако, естественно, в окружении словесно-художественного контекста «физический термин, поступая на службу искусству, перестает быть самим собой» [11], хотя ассоциативное представление о его первоначальном содержании во многих случаях, ситуациях напоминается.

Таким образом, в определенной степени меняется соотношение, логика взаимодействия стилей современного литературного языка, вес в нем словесно-художественного стиля. Рассмотрим ряд примеров. «Засушила ты себя, *задисциплинировала*. Я-то хоть Левку любила, вся вылюбилась... А ты? Так на *полупроводничках* и проработала, девка...» («Новый мир», 1976, 3, стр. 36); «Мне было отвратительно подумать даже о простом ежедневном *сосуществовании* с Алексеем» (там же, стр. 50); «Такое, увы, не забывается, не прощается, это и есть тот песочек, от которого начинают снашиваться семейные *шестерни*» (там же, стр. 45); «С наслаждением слушала их русскую речь (артистка снова очутилась в рабочей среде, из которой вышла.— *И. Б.*), по которой успела соскучиться..., купалась в музыке родного языка, жаждала еще слов, упругих, точных, имеющих над моей душой неодолимую власть. Я смолоду служила Слову. Сергей (выдающийся артист.— *И. Б.*) тоже не умел ничего другого, за свою жизнь не создал чего-то, что можно было бы взять в руки, съесть или надеть на себя. Созданное им было вполне неосязаемо, но, оказывается, еще не окончательно атрофировались у людей те не открытые наукой органы, которыми воспринимают прекрасное, до которых можно дотронуться Словом и разбудить Высокое?...» (там же, стр. 66). Ср. в научной статье: «Как показал И. П. Павлов,... слово — такой же раздражитель, как и любой внешний фактор» («Правда», 18 V 1976).

«И резкое „кря“, „кря“ *стартовавшей* серой утки» («Наш современник». 1976, 4, стр. 123).

Очень активную жизнь в метафорическом естестве, в словообразовании и словосочетании проходят также слова-термины, как, например, *орбита*, *космос*, *космонавт*, *спутник* и т. п.

Например, «А тут он, Олеша. Денег мешок, а сам простота. Вот она и давай *орбиты* вокруг его делать» («Наш современник», 1976, 1, стр. 127); «С самого начала было решено: в цехе применить новейшие автоматические линии. Использовать космизированные орудия труда..., в институтах министерства давно уже работали над применением в металлургии различных микрочастиц, над внедрением лазерной, плазменной, радиационной технологии. И вот — цех готов» («Новый мир», 1976, 6, стр. 141); «...мчить Віталиків мотоцикл по своїй степовій орбіті» (О. Гончар, Тронка, стр. 227); «Передай: виходжу на орбіту...» (там же, стр. 117); «Коли (він) потрапив на орбіту знатних» (Я. Баш, На крутій дорозі, Київ, 1967, стр. 67); «Молодь рішуча, міцна. Вони виведуть нас на орбіту таких звитяг, що увесь світ ахне...» (Н. Рибак, Час сподівань і звершень, Київ, 1960, стр. 843); «І паляцела вестка с касмічнай хуткасцю» (І. Шамякін, Сэрца на далоні, Мінск, 1964, стр. 337); «Вырашылі запусціць яшчэ аднаго спадарожніка карпа — шчупака» («Беларусь», 1963, 10, стр. 21); «У галаве круціліся нейкія „касмічныя думкі“, далёкія і ад газетных матэрыялаў, і ад справы Савіча» (І. Шамякін, указ. соч., стр. 202); «„Гукан! Гукан!“ — загудзела, загукала, зашумела у Шыковіча у галаве, буццам запрацава-

[10] Н. И. Черная, В мире мечты и предвидения, Київ, 1972, стр. 204.
[11] Там же, стр. 205.

ла там магутная электронна-вылічальная машына...» (там же, стр. 389); «Чулі? Мая Лушка выходзіць на арбіту! У космас ляціць! Трымайце яё!» (А. Макаёнак, П'есы, Мінск, 1974, стр. 191); «...і голас чуўся у касмічнай цішыні дачы...» («Полымя», 1974, 3, стр. 111).

Как в языке художественной литературы, так и в языке публицистики терминологическая лексика часто используется для сатирического эффекта, достигаемого характеристикой какой-либо «малости» сложными терминами, предназначенными для характеристики более серьезных понятий, дел. См., например, в фельетоне И. Шатуновского «Кабан в научном аспекте»: «Н. И. Овсюкова в течение шести лет кропотливо изучала видовой состав гельминтов кабана и меры борьбы с заболеванием его метастронгилезом» («Правда», 20 V 1976). Таким образом, лингвостилистическая характеристика изолированности, замкнутости речевых средств так называемого, например, «производственного» романа, рассказа, очерка и т. п. отходит в прошлое, уступая место более общим характеристикам определенных компонентов языка и стиля в произведениях разных стилей национального литературного языка.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Брежнев, характеризуя глубокий отклик советских писателей на то основное, существенное, чем живет советская страна, весь народ, говорил: «Возьмите, к примеру, то, что ранее суховато называли „производственной темой". Ныне эта тема обрела подлинно художественную форму» [12]. Речь идет, таким образом, о характеристиках глубинных явлений «художественной формы», словесно-художественного стиля. Здесь затрагиваются, требуют освещения не только традиционные вопросы соотношения нормы и просторечия в литературном языке, речевого стандарта и некоторых писательских, индивидуальных «вольностей», за которые ратует Вл. Гусев в статье «Музыка и поэзия прозы» («Лит. газета», 5 V 1976), являющейся его выступлением в обсуждении статьи Ф. П. Филина «Законы языка, тайны слова» — о некоторых явлениях языка современной художественной литературы («Лит. газета», 28 IV 1976), но и более широкие планы жизни современного литературного языка, как русского, так и других литературных языков социалистических наций СССР и литературных языков мира — планы, касающиеся самой их структуры, содержания в настоящую эпоху. Это касается отхода в историю одной части компонентов языка, его метафорики [в частности, многообразной религиозной; например, метафорическое выражение *терновый венок* в романе И. Миксона «Решать тебе»: «Может быть, я в самом деле зарываюсь? Напяливаю *терновый венок* правдоискателя...» («Нева», 1976, 8—9) — является единичным случаем; подобное наблюдается и в языке ряда других произведений] и усиления, динамики иной системы образных средств, соотношения логики стилей.

О некоторых сложностях языкового стиля художественного произведения и его переводе на другой язык говорит и Вл. Гусев в своей рецензии на драматическую поэму Ю. Марцинкявичюса «Собор»: «Мы, отчасти уже привыкшие к деловитой прозе или к слишком специализированной, профессионализированной поэзии, вдруг вновь вспоминаем, что есть в искусстве философско-возвышенное начало... Исторический материал, даваемый Марцинкявичюсом, судя по всему, тяготеет к шекспировскому „грубо"-экспрессивному типу и соответственной стилистике; перевод же

[12] Л. И. Брежнев, Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад XXV съезду КПСС 24 февраля 1976 года, М., 1976, стр. 95.

Д. Самойлова по своей словесной фактуре тяготеет скорее к пушкинскому началу — более строгому, стройному, менее „грубому", экспрессивному, романтическому...» [13].

Язык, стилистика произведений художественного, публицистического, научного, делового слова как в их историческом аспекте, так и в современности требуют освещения в плане всей структуры национального литературного языка в современном соотношении его стилей и языково-стилистических средств. И без научного рассмотрения, анализа, глубокого изучения всех этих вопросов обойтись невозможно — для пользы дела, для научных рекомендаций.

Это тем более правомерно, так как нередки случаи неоправданного употребления терминологической лексики в языке художественного произведения или примитивного конструирования ситуаций анекдотического характера, например: «Дядя Боря (сельский житель, без образования, пожилой человек.— *И. Б.*) выплюнул сигарету и огрел Гнедуху кнутом: — Ну, пошла, кляча водовозная! Сволапая *конвергенция*, мать твою за ногу!». И, наоборот, диалог между подполковником-ракетчиком Анатолием Петровичем и его матерью поражает убогой выдумкой писателя: «— Наши ракетчики сбили неизвестный воздушный шар. Понимаешь? — Понимаю. Я и до войны про них слыхала. Назывались „дериграбли".— Дерижабли...» (В. Петров, Не ждите позывных, Харьков, 1976, стр. 128, 165). Так как нет исправления, то остается непонятным: «дерижабль» — это автор так говорит или корректор; ведь изображаемый персонаж не мог так сказать, так же, как и в случае с анекдотическими «дериграблями». Но, к сожалению, подобное случается не только в провинциальных издательствах...

Вопросы о влиянии НТР на изобразительные средства художественной литературы активно обсуждаются литературоведами-критиками. Ю. Суровцев в статье «Социалистический образ жизни и литература» («Лит. газета», 2 VI 1976) критикует «излишества» «энтээровского» характера: «По страстности и прямоте в обсуждении воздействий НТР на всё и вся, обсуждений и предлагаемых решений, включаемых в текст романа и повести в виде длиннющих монологов и диалогов персонажей, либо в виде „вставных трактатов", подаваемых в одних случаях нейтрально, в других— нескрываемо „от автора", иные произведения сегодняшней прозы не уступят „деловой публицистике"». Отмечается, что в печати уже критиковалась перегрузка языка художественных произведений технической терминологией.

Однако Ю. Суровцев согласен примириться с некоторыми «неукрашающими» язык произведения излишествами в этом плане, например, в повести М. Колесникова «Алтунин принимает решение»: «...ему хотелось, чтобы их семейная жизнь была крепкой, как безупречный стальной слиток, а в ней словно бы появлялись пустоты и рыхлоты», «В освинцованных перчатках, в защитных очках со специальными стеклами, в резиновом фартуке и белой шапочке, он сошелся на „ты" с гамма-дефектоскопами и радиоактивным кобальтом, контролировал качество изделий». Примириться, так как это создает у читателей «стойкое впечатление эстетической правомерности иного, нежели пластика, стиля и художественной удачливости этих произведений в целом».

Даже признавая закономерность новой метафорики, связанной с НТР, лингвист обязан рассматривать сочетание подобных элементов стиля в плане чистоты, эстетики, богатства современного литературного языка.

[13] Вл. Гусев, Дух и архитектура «Собора», «Новый мир», 1976, 9, стр. 262.

И это требование, по нашему мнению, согласуется с первым высказыванием критика и противоречит второму, вызывающему тревогу о забвении взыскательности к слову в любых тематических и жанровых ситуациях, в том числе и «энтээровских». Ведь и писатель, и критик-литературовед, и лингвист не должны забывать о языке как общественном явлении, коммуникативные и эстетические качества которого стоят выше отдельных ситуаций, подчиняясь языкотворческому гению народа.

Это в такой же степени недопустимо, как и незнание средств современного литературного языка, в том числе и профессиональной терминологии, метафорики, при изображении явлений современности, как употребление в этих случаях устаревшей просторечной, архаической (по-украински — курдупельной) лексики, фразеологии, образности.

Американский писатель Дж. Стейнбек, известный, в частности, и как поклонник местных народных речений, слов и т. п., отмечает, что местные говоры «еще не исчезли, но исчезают», «...тот самый благозвучный местный говор, который я оплакиваю, приходился родным чадом неграмотности и невежеству», а ведь «речь людская — это нечто гораздо большее, чем составляющие ее слова и фразы» [14].

Язык художественной литературы фиксирует различные реальности языковой жизни общества и различные стилевые особенности своих творцов-писателей. Мы видим в этой панораме и изысканность художественного языка А. Моравиа (роман «Равнодушные») и рядом — язык, отражающий жаргон социальных низов вплоть до преступного мира («Записки Терезы Нумы» Д. Мараини); видим динамический, насыщенный информацией, предельно сжатый в описаниях, ярко отражающий современное бытие языка стиль американской новеллы XX в. (см., например, сб. «Американская новелла XX в.», М., 1976); видим изысканность, художественный лаконизм языка К. Федина, В. Лидина и рядом — тонко схваченное в своих интеллектуальных верхах просторечие и эллиптичность языка В. Шукшина, просторечно грубоватый, лишенный надуманных ухищрений жаргон персонажей Ю. Трифонова и т. д. Но над всем этим в языке мировой художественной литературы возвышается горьковская концепция литературного, в частности художественного, языка, его строгости и, в этой сфере, классической «нормативности», возвышается то, чему мы, языковеды, преподаватели и учителя, учим как средству мышления, логики, познания, интеллектуальности, эстетики, мысли, человеческого поведения, учим Слову, ибо в начале «бе Слово...», учим тому Слову, которое является репрезентантом культуры, цивилизации, души народа...

Поэтому языковедческая наука обязана вмешиваться и в жизнь художественного слова, так как она ответственна, в теории и в практике, и за него, как и за весь комплекс общенародного литературного языка. Лингвистическая наука обязана вмешиваться в жизнь литературного языка и вырабатывать свои рекомендации, базируясь как на достижениях науки, общественного опыта, речевой литературной практики, так и на речевых устных богатствах творческого языкового гения народа...

Эти явления, как и более общие, и определяют жизнь языка в современную эпоху его развития, в эпоху бурного научно-технического прогресса, на который язык реагирует оперативно и многогранно, утверждая себя как динамическую жизненную систему. Они в большей или меньшей степени характерны для языка современной мировой литературы.

---

[14] Джон Стейнбек, Путешествие с Чарли в поисках Америки, М.. 1965, стр. 107, 108.

60 лет ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

КОНОНОВ А. Н.

СОВРЕМЕННОЕ ТЮРКСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СССР. ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ

XXV съезд КПСС еще раз подтвердил исключительное значение фундаментальных исследований во всех отраслях науки. Прогресс любой науки органически связан с точным определением основных проблем любого научного направления.

В докладе Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС с особой силой подчеркивалось: «На нынешнем этапе развития страны потребность в дальнейшей творческой разработке теории не уменьшается, а, наоборот, становится еще большей. Новые возможности для плодотворных исследований как общетеоретического, фундаментального, так и прикладного характера открываются на стыке различных наук, в частности естественных и общественных. Их следует использовать в полной мере» [1].

Тюркское языкознание входит одним из важнейших компонентов в научную дисциплину, именуемую тюркологией, которая представляет собою комплекс наук, изучающих языки, историю, литературы, культуру народов, говорящих на тюркских языках.

Необходимо со всей решительностью подчеркнуть, что нет и не было единого для всех тюркского языка, а были и есть самостоятельные и равноправные тюркские языки: азербайджанский, казахский, киргизский, туркменский, узбекский, татарский, башкирский, якутский, турецкий и др., которые составляют тюркскую семью языков, как французский, итальянский, испанский, португальский, румынский и некот. др. образуют семью романских языков.

Близкое звучание слов *тюрк* и *турок* никого не должно вводить в заблуждение, и попытки рассматривать один из тюркских языков в качестве изначального и главного тюркского языка, а все другие квалифицировать как его диалекты ничего общего с наукой не имеют.

Тюркские языки, занимающие в Советском Союзе (по численности говорящего на них населения СССР) второе место после славянских языков, имеют в силу этого обстоятельства исключительно важное значение в идеологической, политической и общественной деятельности населения СССР, говорящего на этих языках. Этой важной функцией тюркских языков (равно как и других языков Советского Союза) определяется место тюрк-

[1] «Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза», в кн.: «Материалы XXV съезда КПСС». М., 1976, стр. 72.

ского языкознания (равно как и других тюркологических дисциплин) в системе общественных наук СССР.

Определяя фундаментальные задачи тюркского языкознания в Советском Союзе следует помнить, что «задачи, стоящие перед нашей общественной наукой, могут быть решены лишь при условии самой тесной ее связи с жизнью. Схоластическое теоретизирование может лишь тормозить наше движение вперед. Только связь с практикой может поднять эффективность науки, а это сегодня — одна из центральных проблем.

На XXIV съезде указывалось на то значение, которое имеет создание творческой атмосферы в научной работе. Эта задача и сегодня остается такой же важной, как и вчера. Разумеется, творческое сопоставление взглядов должно основываться на нашей общей марксистско-ленинской идейной платформе» [2].

Советское тюркское языкознание имеет более чем полувековой опыт напряженной творческой деятельности, непосредственно связанной с фундаментальными и практическими задачами, поставленными Великой Октябрьской социалистической революцией перед общественными науками.

Тюркология послеоктябрьского периода (как и советское востоковедение в целом) отличается от предшествующего этапа новым научным содержанием, новым подходом к предмету изучения, новой методологической основой, новой идейной основой. К этим отличительным признакам советской тюркологии следует прибавить еще один, едва ли не самый важный: изучением языков, истории, этнографии, литератур народов Советского Востока занимаются представители самих этих народов, что с полной очевидностью свидетельствует о том, что за сравнительно короткий срок были подготовлены национальные кадры ученых, которые объединялись вокруг вновь созданных высших учебных заведений и филиалов АН СССР, позднее реорганизованных в республиканские Академии наук. В 20-х годах во всех республиках и автономных областях с тюркоязычным населением были созданы научные общества и организации, пропагандировавшие достижения общественных наук.

Одной из важнейших проблем культурной революции на Советском Востоке явилась проблема новой письменности, которая имела два аспекта: создание письменности для народностей, не имевших своей азбуки, и замена старых графических систем — в первую очередь арабского письма — новыми, более удобными алфавитами.

Развитие тюркологии, задачи научные и практические требовали их всестороннего обсуждения, которое и состоялось на I Всесоюзном тюркологическом съезде в Баку 26 февраля — 6 марта 1926 г. [3].

Решения съезда, касавшиеся всех основных проблем тюркологии, не потеряли своего значения и поныне. В разделе резолюции съезда «Об изучении тюркских языков» читаем:

«Заслушав доклад по изучению живых и литературных тюркских диалектов и языков, съезд признает очередными задачами на ближайшее будущее в этой области:

1. Углубление, детальное изучение отдельных языков, наречий и говоров путем собирания и издания языковых материалов и составления отдельных научных грамматик и словарей.

2. Подготовительные работы по сравнительно-исторической грамматике, сравнительному этимологическому словарю и классификации тюркских языков и диалектов.

---

[2] Там же, стр. 73.

[3] «Первый Всесоюзный тюркологический съезд, 26 февраля — 6 марта [1926]. Стенографический отчет», Баку, 1926.

3. Составление библиографии по тюркологии.

4. Продолжение исследований по отношению тюркских языков к другим, алтайским и угро-финским...

5. Организация тюркологической работы на основе коллективного труда в международном масштабе по определенному плану с обеспечением издательской деятельности» [4].

Первый Всесоюзный тюркологический съезд имеет непреходящее значение в истории развития тюркологии в Советском Союзе. Долгое время после съезда, в течение 20—25 лет, основными направлениями советского тюркского языкознания были: 1) разработка фонологических, графических, полиграфических, орфографических основ новых алфавитов; 2) определение опорной диалектной основы для ряда тюркских литературных языков; 3) изучение фонетики, грамматики и лексики тюркских языков; 4) разработка и упорядочение общественно-политической, научной и научно-технической терминологии; 5) создание учебных пособий по родному языку и другим предметам для начальной, средней, высшей школы; 6) создание двуязычных словарей.

Выдвинувшиеся в связи с культурным строительством на первый план практические задачи предопределили преимущественное внимание к синхроническому изучению тюркских языков. «Новое учение о языке», решительно отвергавшее сравнительно-исторический метод, закрывало путь к диахроническому изучению тюркских языков. Эти обстоятельства привели к тому, что в течение 20—40-х годов исторические и сравнительно-исторические исследования на материале тюркских (и других) языков почти не велись.

Начиная с 50-х годов наметился твердый курс на сочетание синхронического и диахронического изучения тюркских языков; историческому и сравнительно-историческому изучению тюркских языков с каждым годом уделяется все возрастающее внимание.

Советская тюркская филология последние 25 лет успешно развивается по следующим основным направлениям:

1. Фонетика и грамматика современных тюркских языков.

2. Историческая фонетика и грамматика отдельных тюркских языков и сравнительно-историческая фонетика и грамматика групп тюркских языков. Общая сравнительно-историческая фонетика и грамматика тюркских языков.

3. Изучение и издание памятников тюркской письменности.

4. Диалектография и диалектология.

5. Лексикография и лексикология.

6. История формирования тюркских национальных языков.

7. Проблемы классификации тюркских языков.

8. Изучение закономерностей развития тюркских языков в советскую эпоху.

9. «Алтайская теория» и тюркское языкознание.

10. Описание, изучение и издание тюркоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках СССР.

11. Изучение истории отечественного тюркского языкознания.

12. Библиография отечественной тюркской филологии.

По всем названным разделам коллективами советских тюркологов, объединяющихся вокруг научно-исследовательских институтов АН СССР и ее филиалов, вокруг институтов республиканских академий, университетов и педагогических институтов, проведена большая и плодотворная

[4] «Первый Всесоюзный тюркологический съезд...», стр. 401.

работа. В рамках данной статьи нет возможности перечислить все изданные за последние годы монографии и статьи по основным проблемам советского тюркского языкознания, а потому многие из них мною не будут названы.

*

1. Изучение фонетики и грамматики тюркских языков в синхроническом плане остается одной из основных задач советского тюркского языкознания. Но, в отличие от периода 30—40-х годов, когда это направление (вместе с современной лексикографией) было едва ли не единственным в нашей тюркологии, в настоящее время изучение фонетического и грамматического строя современных тюркских языков является лишь одним из основных направлений (но не единственным) нашей науки, которое теперь развивается в тесном контакте с сравнительным и сравнительно-историческим тюркским языкознанием.

Следует отметить новое качество, приобретенное советской тюркологией, изучающей фонетику и грамматику современных тюркских языков: исследование современного состояния фонетики и грамматики в целом ряде новейших работ в этой области нашей тюркологии ведется на широком сравнительном фоне, создаваемом путем привлечения материала из соседних тюркских языков, а также из диалектов изучаемого языка.

В области синхронного изучения грамматического строя постепенно формируется понятие внутренне организованной системы грамматических фактов, связанных между собой сложнейшей сетью отношений и противопоставлений. Грамматические исследования на системно-структурном уровне вызывают в свою очередь разработку новой методологии для объяснения многообразия грамматических фактов на основе единых принципов.

Важной отличительной особенностью развития советской тюркологии за последние годы является привлечение нового исследовательского материала, ранее представленного лишь фрагментарно; к нему относятся: сарыг-югурский язык (С. Е. Малов, Э. Р. Тенишев), саларский язык (Э. Р. Тенишев), новые записи из кумандинского диалекта (Н. А. Баскаков), тофаларский язык (В. И. Рассадин), новоуйгурский язык (А. Т. Кайдаров, Г. С. Садвакасов), языки сибирских татар (А. П. Дульзон, Д. Г. Тумашева, Г. Х. Ахатов, Л. В. Дмитриева), тувинский язык (А. А. Пальмбах, Ф. Г. Исхаков, Г. Сат).

Исследование звукового строя тюркских языков ведется теперь на основе использования новейших достижений в этой области. Экспериментальные исследования по фонетике тюркских языков в общем балансе работ в этой области занимают весьма значительное место. При исследованиях по статистике фонем в тюркских языках используется ЭВМ (работы К. Бектаева и его группы, Казахстан; С. Ризаева, Узбекистан). Исследование звукового и грамматического строя тюркских языков ведется также в сравнении с таковым некоторых западноевропейских языков, что отвечает насущным требованиям преподавания родного и иностранных языков в средней и высшей школе советских тюркоязычных республик и областей.

Наряду с экспериментальным методом изучения звукового строя тюркских языков совершенствуется описательный метод, с помощью которого обследованы не только все литературные тюркские языки в СССР и за его пределами, но и подавляющее большинство диалектов.

Целый ряд узловых проблем грамматики тюркских языков долгое время привлекал и продолжает привлекать внимание советских тюркологов; в морфологии к ним относятся: морфологическая структура слова, части

речи, категория залога, глагольный вид, проблема многозначности (вопрос об общих и частных значениях); в синтаксисе: словосочетание и предложение, сложное предложение и некоторые другие.

Несмотря на то, что узловые вопросы морфологии и синтаксиса всех тюркских языков Советского Союза в трудах советских тюркологов получили обстоятельное освещение, ряд кардинальных проблем морфологии (например, глагольный вид или аспект, перифрастические формы глагола) и синтаксиса (например, сложноподчиненное бессоюзное предложение, его виды и отличительные признаки) все еще не получил адекватного решения.

Следует особо подчеркнуть, что разработка основных проблем синтаксиса тюркских языков является целиком заслугой советских ученых; здесь уместно назвать труды Е. И. Убрятовой, Н. З. Гаджиевой, М. Б. Балакаева, Т. Кордобаева, А. Г. Гулямова, Г. Абдурахманова, А. З. Абдуллаева, Ю. М. Сеидова, Г. Г. Саитбатталова, С. Н. Иванова, М. З. Закиева, Е. А. Поцелуевского, А. Н. Баскакова, А. С. Аманжолова, А. С. Сафаева, М. А. Аскаровой, И. Р. Расулова и др.

Обязательное изучение русского языка в нерусских школах СССР явилось стимулом к появлению нового направления — сопоставительного изучения фонетики и грамматики русского и тюркских языков,— которое развивается весьма успешно; дальнейшие достижения в этой очень важной отрасли тюркского языкознания связаны с углубленной разработкой методики сопоставительного исследования разносистемных языков.

Особого внимания заслуживает изучение младописьменных и бесписьменных языков тюрков Сибири: алтайцев, шорцев, тофов, тувинцев, хакасов, долган, чулымских тюрков, барабинских, тобольских, тюменских и томских татар. Значительных успехов за последние годы добились чувашские и якутские языковеды, объединенные соответственно в чувашском НИИЯЛИ и в Якутском ИЯЛИ Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР; успешно развивается изучение уйгурского и каракалпакского языков, тюркских языков Северного Кавказа: кумыкского, карачаево-балкарского, ногайского.

В Тувинском, Хакасском, Горно-Алтайском НИИЯЛИ ведется работа по изучению тувинского, хакасского, алтайского языков.

Шорский, долганский, гагаузский, караимский языки, язык сибирских татар, крымскотатарский язык не имеют своих научных центров, что, конечно, тормозит их планомерное изучение.

2. Историческая фонетика и грамматика отдельных тюркских языков и сравнительно-историческая фонетика и грамматика групп тюркских языков. Общая сравнительно-историческая фонетика и грамматика тюркских языков. Этому аспекту советской тюркологии последние двадцать пять лет уделяется известное внимание, хотя и здесь камнем преткновения была и остается методика исследования, которая не может считаться достаточно разработанной. Понимая значение определения путей и разработки методов исследования исторической фонетики и грамматики тюркских языков, советские тюркологи посвятили этим первостепенной важности проблемам специальное совещание по вопросам методов изучения истории тюркских языков (Ашхабад, 19—22 октября 1959 г.).

Разработка достаточно эффективного метода исследования исторической фонетики и грамматики тюркских языков, по мнению некоторых тюркологов, находится в прямой зависимости от изыскания путей применения сравнительно-исторического метода, разработанного в прошлом столетии на материале индоевропейских и некоторых других

языков; причем организующим началом в индоевропейском сравнительно-историческом языкознании стал праязык, взгляды на который претерпели значительные изменения еще со времен распространения идей младограмматической школы.

Известные методы сравнительно-исторических исследований не могут быть достаточно эффективно применены к тюркским языкам. Основное препятствие применения методики сравнительно-исторических исследований индоевропейского образца заключается в исключительной структурной близости тюркских языков, а это в свою очередь объясняется некоторыми специфическими условиями исторического развития тюркоязычных народов. Следовательно, сравнительно-исторический метод исследования языков, выработанный на материале индоевропейских языков, должен быть дополнен и расширен с учетом специфики исторического формирования и развития тюркских языков.

В силу сказанного выше историческая фонетика и грамматика отдельных тюркских языков и всей семьи в целом, несмотря на известный опыт в этой области (Е. Д. Поливанов, В. А. Богородицкий, Н. К. Дмитриев, В. Л. Котвич, Г. И. Рамстедт, К. Г. Менгес и др.), не вышли еще из стадии предварительных изысканий. Советские тюркологи единодушны в понимании необходимости разработки этих важных проблем современной тюркологии и отчетливо представляют, что для достижения успехов в этой области тюркского языкознания необходимо выполнить большую подготовительную работу: подготовить свод диалектных данных и данных памятников тюркской письменности, составить свод фонетико-грамматических данных по отдельным группам современных тюркских языков, обследовать лексику в сравнительно-историческом плане. Некоторые новые пути и методы сравнительно-исторического изучения языков предлагает Б. А. Серебренников [5].

3. Изучение и издание памятников тюркской письменности началось в середине прошлого века: И. Н. Березин, Н. И. Ильминский, П. И. Демезон (памятники арабского письма); во второй половине прошлого и в начале текущего столетия эту трудную работу с успехом выполняли В. В. Радлов и П. М. Мелиоранский (памятники арабского, рунического и уйгурского письма); в советское время этой работе много сил и времени отдавали А. Н. Самойлович и особенно С. Е. Малов, трудами которого был возведен прочный фундамент для дальнейшей фонетико-грамматической и лексикологической разработки памятников рунического и уйгурского письма.

Советские тюркологи в связи с интересом к истории тюркских языков все чаще обращаются к древнейшим памятникам тюркской письменности — к орхоно-енисейским памятникам.

Первоочередной задачей в этой области тюркского языкознания и истории тюркских народов является подготовка и издание «Корпуса древнетюркских (рунических) памятников», которая осуществляется под руководством С. Г. Кляшторного.

Изучаются не только старые — давно открытые — рунические памятники, ведется также большая работа по обследованию районов, в которых можно ждать новых находок. Новые могильные памятники с рунических надписями найдены в Туве, Киргизии (А. Д. Грач, И. А. Батманов и его сотрудники), в Монголии (С. Г. Кляшторный) и на Северном Кавказе (М. А. Хабичев, С. Я. Байчоров).

---

[5] Б. А. Серебренников, Вероятностные обоснования в компаративистике, М., 1974.

Одной из важнейших проблем советского тюркского языкознания в плане сравнительно-исторических изысканий является проблема тюркской рунологии — комплексной дисциплины, включающей сравнительно-историческую грамматику, историческую лексикологию и палеографию [6].

Последние примерно 20—25 лет характеризуются углубленным вниманием советских тюркологов к древнетюркской проблематике, в особенности к фонетико-грамматическому изучению рунических памятников [7].

Советские тюркологи в связи с повышенным интересом к истории тюркских языков все чаще обращаются к другим (кроме орхоно-енисейских) памятникам тюркской письменности, причем лингвистическое изучение памятников тюркской письменности приобрело новое содержание, проявляется в стремлении изучать памятники в связи с историей конкретного языка, в поисках возможностей оптимального применения сравнительно-исторического метода к тюркским языкам.

Существенное значение для развития тюркологии в части изучения тюркских языков в историческом и сравнительно-историческом планах имеет изучение трудов по тюркскому языкознанию, принадлежащих перу восточных филологов.

В этой связи речь в первую очередь должна пойти о «Дивану лугат иттурк» («Словарь тюркских языков») Махмуда Кашгарского — кладезе лингвистических, этнографических, фольклорных и исторических сведений о тюркоязычных народах,— переведенном на узбекский язык узбекским филологом Салихом Муталлибовым; готовится перевод на русский язык (А. Рустамов). Материалы Словаря Махмуда Кашгарского широко разрабатываются; они послужили основой для ряда статей и диссертаций.

900-летию со времени создания труда Махмуда Кашгарского была посвящена Всесоюзная тюркологическая конференция, состоявшаяся в октябре 1971 г. в Фергане [8].

Почти все важнейшие памятники тюркской письменности, в том числе и грамматические трактаты, изучаются в лексико-грамматическом плане; к ним в первую очередь относятся: «Кутадгу билиг» («Знания, приносящие счастье») Юсуфа Баласагунского, «Кодекс куманикус», «Шейбани-наме» («Книга о Шейбани-хане») Мухаммеда Салиха, «Хибат ал-хакаик» («Подарок истин») Ахмада Югнаки, «Мухаббат-наме» («Книга о любви») Хорезми, «Гулистан» («Розовый сад») Сейфа Сараи, «Диван» (сборник стихов) Михри-хатун, «Кысса-йи Юсуф» («Повесть об Иосифе-прекрасном») Али, «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» («Книга для постижения языка тюрков») Абу-Хаййана, «Китабу булгат ал-муштак фи-л-лугат ат-турк ва-л-кифчак» [«Книга для достижения (знаний) жаждущим (познать) язык тюрков и кыпчаков»] Джамал ад-дина ат-Турки, «Китаб-и маджму-йи тарджуман-и турки ва аджами ва моголи ва фарси» («Общая книга толкования тюркского, монгольского и персидского языков») неизвестного автора, «Санглах» («Каменистая местность») Мехди-хана, «Кысас ал-анбийа» («Сказания о пророках») Рабгузи, «Мухакамат ал-лугатайн» («Тяжба двух языков») Алишера Навои, «Хосров и Ширин» Кутба, «Дах-наме» («Десять писем») Юсуфа Амири, «Диван» (сборник стихов) Гадайи и некот. др.

---

[6] Подробнее см.: И. В. Кормушин, К основным понятиям тюркской рунической палеографии, «Советская тюркология», 1975, 2.

[7] Подробнее см.: Д. М. Насилов, Памятники древнетюркской письменности (орхоно-енисейские и древнеуйгурские) в отечественных тюркологических исследованиях последних лет. Обзор лингвистических публикаций 1969—1974 гг., «Советская тюркология», 1976, 1.

[8] См.: «Советская тюркология», 1972, 1.

Целый ряд перечисленных выше памятников изучен и издан усилиями сотрудников Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР под руководством Э. И. Фазылова, который осуществил также издание сочинения Ходжанди «Латафат-наме» («Книга о красоте», Ташкент, 1976) и подготовил совместно с М. Т. Зияевой издание интереснейшего грамматического трактата XIV в. «Ат-тухфат аз-закийа фи-л-лугат ат-туркиййа» («Изысканный дар тюркскому языку»).

Из последних по времени работ, посвященных изучению истории тюркских языков, следует назвать «Тюркоязычный памятник XIV века „Гулистан" Сейфи Сараи и его язык» (ч. I и II, Алма-Ата, 1975), изданный Э. Н. Наджипом.

Придавая исключительное значение единообразному описанию и исследованию памятников средневековой тюркской письменности, Советский комитет тюркологов поручил группе ученых (Э. И. Фазылов, руководитель, Н. З. Гаджиева, С. Н. Иванов, В. Г. Гузев) разработать примерную схему лексико-фонетико-грамматического описания памятников. Схема для публичного ее обсуждения будет опубликована в журнале «Советская тюркология».

Текстологическому изучению памятников тюркской письменности уделяется сравнительно немного внимания, хотя и в этой области в последнее время появились значительные работы (П. Шамсиев, Х. Сулейманов, С. С. Джикия, Г. Араслы, М. Тахмасиб, Е. И. Маштакова, Э. И. Фазылов и др.).

4. Диалектография и диалектология. В настоящее время диалектографическим обследованием охвачена вся территория расселения тюркоязычных народов СССР; собран огромный диалектографический материал; почти во всех научно-исследовательских учреждениях тюркоязычных республик и областей имеются отделы, секторы, группы, занимающиеся диалектографической и диалектологической работой.

Успехи советских ученых в изучении тюркских диалектов СССР бесспорны; но они долгое время имели отношение только к одной области — к диалектографии, так как усилия наших ученых были сосредоточены на собирании диалектных данных, их описании и издании. Большой фактический материал по тюркским диалектам, собранный и исследованный советскими тюркологами, позволил (начиная с 60-х годов) перейти к новому этапу изучения тюркских диалектов — к тюркской диалектологии, к созданию диалектологических атласов и обобщающих трудов. Наибольших успехов в этой трудной области тюркского языкознания добились ученые Азербайджана, Татарии, Узбекистана [9].

В целях координации деятельности советских тюркологов по изучению диалектов последние годы регулярно созываются специальные совещания. Пятое совещание (Баку, 1973) наметило в качестве основных задач следующие: 1) создание атласа тюркских языков и диалектов Советского Союза (руководитель М. Ш. Ширалиев); 2) составление диалектных словарей тюркских языков; 3) изучение исторической диалектологии тюркских языков.

В настоящее время на базе «Вопросника», разработанного Сектором тюркских языков ИЯ АН СССР, ведется сбор материалов по намеченным зонам; в южносибирской зоне сбор материала уже закончен (Е. И. Убрятова). В целях единообразной записи диалектальных материалов было решено разработать единую унифицированную фонети-

[9] Подробнее см.: Э. Р. Тенишев, О работе над «Диалектологическим атласом тюркских языков Советского Союза», сб. «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии», Л., 1974, стр. 101—107.

ческую транскрипцию для тюркских языков, проект которой (составитель Н. А. Баскаков) разослан в ведущие академические и учебные учреждения для широкого обсуждения.

Учитывая исключительное значение единообразного описания и исследования фонетического и грамматического строя и лексики диалектов тюркских языков, Советский комитет тюркологов поручил Сектору языка Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского ФАН СССР (Л. Т. Махмутова) разработать примерную схему описания диалектов; схема для ее обсуждения будет опубликована в журнале «Советская тюркология».

Советские тюркологи-диалектологи принимают участие в разработке некоторых проблем тюркской лингвогеографии, которая имеет важное значение для создания истории тюркских языков. С проблемами истории тюркских языков и их диалектов тесно связано их ареально-лингвистическое изучение, начало которому на материале тюркских языков Средней Азии и Казахстана положено Н. З. Гаджиевой.

Советские тюркологи принимают участие в разработке лингвистического атласа Европы.

5. Лексикография и лексикология. Составление тюркских словарей — первая по времени область изучения тюркских языков — имеет длительную историю в русской тюркологии; достаточно вспомнить словари Будагова, Вербицкого, Радлова, Пекарского, Ашмарина, Юдахина, чтобы составить представление об отечественной лексикографической традиции.

Подводя итоги лексикографической деятельности советских тюркологов, мы можем с удовлетворением отметить, что почти по всем тюркским языкам СССР, а также по турецкому языку составлены общие двуязычные словари, специальные (терминологические, орфографические) и толковые словари (казахский, азербайджанский, туркменский, татарский, киргизский, узбекский). Особого упоминания заслуживает «Древнетюркский словарь» (Л., 1969).

Успешно развиваются два новых направления тюркской лексикографии: создаются фразеологические словари и диалектографические словари. Последние годы ведется работа в одной из труднейших областей языкознания, включающей в себя историческую лексикологию и лексикографию. Опубликованы этимологические словари: чувашского языка (В. Г. Егоров), казахского языка (коллектив авторов), этимологический словарь тюркских языков, т. I (Э. В. Севортян); изданы материалы по этимологическому словарю узбекского языка (А. Г. Гулямов).

Богатый многолетний опыт лексикографической работы, наличие словарей по всем тюркским языкам подготовили почву для перехода к новому этапу работы над тюркской лексикой — к лексикологии (синхронической и диахронической), которая представлена рядом значительных исследований — «Киргизская лексикология» Б. М. Юнусалиева, два труда А. К. Боровкова «Бадāʼи ʿ ал-лугāт» («Редкости лексики») и «Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв.», исследования Э. И. Фазылова «Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века» (I—II), лексика азербайджанского языка разработана в исследованиях С. Джафарова, А. Курбатова, В. И. Асланова, Дж. В. Каграманова, «Фонетика и лексика тофаларского языка» В. И. Рассадина, «Историческое развитие лексики тюркских языков» (коллектив авторов) и ряд других исследований. Первый опыт сравнительного изучения тюркской лексики представлен книгой К. М. Мусаева «Лексика тюркских языков в сравнительном освещении» (М., 1975). Особенно успешно развивается изучение тюркской профессиональной лексики (С. Ибрагимов и мн. др.). К сожалению, большой

многолетний труд Э. Н. Наджипа «Историко-сравнительный словарь памятников XIV в.» все еще ждет своего издания.

Значительный интерес для истории культурных связей тюркоязычных народов представляет изучение ранних лексических заимствований из китайского и согдийского языков, а также заимствований из арабского и иранских языков в тюркских языках и заимствований из тюркских в арабском и иранских языках, тюркско-алтаистические (монголо-тунгусо-маньчжурские) лексические параллели. Удачным опытом исследования этого направления является книга А. В. Романовой, А. Н. Мыреевой, П. П. Барашкова «Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков» (Л., 1975).

Особый интерес для изучения взаимодействия русского и тюркских языков представляют темы: тюркизмы в русском языке и руссизмы в тюркских языках; в этой области мы с удовлетворением можем отметить известные успехи, назвав недавно изданный «Словарь тюркизмов в русском языке» (Алма-Ата, 1976), составленный Е. Н. Шиповой. Заслуживает быть особо отмеченным первый опыт теоретического обобщения тюркской лексикографической практики, который представлен в книге А. А. Юлдашева «Принципы составления тюркско-русских словарей» (М., 1972).

Изучение лексики теснейшим образом связано с исследованием фразеологии, семасиологии, с одной стороны, и терминологии, с другой. Проблемы фразеологии — одним из зачинателей разработки которой является С. К. Кенесбаев, автор ряда работ по казахской фразеологии,— привлекают последние годы все возрастающее внимание.

Бурное развитие научной, технической и общественно-политической терминологии в тюркских языках СССР давно поставило в порядок дня изучение и нормирование терминотворчества, которое нередко осуществляется стихийно.

В обширной области лексикологии все большее место занимают две специальные дисциплины: топонимика и ономастика.

6. История формирования тюркских национальных языков. На пути к успешному решению этой проблемы, давно привлекающей внимание советских лингвистов, философов, историков, стоит ряд существенных препятствий, к числу которых в первую очередь относятся отсутствие точно разработанной методики исследований этой проблемы на материале восточных (в частности — тюркских) языков и то обстоятельство, что не всегда ясно прослеживаются все этапы развития социальной истории, сложения общностей (племя, народность, народ, нация) и т. п. Отсутствие точно документированных (в отношении этнической принадлежности) памятников или еще чаще отсутствие каких бы то ни было письменных памятников также является существенным препятствием на пути исследования этой важной проблемы.

При таком положении исследовательского материала совершенно необходимо объединение усилий историков, археологов и лингвистов, которым в первую очередь надлежит выработать метод исследования, особо памятуя о том, что изучение процесса сложения литературного языка не может заменить изучения истории сложения общенародного языка.

7. Проблема классификации тюркских языков и диалектов. Несмотря на ряд новых попыток (С. Е. Малов, Н. А. Баскаков, Б. А. Серебренников, Р. Р. Арат, И. Бенцинг, К. Менгес), эта проблема остается нерешенной; основное затруднение, встающее на пути исследователя,— недостаточная изученность фактического материала (в первую очередь сравнительно-исторической фонетики и грамматики тюркских языков) и неразработанность методики исследования этой проблемы.

8. Изучение закономерностей развития тюркских языков в советскую эпоху имеет исключительно важное практическое значение. Изучение процессов развития, стабилизации и совершенствования современных тюркских языков Советского Союза представляет исключительный научный интерес.

Расширение общественных функций литературных языков народов СССР обогатило эти языки разнообразной терминологией, охватывающей все отрасли экономики, науки и культуры. Некоторой перестройке подверглась фонетическая структура тюркских языков, в которой наряду с прямыми заимствованиями звуков изменились в некоторой степени и фонетические закономерности; изменения коснулись и системы акцентуации, а также отдельных моментов морфологического строя тюркских языков; заметные типологические изменения произошли в синтаксисе тюркских языков.

«Расширение общественных функций языка, появление художественной, общественно-политической, научной, публицистической литературы, многообразие форм использования литературного языка в общественной жизни республик, развитие сценической речи, передачи по радио — все эти новые формы применения литературного языка привели к широкому использованию многих потенциальных возможностей тюркских языков, из которых одни были присущи природе тюркских языков, а другие были вызваны внешними импульсами и, в частности, влиянием синтаксических норм русского языка» [10].

Необходимо со всей решимостью подчеркнуть исключительную актуальность исследований социальных аспектов двуязычия и многоязычия народов СССР; с этой важной проблемой теснейшим образом связана острая необходимость ведения планомерной борьбы против извращения буржуазными фальсификаторами процесса развития национальных языков в СССР.

Развитие тюркских литературных языков теснейшим образом связано с проблемами совершенствования алфавитов и орфографии, что в свою очередь находится в связи с проблемами орфоэпии [11].

Для изучения сложных процессов развития языков народов и народностей Советского Союза при Отделении литературы и языка АН СССР создан и успешно функционирует Научный совет по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» (председатель Ю. Д. Дешериев).

9. «Алтайская теория» и тюркское языкознание. Самый факт наличия общих элементов в лексике, фонетике, грамматике тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также (что весьма вероятно) японского и корейского языков чрезвычайно важен и оспаривать его невозможно. Однако восходят ли эти общие элементы к языку-основе или они возникли в результате многовекового взаимодействия носителей этих языков, наука пока не знает.

В этих условиях наличие в «алтайских» языках общих элементов следует воспринимать как непосредственную действительность, которая должна быть использована для установления древнего состояния фонетики и морфологии тюркских и других «алтайских» языков.

---

[10] «Основные процессы внутриструктурного развития тюркских, финно-угорских и монгольских языков». М., 1969, стр. 41.

[11] Этой важной научной и практической задаче посвящен ряд исследований: Н. А. Баскаков, О современном состоянии и дальнейшем совершенствовании алфавита для тюркских языков народов СССР, ВЯ, 1967, 5; сборники: «Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР», М., 1972; «Орфография тюркских литературных языков СССР», М., 1973.

Пользуясь данными только тюркских языков, нельзя реально представить состояние тюркских языков глубже VII в. н. э.; за это время фонетический и грамматический строй изменился столь незначительно, что, основываясь только на названных материалах, невозможно воссоздать тюркскую праязыковую схему даже как первичную рабочую гипотезу.

Следовательно, единственный путь, с помощью которого можно рассчитывать на успешное решение основной проблемы — создание сравнительно-исторической грамматики тюркских языков, есть путь, выводящий исследователя за пределы тюркской языковой семьи. Только на основе материалов алтайских языков возможно в первом приближении реконструировать фонетику и морфологию тюркских языков. Однако эта возможность представится, судя по состоянию исследовательского материала, весьма не скоро. Отсутствие сравнительно-исторических грамматик монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, создание которых встречает еще бóльшие трудности (из-за краткости письменной традиции), чем составление аналогичной грамматики тюркских языков, значительно осложняет решение этой важнейшей задачи алтайского языкознания.

В настоящее время, судя по состоянию разработки фактического материала отдельных алтайских языков, остается одна-единственная возможность — создание (на основе известных памятников тюркской письменности) сравнительно-исторической грамматики тюркских языков с ограниченной задачей освещения и приведения в систему того фактического материала, которым реально располагает современное тюркское языкознание, при непременном сопоставлении с фактами других алтайских языков. Эта полумера приблизит нас к решению проблемы в целом — к созданию сравнительно-исторической грамматики алтайских языков.

10. Описание, изучение и издание тюркоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках СССР. Бесценным достоянием народов Советского Союза являются коллекции восточных рукописей, хранящиеся в Ленинграде (ЛО ИВ АН СССР, Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Восточный факультет ЛГУ, Восточный отдел. Гос. Эрмитажа), в Москве [Музей восточных культур; МГУ — Научная библиотека им. А. М. Горького; Центральный Гос. Архив древних актов (СССР)], в Ташкенте (ИВ АН УзССР), в Баку (Республиканский рукописный фонд АН АзССР), в Ереване (Матенадаран — Научно-исследовательский институт древних рукописей при Совете Министров АрмССР), в Казани (Казанский гос. университет), в Душанбе (ИВ АН ТаджССР), в Тбилиси (АН ГрузССР), в Ашхабаде (АН ТуркмССР), в Алма-Ате (АН КазССР), в Махачкале (ИИЯЛ Даг. филиала АН СССР), в Уфе и других городах. Во всех названных местах ведется работа по систематизации, описанию, составлению каталогов и изданию (в оригиналах и переводах) памятников культуры народов Азии. Для успешной работы в этой области необходимо выработать общие принципы описания рукописей.

11. Изучение истории отечественного тюркского языкознания. История отечественного тюркского языкознания — ученые, их деятельность, учебные и научно-исследовательские заведения и пр. — все чаще вызывает интерес советских тюркологов. Определился довольно широкий круг ученых, которых привлекает эта благородная и благодарная тема. Работа идет по следующим главным темам-направлениям:

1) Тюркологи, их жизнь и деятельность. В этой важной области исследования истории отечественного востоковедения заметны значительные

успехи — написаны и изданы работы, освещающие жизнь и творческий путь ряда выдающихся отечественных ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной тюркологии. К ним относятся: В. В. Радлов, Ч. Ч. Валиханов, И. А. Алтынсарин, О. Н. Бётлингк, К. Насыри, Ф. Е. Корш, М. А. Казем-бек, И. Я. Яковлев, В. В. Григорьев, Н. И. Ильминский, П. М. Мелиоранский, В. В. Бартольд, К. Г. Залеман, Н. Ф. Катанов, Э. К. Пекарский, Н. И. Ашмарин, А. А. Диваев, А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, А. А. Семенов. Е. Д. Поливанов, А. Е. Крымский, В. А. Богородицкий, Б. В. Чобан-заде, В. А. Гордлевский, Н. К. Дмитриев, В. М. Жирмунский, Н. Т. Сауранбаев, А. А. Пальмбах, А. П. Поцелуевский, Х. Байлиев.

В последние годы много сил и времени отдано развитию новой отрасли отечественного востоковедения (в том числе и отечественной тюркологии) — биобиблиографическим словарям: С. Д. Милибанд, Биобиблиографический словарь советских востоковедов, М., 1975; Б. В. Лунин, Историография общественных наук в Узбекистане. Биобиблиографические очерки, Ташкент, 1974; его же, Биобиблиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана. I. Ташкент, 1976; «Биоблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период», М., 1974; Словари азербайджанских, узбекских, уйгурских языковедов. Пришло время приступить к составлению биобиблиографического словаря советских тюркологов-лингвистов (предложение Ф. Д. Ашнина).

2) История отечественной тюркской филологии, включающая историю учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, привлекает все возрастающее внимание советских ученых; здесь в первую очередь следует назвать известные работы Б. М. Данцига, Б. В. Лунина, Н. А. Баскакова, Н. А. Мазитовой. А. П. Базиянца, коллективную работу «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР», монографии по истории Московского, Ленинградского, Ашхабадского, Ташкентского, Тбилисского университетов, в которых освещается история изучения и преподавания тюркских языков в этих учебных заведениях.

12. Библиография отечественной тюркской филологии. Книги и сборники, монографии и статьи по различным вопросам тюркской филологии, ежегодно издаваемые в СССР на русском и тюркских языках, столь многочисленны, что учесть их отдельному ученому не представляется возможным. В свете сказанного понятно и оправдано стремление, отчетливо проявившееся в последние годы, к созданию библиографий, библиографических указателей и списков по различным аспектам тюркской филологии (Ф. Д. Ашнин. А. Г. Каримуллин, Ш.Ш. Сарыбаев, Н. П. Петров. Т. М. Гарипов, М. Л. Рафиков, З. Г. Ураксин, А. Т. Кайдаров, Н. Бейшекеев, А. К. Сверчевская, Т. П. Черман, С. Аширбаев, Л. Г. Чичулина и др.). Следующим необходимым этапом обеспечения ученых надежной и своевременной информацией о новых работах в области тюркской филологии должно быть создание специального органа «Библиография советской тюркологии».

Ближайшими задачами, вытекающими из истории развития советской тюркологии и намеченными рядом координационных совещаний по различным проблемам тюркского языкознания, являются: 1) совершенствование методов и приемов, применяемых при описательном, историческом сравнительно-историческом, сопоставительном изучении звукового и грамматического строя тюркских языков; дальнейшая разработка методологических основ исследования грамматики на системно-структурном уровне;

расширение использования новейших технических средств: экспериментальная фонетика, ЭВМ и др.; 2) разработка проблемы «„Алтайская теория“ и тюркские языки»; 3) изучение истории отдельных языков; истории групп близкородственных языков и общей истории тюркских языков; 4) разработка проблем классификации и исторической периодизации тюркских языков; 5) совершенствование методов изучения лексики тюркских языков и лексикографической практики; 6) совершенствование методов собирания и изучения диалектных материалов; создание диалектологических атласов отдельных тюркских языков и составление тюркских «областных» словарей; подготовка диалектологического атласа тюркских языков СССР; 7) изучение закономерностей развития тюркских литературных языков; вопросы нормализации тюркских литературных языков; проблемы стилистики в синхронии и диахронии; 8) изучение процессов взаимодействия и контактов тюркских и нетюркских языков: взаимодействие русского и тюркских языков, тюркских и соседних нетюркских языков (Поволжье, Кавказ, Средняя Азия; тюркские и иранские языки); 9) разработка на тюркологическом материале проблемы «Нация и национальный язык»; 10) совершенствование алфавитов, орфографий, орфоэпических норм; 11) создание корпуса памятников рунического письма; 12) совершенствование методики описания рукописей памятников тюркской письменности; 13) углубленное изучение истории отечественной тюркологии; 14) создание библиографии тюркской филологии.

Эта программа действий советских тюркологов является программой-максимум, осуществление которой потребует объединения усилий всех отечественных тюркологов. Залогом успешного осуществления этой большой программы является наличие во всех тюркоязычных республиках и областях, а также в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Тбилиси, Ереване больших коллективов высококвалифицированных тюркологов. Одной из важнейших задач на этом пути является умелое и четко организованное содружество и взаимодействие всех советских тюркологов.

Президиум АН СССР, учитывая, что «за последние годы все большее значение и масштабы приобретают работы советских ученых в области тюркологии», постановил (11 октября 1973 г.) «в целях улучшения координации научных исследований в области тюркологии, а также усиления международных контактов и научного сотрудничества с тюркологами зарубежных стран... организовать при Отделении литературы и языка АН СССР Советский Комитет тюркологов».

Советский Комитет тюркологов наметил обширную программу своей деятельности, частично уже реализованную [12].

Всесоюзный тюркологический журнал «Советская тюркология», получивший уже признание широкой общественности, открывает перед тюркологами новые широкие возможности оперативно освещать достижения советской тюркологии и откликаться на ее повседневные нужды [13].

Ведущий лозунг десятой пятилетки — эффективность и качество — имеет самое непосредственное отношение к деятельности всех трудящихся СССР, а следовательно, он и для нас, тюркологов, должен стать программой действия, мобилизующей всех ученых на повышение эффективности и качества научных исследований.

Приближающееся 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новые пути и горизонты перед отечественной наукой, послужит новым вдохновляющим стимулом в научных изысканиях советских тюркологов.

---

[12] См.: «Советская тюркология», 1974, 2; 1975, 5.

[13] Подробнее см. статьи М. Ш. Ширалиева и И. С. Сеидова в журнале «Советская тюркология», 1975, 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

СКОРИК П. Я.

К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ АБОРИГЕНОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Проблема характера языковых отношений северо-востока нашей страны — Чукотки и Камчатки — представляет определенный научный интерес. Она является составной частью более обширной проблемы: расселение и межплеменные отношения аборигенов азиатского и американского континентов. Эта проблема, издавна привлекающая внимание наших и зарубежных ученых (историков, археологов, этнографов и языковедов), связана с гипотезой о «палеоазиатах», высказанной еще в первой половине XIX в. русским исследователем Л. И. Шренком. Под термином «палеоазиаты» Л. И. Шренк условно объединил народности, являющиеся, по его мнению, остатками древних обитателей Сибири. В связи с миграцией народов с юго-запада на северо-восток древнее население Сибири, согласно гипотезе Л. И. Шренка, было частью ассимилировано, частью вытеснено в Северную Америку (далее в Гренландию) и сохранилось в Сибири лишь в виде отдельных небольших групп [1]. Правда, была высказана и диаметрально противоположная точка зрения, связывающая происхождение народностей северо-востока Азии с американским континентом [2]. На этом основании не только эскимосов и алеутов, но и некоторые другие народы азиатского континента (чукчей, коряков, ительменов, нивхов, юкагиров) предлагалось называть американоидными. Однако эта точка зрения не имеет под собой реального основания и потому не получила сколько-нибудь широкого распространения. Что касается гипотезы об азиатском происхождении указанных народов, то ее разделяет большинство ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Эта гипотеза получает все большее подтверждение в исследованиях этнографов, историков и археологов [3]. В ее пользу свидетельствуют также исследования в области палеоазиатских языков.

---

[1] Л. И. Шренк. Об инородцах Амурского края, III, СПб., 1903.

[2] K. Birket-Smith. The question of origin of Eskimo culture, «American anthropologist», 32, 4, 1930; F. Boas, The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay, New York, 1907; W. Jochelson, The ethnological problems of the Bering sea, «Natural history», 26, 1926.

[3] См., например: С. И. Руденко, Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема, М.— Л., 1947; А. М. Золотарев, Из истории этнических взаимоотношений на северо-востоке Азии, «Изв. Воронежск. гос. пед. ин-та», IV, 1938; Б. Ф. Дебец, Происхождение коренного населения Америки, «Труды ин-та этнографии АН СССР», 16, 1951; И. П. Ларичева, Новые черты каменной индустрии верхнего палеолита Северной Америки и проблема контактов его с культурами Старого Света, «Материалы конференции „Этногенез народов Северной Азии“», Новосибирск, 1969; Н. Н. Диков, В Америку через Камчатку, «Дальний Восток», Хабаровск, 1970, 6.

К палеоазиатским относятся языки двух генетически обособленных групп: чукотско-камчатской (чукотский, корякский, алюторский, керекский, ительменский) и эскимосско-алеутской (эскимосский, алеутский), а также три генетически изолированных языка: юкагирский, кетский и нивхский [4].

Выявление генетических связей и взаимовлияний языков коренного населения северо-востока Азии — такова целенаправленность исследований советских лингвистов-палеоазиатоведов. Работа над проблемой — обширной и сложной — подразделяется на два этапа: углубленное исследование и всестороннее описание конкретных палеоазиатских языков; сравнительное исследование указанных языков (выявление их генетических связей и взаимовлияния). Исследования первого этапа близятся к своему завершению. Выполнены монографические описания всех палеоазиатских языков и значительной части их диалектов. Большинство работ опубликовано, остальные находятся в издательстве или готовятся к печати [5].

Наряду с завершением исследовательской работы первого этапа выполняются и исследования, относящиеся ко второму этапу. Так, изданы краткие сравнительные очерки эскимосско-алеутских и чукотско-камчатских языков, а также отдельные сопоставительные исследования в области этих языковых групп [6]. Опубликовано коллективное исследование по вопросу склонения в палеоазиатских языках [7], ведутся исследования по структуре предложения. Кроме того, элементы сравнительного анализа, довольно существенные, содержит выполненные описания конкретных языков.

В настоящее время уже имеется возможность в какой-то мере обобщить данные по вопросу о языковых отношениях коренных народностей Крайнего северо-востока Азии и рассмотреть возникшие по этому вопросу дискуссионные моменты.

Как показывают исследования, у аборигенов Крайнего северо-востока Азии (чукчей, коряков, алюторцев, кереков, ительменов, эскимосов) имеется много общего в материальной и духовной культуре, а также в языке.

По вопросу о языковых связях указанных народностей у исследователей нет единства мнений. Различие точек зрения в основном касается ительменского и эскимосского языков.

В. Г. Богораз, впервые давший научное описание чукотского, корякского и ительменского языков [8], а также языка азиатских эскимосов, первые три выделил в группу родственных, получивших впоследствии

---

[4] П. Я. Скорик, Палеоазиатские языки, сб. «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967.

[5] П. Я. Скорик, Итоги и задачи исследования в области палеоазиатских и самодийских языков, сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», Л., 1974.

[6] Г. А. Меновщиков, Экскимосско-алеутские языки, сб. «Младописьменные языки СССР», Л.— М., 1959; его же, Эскимосско-алеутские параллели, «Уч. зап. ЛГПИ», 167, 1952; его же, Эскимосско-алеутская языковая общность и ее отношение к другим языкам, «Происхождение аборигенов Сибири», Томск, 1973; П. Я. Скорик, Чукотско-камчатские языки, «Младописьменные языки СССР»; его же, К вопросу о сравнительном изучении чукотско-камчатских языков, ИАН ОЛЯ, 1968, 6; его же, О генетической общности чукотско-камчатских языков, «Происхождение аборигенов Сибири», Томск, 1969; его же, О языковых отношениях аборигенов Крайнего северо-востока Азии, «Происхождение аборигенов Сибири», Томск, 1973.

[7] Сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», Л., 1974.

[8] W. Bogoras, Chukhee, в кн.: F. Boas, Handbook of American Indian languages, pt. 2, Washington, 1922.

название «чукотско-камчатские языки». В результате дальнейших исследований генетическая общность чукотско-камчатских языков получила подтверждение, и в этой группе, кроме трех указанных языков (чукотского, корякского, ительменского), было выявлено еще два — алюторский и керекский. При этом исследования показали, что в составе чукотско-камчатской языковой группы ительменский занимает обособленное положение.

Высказанная еще на рубеже XIX—XX вв. гипотеза о генетической принадлежности ительменского языка к чукотско-камчатской языковой группе бесспорно разделялась всеми палеоазиатоведами. Однако в последнее время предпринята попытка противопоставить ей другую, диаметрально противоположную точку зрения. Согласно этой последней, ительменский язык генетически не связан с другими чукотско-камчатскими языками, наличие в нем элементов общности с этими языками является результатом заимствования. Мотивируется такая точка зрения тем, что ительменский язык имеет резко отличительные особенности в области фонетики и лексики [9]. Кстати, такое предположение не является новым. Оно было высказано еще в середине XVIII в. первым исследователем Камчатки С. П. Крашенинниковым [10]. Но он, как известно, не был языковедом, да к тому же располагал только лексическим материалом, причем довольно ограниченным. В настоящее время, когда ительменский язык подвергся уже достаточно углубленному исследованию [11], такую постановку вопроса едва ли можно считать правомерной.

Исследования ительменского языка свидетельствуют о том, что он действительно существенным образом отличается от всех других чукотско-камчатских языков, особенно в области фонетики и лексики. При этом резкое фонетическое отличие связано в основном с консонантизмом. Ительменский язык имеет 28 согласных, в то время как в корякском их — 18, в чукотском — 14, в алюторском и керекском — по 13. К тому же, в отличие от четырех других языков, в ительменском глухие щелевые противополагаются звонким, а шумные смычные — двусмычным (абруптивам). Что касается ительменской лексики, то бóльшая половина ее не связана с лексикой остальных языков чукотско-камчатской группы. Но все же значительной частью лексического состава ительменский объединен с ними. При этом в одном случае ительменская лексика является общей с корякской и алюторской, но отличается от чукотской и керекской, ср., например: ит. *вэтаткэс*, кор. *вэтатэк*, ал. *витатэк*, чук. *мичирэтэк*, кер. *микчиjатэк* «работать» [12]. В другом случае ительменский имеет общую лексику с чукотским, корякским, алюторским языками и различную с языком керекским, ср.: ит. *jэлкэткэс*, чук. *jэлкэтэк*, кор. *jэлқэтэк*, кер. *pʔujak*. В третьем случае ительменская лексика выступает как общая с корякской, алюторской и керекской, но отличается от чукотской: ит.

---

[9] D. Worth, La place du Kamtchadal parmi les langues soi-disant paléosibiriennes, Louvain, II, 2, 1962; И. С. Вдовин, К проблеме этногенеза ительменов, «Материалы конференции „Этногенез народов Северной Азии“», Новосибирск, 1969; А. П. Володин, Отношение ительменского языка к другим чукотско-камчатским языкам, «Происхождение аборигенов Сибири», Томск, 1969.

[10] С. П. Крашенинников, Описание земли Камчатки, М., 1948, стр. 158—160.

[11] А. П. Володин, Ительменский язык, Л., 1976. В этой работе автор уже не считает точку зрения об отсутствии генетической общности ительменского с другими чукотско-камчатскими языками единственно правильной (стр. 18).

[12] Примеры (здесь и дальше) даются на русском алфавите, дополненном буквами для обозначения специфических фонем чукотско-камчатских языков: *қ* — увулярной глухой смычной согласной, *ӈ* — сонорной смычной заднеязычной согласной, *w* — сонорной щелевой губно-губной согласной, *ʔ* — гортанно-смычной согласной, *ə* — неопределенной редуцированной гласной.

панэл, кор. *пэнкэл*, ал. *панкан*, кер. *панкан*, чук. *кʔэли* «шапка». Сравнительно меньше слов ительменского языка объединяет его со всеми другими чукотско-камчатскими языками. Но эти слова, как правило, относятся к основному лексическому фонду, например: ит. *қоз*, чук. *қораңэ*, кор. *қојаңа*, ал. *қураңэ*, кер. *қујақуј* «олень»; ит. *муза*, чук. *мури*, кор. *мују*, ал. *мурушши*, кер. *мэјэкку* «мы». Примечательно то, что нередко лексическая связь ительменского языка с чукотским, алюторским и керекским идет помимо корякского, соседящего с ительменским и отграничивающего от него три других чукотско-камчатских языка, ср., например: ит. *нэнэнэқэч*, чук. *нэнэнэқэј*, ал. *унунуқи*, кер. *нананақи*, кор. *қэјэкмиңэқэй* «ребенок». Приведенные слова едва ли являются иноязычными заимствованиями. Скорее всего они представляют собой остаточные явления, свидетельствующие о некогда общей чукотско-камчатской лексической основе.

Таким образом, хотя в области фонетики и лексики ительменский язык имеет с другими чукотско-камчатскими языками больше различий, чем общности, эта общность является достаточно существенной. К тому же при определении генетических связей языков решающей, как известно, является их общность не на фонетическом и не на лексическом уровне, а на уровне грамматическом, точнее морфологическом. По этому признаку ительменский язык и был объединен с другими чукотско-камчатскими языками в одну языковую группу. Спецификой морфологии языков этой группы, объединяющей их и четко отграничивающей от соседних языков, является однотипная агглютинация — суффиксально-префиксальная. В области слово- и формообразования ительменский язык объединен с другими чукотско-камчатскими языками как структурной общностью, так и материальной. Он имеет однотипную с ними многопадежную систему склонения, связанную с присущей этим языкам категорией человека — не-человека [13], разнообразием локативных падежей и наличием падежей комитативных. Правда, материально падежная система ительменского языка имеет свои специфические особенности. Но все же в ней обнаруживаются довольно существенные элементы материальной общности с другими чукотско-камчатскими языками. При этом материально общие элементы имеются либо в самих падежных формах, либо восходят к чукотско-камчатской языковой основе в целом. В качестве иллюстрации первого вида общности можно привести, например, аффиксацию комитативного падежа: ит. *к-* — *-чом*, чук. *γ(а)-* — *-ма*, кор. *γ(а)-* — *-ма*, ал. *γ(а)-* — *-ма*, кер. *н(а)-* — *-ма* и падежа местного: ит. *-к(-энк)*, чук. *-к(-нэ)*, кор. *-к(-нэк)*, ал. *-к* ~ *-ки* (*-нак*), кер. *-к* ~ *-ки* (*-наң*). Характерный пример материальной связи падежной системы ительменского языка с чукотско-камчатской языковой основой в целом представляют материально единые морфемы *хʔал(а)* ~ *кал(а)* ~ *кач(а)*. В ительменском языке такая морфема является показателем исходного падежа (*кэγ-хʔал* «от реки»); в алюторском выступает компонентом падежного суффикса, уточняющим значение исходности действия (*раран-қал* «от дома»), обычно выражаемого общей падежной формой исходно-направительного значения (*рара-ң*); в керекском она оформляет прямой падеж ед. числа имен, обозначающих парные предметы (*мэнэ-қал* «рука», *лили-қал* «рукавица»); в чукотском в сочетании с именами в местном падеже является послелогом (*ңэј-эк қача* «около горы»), а в сочетании с именами в других косвенных падежах и с наречиями служит словообразовательным суффиксом (*ңајэң-қача-йпы* «со стороны горы», *ңачγэң-қач* «слева»); в корякском языке это только словообразовательный суффикс (*ңајэң-қала-ңқо* «со стороны горы», *γачэң-қал* «слева»). Материальная общ-

[13] П. Я. Скорик, Склонение в чукотско-камчатских языках, сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», Л., 1974.

ность указанных морфем при определенной близости их значений свидетельствует о том, что все они (в том числе и падежный показатель в ительменском языке) восходят к общему источнику в чукотско-камчатской языковой основе.

Спряжение в ительменском языке, как и в других чукотско-камчатских языках, подразделяется на два типа: субъектное для непереходных глаголов и субъектно-объектное — для переходных. В основе каждого типа спряжения глаголов ительменского языка лежит модель, общая с моделью четырех других чукотско-камчатских языков. Формы глаголов ительменского языка в значительной своей части имеют материальную общность с соответствующими формами остальных чукотско-камчатских языков, а в ряде случаев полностью с ними тожественны. Так, например, в ительменском, как и в четырех других языках, показателем субъекта 1-го лица ед. числа в изъявительном наклонении является префикс *т-*, а в побудительно-повелительном — префикс *м-*, показателем объекта 3-го лица ед. числа при субъекте того же лица и числа — суффикс *-нин*. Вариативность некоторых аффиксов обусловлена фонетическими расхождениями: например, показатель субъекта 3-го лица ед. числа побудительно-повелительного наклонения в ительменском языке — префикс *хэн-*, в чукотском — *ʔэн-*; показатель объекта 2-го лица ед. числа в ительменском — суффикс *-γэн*, в чукотском — *-γэт*; показатель объекта 1-го лица мн. числа в ительменском — *-меӈʔк*, в чукотском — *-мэк*. Некоторые аффиксы форм ительменского глагола не сопоставимы с аффиксами соответствующих глагольных форм в других чукотско-камчатских языках, но вместе с тем имеют материальную общность с аффиксацией всей системы спряжения. Например, в ительменских глагольных формах изъявительного наклонения префиксальный показатель субъекта 1-го лица мн. числа резко отличается от префикса с таким же значением в соответствующих формах других чукотско-камчатских языков (ит. *н-*, чук., кор., ал., кер. *мэт-*). Вместе с тем ительменский префикс (*н-*) может быть сопоставлен с одним из компонентов общего для всех чукотско-камчатских языков префиксального показателя субъекта в форме 1-го лица мн. числа побудительно-повелительного наклонения (*м-э-н-*), где он, в отличие от префикса форм 1-го лица ед. числа, обозначает 1-е лицо мн. числа (ср. 1-е лицо ед. числа *м-* и 1-е лицо мн. числа *м-э-н-*).

В свете приведенных фактов (они могут быть приумножены) попытку предложить новое понимание характера отношения ительменского языка к чукотско-камчатской языковой группе едва ли можно считать состоятельной. Трудно предположить, что общность языков в области морфологии может быть результатом прямого заимствования аффиксальных морфем. Единственно правильной представляется традиционная точка зрения по этому вопросу, утверждающая, что именно материально общие элементы морфологии являются неоспоримым свидетельством генетической принадлежности ительменского языка к чукотско-камчатской языковой группе. К такому заключению приводит сравнительный анализ языкового материала. Но этот анализ, как было указано, носит предварительный характер, а потому и само заключение пока в значительной мере является предположительным.

В несколько ином плане представляется вопрос об отношении к чукотско-камчатской языковой группе языка азиатских эскимосов и эскимосско-алеутских языков в целом.

В. Г. Богораз, который, как было указано, впервые дал научное описание языка азиатских эскимосов, отметил, что этот язык при резком его отличии от чукотско-камчатских языков имеет ряд материально общих с ним элементов, что «эскимосская струя вплетается в самую основу,

в ткань чукотско-корякского языка»[14]. Объясняется это, по мнению В. Г. Богораза, наличием в далеком прошлом тесных контактов эскимосского языка с чукотско-камчатской языковой группой. При этом особо интенсивным он считал влияние эскимосского языка на чукотскую лексику, связанную с морским зверобойным промыслом. Однако дальнейшие исследования показали, что и в этой области чукотский язык имеет сравнительно небольшие эскимосские заимствования. Основная же лексика этимологизируется на чукотско-камчатском языковом материале, например: *тәлэнэӈ* «парус» от глагола *тәлэк* «двигаться», *тәлэнэӈуттуут* «мачта» (букв. «парусная палка»), *тэwэнаӈ* «весло» от глагола *тэwэк* «грести», *тэwэјолгэн* «уключина» и т. п. Половозрастные названия морских зверей связаны с терминологией по оленеводству, которого у эскимосов, как известно, не было. Вместе с тем выявлены многочисленные лексические заимствования (главным образом, наречия и служебные слова) в эскимосский язык из чукотско-камчатских языков[15]. Особо следует указать на наличие элементов материальной общности эскимосского языка с чукотско-камчатской языковой группой в области морфологии. Некоторые исследователи эту морфологическую общность, как и лексическую, склонны объяснять заимствованиями[16]. Однако, если лексические заимствования, за некоторым исключением, можно считать бесспорными, то этого нельзя утверждать в отношении морфем. Отнесение их к заимствованиям, пожалуй, явилось результатом чисто внешнего сравнения без надлежащего лингвистического анализа. Общеизвестно, что аффиксальные заимствования не мыслятся без лексических, а именно так обстоит дело с якобы заимствованиями из эскимосского языка в чукотско-камчатские языки, например, с деепричастным суффиксом *-ма*. Лингвистический анализ (пока предварительный) свидетельствует о том, что некоторые из общих аффиксов в эскимосском и чукотско-камчатских языках имеют различную этимологию (например, в парадигме спряжения показатель 2-го лица мн. числа *-тэк*). Следовательно, в отдельных случаях, несомненно, имеет место случайное совпадение. Вместе с тем сопоставительный анализ даже таких на первый взгляд различных систем, как системы спряжения глаголов — с учетом суффиксальной агглютинации эскимосского и суффиксально-префиксальной чукотско-камчатских языков,— свидетельствует о наличии определенной структурной и материальной общности. Поразительное совпадение не только ряда аффиксальных морфем, но и отдельных грамматических разрядов слов эскимосского и чукотско-камчатских языков (например, слов на *-лги* в эскимосском и на *-льы* в чукотском) является любопытной загадкой.

Таким образом, вопрос о том, представляют ли собой выявленные языковые факты действительно заимствования, случайные совпадения или реликтовые свидетельства генетической в далеком прошлом языковой общности пока остается открытым.

При решении вопроса о характере связи эскимосского языка с чукотско-камчатской языковой группой, очевидно, существенное значение имеет учет определенных исторических сведений. Есть основание полагать, что в образовании и развитии чукотско-камчатских языков немаловажное значение имели контакты, в которые вступали предки носителей

---

[14] В. Г. Богораз, Материалы по языку азиатских эскимосов, Л., 1949, стр. 38. Под названием «чукотско-корякский язык» имеется в виду вся чукотско-камчатская языковая группа.

[15] Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. II, Л., 1967, стр. 269—272.

[16] В. Г. Богораз, указ. соч., стр. 27—101; И. С. Вдовин, Эскимосский элемент в культуре чукчей и коряков, «Этнографический сборник», III, М.— Л., 1961.

этих языков со своими соседями. Так, в работах В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона, В. И. Огородникова [17] по вопросу о межплеменных отношениях на северо-востоке Азии отмечается, что предки чукотско-камчатских народностей в связи с передвижением на новые территории [18], по-видимому, ассимилировали ряд неродственных им племен. Более поздние исследования подтверждают эти предположения, в значительной мере уточняют их и дополняют [19].

Языковой субстрат ассимилированных племен, очевидно, послужил одной из основных причин образования если не всех, то по крайней мере части чукотско-камчатских языков и их диалектов. Например, С. Н. Стебницкий путем сравнения языковых материалов коренных обитателей Карагинского острова и близлежащего побережья Камчатки, собранных С. П. Крашенинниковым в середине XVIII в., с материалами современного коренного населения этой территории показал, что карагинский диалект алюторского языка (а точнее, карагинский язык) возник в результате ассимиляции алюторцами какого-то иноязычного племени [20].

Ительменский язык, как представляется, явился продуктом примерно такого же по характеру, но более интенсивного исторического процесса, приведшего к довольно радикальным изменениям первоначальной структуры обособившейся части некогда общего чукотско-камчатского языка. Можно полагать, что несвойственный родственным языкам богатый звуковой состав и ряд своеобразных фонетических закономерностей ительменский приобрел под влиянием широко заимствованной иноязычной лексики. Фонетические заимствования придали настолько специфический звуковой облик ительменским словам, относящимся к общему чукотско-камчатскому словарному составу, что их трудно сразу распознать. Ср., например: ит. *тʾсал* и чук. *јатјол* «лиса», ит. *хwалч* и чук. *wалэ* «нож», ит. *кпоном* и чук. *пʾоӈпʾоӈ* «гриб», ит. *чʾачʾалах*, и чук. *нэчелэӄэн* «красный» и т. п. В некоторых случаях генетическая общность ительменского слова с лексикой других чукотско-камчатских языков может быть выявлена лишь путем специального анализа. Так, ит. *энтхлакас* «нести», очевидно, генетически связано с чук. *тэлек* «двигаться» (корень *тхла* ~ *тэле*), ит. *элӄлаӿ* «холодный» с кор. *лэӄлеӈ* «зима» (корень *лӄ* ~ *лэӄ*) и т. п. В связи с тем, что звуковые соответствия чукотско-камчатских языков специально еще не изучались, трудно определить, какая часть ительменского словаря заимствована, а какая развилась на общей лексической основе всей этой языковой группы. Но можно с уверенностью сказать, что генетически общей лексики с другими чукотско-камчатскими языками в ительменском значительно больше, чем это кажется при внешнем сравнении.

Материальное отличие ительменского от других чукотско-камчатских, языков в морфологии, например в глагольных формах, также, очевидно, в значительной мере явилось результатом ярко выраженных отличитель-

[17] В. Г. Богораз, Новые данные к вопросу о протоазиатах, «Изв. ЛГУ», I, 1928; его же, Чукчи, ч. 1, Л., 1934; В. И. Иохельсон, К вопросу об исчезнувших народностях Колымского округа, Изд-во ВСО РТО, 1897, т. XXVIII; В. И. Огородников, Покорение юкагирской земли, Чита, 1922.

[18] Предполагается, что предки чукотско-камчатских народностей мигрировали из более южных районов (см. по этому вопросу, например: «Народы Сибири», М. —Л., 1956, стр. 899).

[19] См., например: И. С. Вдовин, Расселение народностей северо-востока Азии во второй половине XVII и начале XVIII вв., «Изв. Всесоюзного географ. об-ва», IV, 5, 1944; его же, Очерки по истории и этнографии чукчей, М.— Л., 1966; Г. И. Меновщиков, Палеоэскимосские топонимы северо-восточной Сибири, ВЯ, 1963, 6.

[20] С. Н. Стебницкий, Нымыланы-карагинцы по материалам С. П. Крашенинникова, «Советский Север», Л., 1939, 2.

ных особенностей его в области фонетики, ср., например, ит. *т-кәлә-скәчен* и чук. *ты-кәли-ркән* «пишу».

И все же материальное отличие ительменского от всех других чукотско-камчатских языков в области лексики, слово- и формообразования, по-видимому, целиком не может быть сведено к фонетическим различиям. Оно, по всей вероятности, представляет собой иноязычный субстрат.

Таким образом, резкие отличия ительменского от четырех других чукотско-камчатских языков могут быть объяснены, с одной стороны, ранним его обособлением и, следовательно, более длительным периодом самостоятельного развития, а с другой,— тем, что он подвергся более интенсивному, чем четыре других, иноязычному влиянию.

Вторыми после ительменского языка, как показывает сравнительный анализ, обособились чукотский и корякский языки, а затем — алюторский и керекский. При этом в обособлении двух последних, очевидно, определенную роль сыграл эскимосский язык. Так, например, есть основание полагать, что резкие фонетические отличия алюторского и керекского от чукотского и корякского возникли под влиянием эскимосов, некогда населявших территорию современного обитания алюторцев и кереков. Согласно историческим данным, эти эскимосы были частью вытеснены, а частью ассимилированы вторгшимися на их территорию предками чукотско-камчатских народностей. В эскимосском языке, как известно, нет гласных *э* и *о*. Эскимосы при разговоре на чукотском языке (который в сравнительно недалеком прошлом был на Чукотке языком межнационального общения), а также в заимствованных чукотских словах гласный *э* заменяют гласным *и*, а гласный *о* — гласным *у*. Эскимосскому произношению чукотских слов полностью соответствуют фонетические нормы керекского языка, в котором также отсутствуют гласные *э* и *о*, и фонетическим нормам в алюторском, где эти гласные факультативны. В указанных языках, как и в эскимосском, чукотскому *э* соответствует *и* (ср. чук. *кәтакәт*, эск. *китакит*, ал. и кер. *китакит* «кета») или *а* (ср. чук. *ләләл*, эск. *лала*, ал. и кер. *лалал* «роса»), а чукотскому *о* соответствует *у* (ср. чук. *кожңән*. эск. *кужңа*, ал. и кер. *кужңән* «чайная чашка»). Вполне вероятно, что указанная особенность произношения была в свое время усвоена предками алюторцев и кереков от ассимилированных ими эскимосов и стала фонетической нормой алюторского и керекского языков. В алюторском языке этот эскимосский субстрат привел к разрушению гармонии гласных, а в керекском, кроме того, и к полной утрате гласных *э* и *о*. Имеющееся частичное ограничение гармонии гласных в корякском языке, очевидно, явилось результатом тесного контактирования коряков с алюторцами и кереками.

Следует отметить, что фонетические особенности алюторского и керекского языков, а также некоторых диалектов чукотского языка сами аборигены Чукотки объясняют эскимосским влиянием. Так, в книге В. Далла со ссылкой на предание, слышанное от старика-эскимоса с. Пловер, указывается на эскимосское происхождение кереков [21]. Чукчи с. Энмылик, в речи которых не соблюдается гармония гласных, объясняют это преданием, повествующим о том, что в далеком прошлом чукотский богатырь, житель этого селения, добыл себе в жены необычайной красоты эскимоску, в подражание красавице сначала женщины, а затем и остальные стали говорить по-чукотски с эскимосской огласовкой. Так, по-своему, в романтической форме, объясняется ощущаемый эскимосский субстрат в чукотском языке.

Однако было бы неправильным считать, что особенности алюторского

[21] W. D a l l, Alaska and its resources, Boston, 1870.

и керекского языков связаны лишь с эскимосским влиянием. Немало особенностей (монофтонги — в алюторском, отсутствие согласного γ — в керекском и др.), которые, по-видимому, явились следствием самостоятельного развития этих языков. Например, здесь сохранились словоформы с первоначальным звуковым обликом, которые в чукотском и корякском языках претерпели определенные изменения. В некоторых случаях даже чисто внешнее сравнение дает возможность выявить эволюцию словоформы. Так, сопоставление чук. *экэк* и кор. *акэк* с ал. *акк(а)* и кер. *акка-ӈа* (осн. *эккэ* ~ *акка*) свидетельствует о том, что алюторская словоформа явилась результатом утраты суффикса (*-ӈа*) и факультативности (следовательно, намечающейся утраты) конечного гласного *а*; в чукотском и корякском языках утрачены и суффикс, и конечный гласный основы. Кроме того, в соответствии с фонетическими нормами этих языков, не допускающими стечения согласных в конце слова, между двумя согласными (*кк*), оказавшимися конечными, появился разделительный гласный *э* — чук. *экэк* (мн. *эккэ-т*), кор. *акэк* (мн. *акка-w*). Сравнительный анализ подобных фактов показывает, что, например, в чукотском языке безаффиксная форма группы существительных в прямом падеже, вероятно, явилась результатом утраты аффиксов. Ср., например: чук. *рэркэ* (мн. *рэрка-т*), ал. *тэтка*, кер. *ика-ӈа* «морж», чук. *wопкэ* (мн. *wопка-т*), ал. *wопка*, кер. *wопка-ӈа* «лось». Это предположение опирается на четко наметившуюся тенденцию к сокращению громоздких агглютинативных словоформ путем усечения и даже полной утраты суффиксации.

В других случаях, наоборот, различие словоформ явилось следствием изменения их в алюторском и керекском языках. Ср., например, чук. *нэ-мкэ-ӄин* и ал. *нэ-мкэ-ӄ* «многочисленно», кор. *ш-нин* и кер. *ш-ни* «сказал (он ему)». Некоторые словоформы не имеют генетической связи с соответствующими формами родственных языков, хотя материально восходят к общей чукотско-камчатской языковой основе. Так, в алюторском языке форма *н-ин'а-лаӈ* «быстрые» образована не от формы ед. числа *н-ин'а-ӄ*, как это имеет место в чукотском, корякском и керекском языках (ср., например, в чук. ед. *н-ин'э-ӄин*, мн. *н-ин'э-ӄинэт*), а при помощи суффикса *-лаӈ*, который легко сопоставляется с суффиксом отчислительного наречия (например, чук. *ӈэрон-лаӈ*, кор. *ӈэјон-лаӈ*, кер. *ӈјуӄ-лаӈ-у* «втроем»).

Наличие в алюторском и керекском языках ряда аффиксов, генетически отличных от соответствующих аффиксов других чукотско-камчатских языков, но восходящих к общей чукотско-камчатской языковой основе, свидетельствует о довольно длительном периоде самостоятельного развития двух указанных языков. Однако образование алюторского и керекского языков, по-видимому, относится к более позднему периоду. Сравнительный анализ дает основание предполагать, что алюторский язык обособился от чукотского, а керекский — от корякского. Об этом особенно наглядно свидетельствуют финитные формы глаголов, ср., например, чук. *тэ-тwа-ркэн*, ал. *тэ-тwа-ткэн*, кор. *тэко-тwа-ӈ*, кер. *тэку-тwа-ӈ* «нахожусь». Впоследствии алюторский язык, очевидно, подвергся влиянию языка кочевых коряков (чавчувенов), из которого заимствовал значительное количество лексики и некоторые морфологические элементы (именные и глагольные аффиксы). В свою очередь в образовании керекского языка значительную роль после его обособления от корякского сыграло эффективное воздействие чукотского, которое продолжается до настоящего времени.

Все сказанное свидетельствует о том, что алюторский и керекский языки образовались в результате довольно сложного процесса, в котором влияние эскимосского субстрата было лишь одним из факторов.

Так представляется история образования чукотско-камчатской языковой группы и отношение к этой группе ительменского языка, с одной стороны, и эскимосского — с другой. Но необходимо еще раз подчеркнуть, что мнение это опирается на предварительный анализ языкового материала. Поэтому другая, диаметрально противоположная точка зрения в отношении ительменского и эскимосского языков пока сохраняет определенную силу. Выявленные факты довольно убедительно свидетельствуют о генетической общности ительменского с чукотско-камчатской языковой группой. Однако не исключена возможность, что дальнейшие исследования докажут противоположное, т. е. что эта общность действительно является результатом интенсивного заимствования. Точно так же нельзя гарантировать, что имеющиеся в эскимосском и чукотско-камчатских языках материально тождественные элементы являются случайными совпадениями или заимствованиями, а не реликтами былой генетической общности этих языков.

Таким образом, проблема языковой общности аборигенов северо-востока Азии ждет своего окончательного разрешения. Первый этап исследований (описание конкретных языков и их диалектов), как уже указывалось, завершается. Коллектив палеоазиатоведов приступает к работе второго этапа — к проведению фундаментальных сравнительных исследований в области палеоазиатских языков. Выполнение указанных исследований дает выход в более обширную проблему — в проблему языковых связей аборигенов северо-востока Азии и Северной Америки и вместе с тем будет способствовать решению проблемы расселения и взаимосвязей аборигенных народов этого ареала.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

ЗЫЦАРЬ Ю. В.

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭРГАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА БАСКОВ

Разработка проблем эргативного строя и, в частности, признание того факта, что эргативная конструкция может быть реализована посредством неодинаковых морфологических построений, является одним из крупных достижений советской лингвистики. Г. А. Климов отмечает: «В зависимости от того, в каких членах предложения находят свое выражение отношения эргативности (в структуре глагольного сказуемого они обычно передаются противопоставлением личных аффиксов эргативного и абсолютного рядов, в составе именных компонентов — оппозицией форм эргативного и абсолютного падежей), все это разнообразие может быть в конечном счете сведено к трем морфологическим типам. Последние могут быть с долей условности квалифицированы как „глагольный" (ср абхаз. *a-çabərg a-psə d-a-rgəlwojt̪* „правда покойника воскрешает"), „смешанный" (ср. баскск. *ni-k ura da-kar-t* „я воду приношу") и „именной" (ср. лезг. *буба-ди ктаб къачуна* „отец книгу взял"). В первом из них отношения эргативности передаются всецело в словоформе глагола-сказуемого... Во втором типе эти отношения выступают в структуре как глагольного сказуемого, так и обоих связанных с ним именных членов. Наконец, в третьем они отражаются исключительно в составе подлежащего и прямого дополнения. Все три типа отчетливо разграничивались И. И. Мещаниновым еще в 1935 г., когда он детально обосновал функциональное тождество „пассивной конструкции" в картвельских, абхазском и лезгинском языках.

Эти морфологические вариации эргативной конструкции, если к тому же учесть наиболее характерный для представителей эргативного строя словопорядок, могут быть переданы следующими схемами:

1. $N - N - V_{erg.abs}$
2. $N_{erg} - N_{abs} - V_{erg.abs}$
3. $N_{erg} - N_{abs} - V$.

...По-видимому, наиболее широко распространенным является „смешанный" морфологический тип эргативной конструкции. Он засвидетельствован в баскском, в подавляющем большинстве кавказских, ...в хурритско-урартских, шумерском, в целом ряде индоиранских, бурушаски, в отдельных папуасских..., во многих австралийских, в чукотско-камчатских, эскимосско-алеутских и некоторых северноамериканских... языках» [1].

Баскский язык в этом обзоре отнесен по его эргативу ко второму (смешанному и наиболее распространенному) типу: $N_{erg} - N_{abs} - V_{erg\ abs}$: *anaiak zakurra da-kus* «брат собаку видит», где *anaiak* «брат» стоит в эргативном падеже, *zakurra* «собака» — в абсолютном (термин И. И. Мещанинова, принятый и Г. А. Климовым), или инерсивном (термин западных ученых), противоположном эргативному, а *da-kus* «видит» имеет префик-

[1] Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, М., 1973, стр. 42—43.

сальный экспонент *da-*, представляющий в глаголе инерсивный член *zakurra*, а также нулевой суффиксальный экспонент, которым представлен в этом же глаголе эргативный член *anaiak* «брат». Именные члены здесь не только взаимопротивопоставлены по их падежной форме (эргативный падеж против инерсивного), но и имеют противопоставляющие их же различные элементы в глаголе, почему речь и идет о «смешанном, глагольно-именном» морфологическом типе выражения эргативных отношений. Ср. еще в баскском примере Г. А. Климова *ni-k ura da-kar-t* «я воду приношу» глагольную форму *da-kar-t*, где *da-* представляет инерсивный член *ura* «вода», *-t* является элементом эргативного члена *ni-k* «я» (*-kar-* здесь — от *ekarri* «нести; принесенный»).

В настоящей работе мы ставим перед собой задачу, основываясь на данной Г. А. Климовым характеристике баскского эргатива как смешанного, глагольно-именного, показать его конкретные особенности в баскском языке.

I. Номинативная типология предложения (или НТП) может быть представлена как:

модель 1: № 1 **человек** беж-ит
модель 2: № 2 **брат** вид-ит ∞ № 3 *собаку*,

где тоже смешанным образом (т. е. по падежу имен и по их представительству в глаголе) члены «человек» и «брат» противопоставлены члену «собаку» (эта оппозиция показана у нас здесь различием шрифтов, а также вертикальной чертой и знаком ∞, т. е. versus). В цифровом выражении, принятом здесь нами для той же схемы, это означает, что членам 1,2 противопоставлен в НТП член 3: 1,2 ∞ 3.

В отличие от этого, в эргативной типологии предложения (ЭТП) противопоставлены не 1,2 ∞ 3, а 1,3 ∞ 2, чем ЭТП и отличается от НПТ; в этом и состоит самое коренное, глубинное отличие ЭТП от НТП, в этом и сущность эргативных отношений в отличие от «номинативных»:

модель 1: № 1 **gizona** da-bil
(человек) (бег)
модель 2: № 2 **zakurra** da-kus ∞ № 2 *anaiak* (брат).
(собака) (видение)

Как видим, здесь предложение модели 1 означает в переводе на русский язык «человек бежит», предложение модели 2 — «собаку видит брат», следовательно по смыслу все совпадает с нашим предыдущим русским примером на НТП; однако сгруппированы и взаимопротивопоставлены именные члены (с теми же значениями) в данном баскском примере иначе, чем в русском: *gizona* «человек» как по его падежной форме, так и по его представителю в глаголе (показан стрелкой) совпадает не с членом в значении «брат», а с членом в значении «собака» — *zakurra*, и оба они противостоят члену *anaiak* «брат». Это и есть, как мы только что говорили, оппозиция 1,3 ∞ 2.

Тот факт, что мы имеем здесь, действительно, коренную особенность ЭТП, отличающую ее от НТП, очевиден из того, что данная оппозиция именных членов 1,3 ∞ 2 является единственной неизменной приметой всякой эргативной типологии предложения; в одном эргативном языке указанные члены могут, как говорилось, не различаться в глаголе (сохраняя соответствующее различие только в своей падежной форме), в другом языке они могут не иметь различия в падежной форме (сохраняя

его только в глагольной морфологии); тем не менее всегда в этих языках перед нами будет именно эргативная типология (хотя и разные ее подтипы). Наоборот, этой типологии не будет, как только исчезнет и в глаголе, и в падежной форме имен их противопоставление по схеме 1,3 ∞ 2.

II. Теперь, когда нам ясен сам эргативный (в сравнении с номинативным) принцип «устройства» соответствующей типологии предложения, перейдем непосредственно к ее характеристике в языке басков. Как мы уже знаем, для этого языка характерна эргативная (т. е. 1,3 ∞ 2) оппозиция именных членов прежде всего в самой их падежной форме. Это означает, что если мы устраним из нашей предыдущей схемы ЭТП все глагольные формы и оставим только ее именной каркас, то мы получим:

модель 1: № 1 **gizona** (человек)
модель 2: № 3 **zakurra** (собака) | ∞ № 2 *anaiak* (брат),

где №№ 1, 3 будут противопоставлены № 2 по их падежной форме. Это и есть первый признак эргатива языка басков и, соответственно, первая примета любого эргативного языка смешанного (глагольно-именного) типа.

III. Теперь обратимся к глагольной форме баскского языка. В русском мы здесь имеем соответственно:

модель 1: № 1 . . . беж-ит
модель 2: № 2 . . . вид-ит,

В баскском же это:

модель 1: № 1 . . . da-bil
модель 2: № 3 . . . da-kus — «ноль» № 2 . . .,

где форма модели 2 означает «его-видит-он» («ноль» является экспонентом 3-го лица ед. ч.) или:

модель 1: № 1 . . . da-bil
модель 2: № 3 . . . da-kus-*t* № 2 . . .,

где форма модели 2 означает «его-вижу-я» (-*t* является экспонентом 1-го лица ед. ч.) или:

модель 1: № 1 . . . da-bil
модель 2: № 3 . . . da-kus-*ak* № 2 . . .,

где форма модели 2 означает «его-видишь-ты» (-*ak* является экспонентом 2-го лица ед. ч.) и т. д.

Если, как видим из этого, в глагольной форме НТП (пример из русского) одинаково представлены именные члены №№ 1, 2 и не представлен член № 3, то в баскской глагольной форме ЭТП всегда одинаково представлены именные члены №№ 1, 3 и отличным от них образом представлен член № 2 (причем его представителем, всегда суффиксальным, может быть или материальный экспонент, или — в 3-м лице ед. ч.— нулевой суффикс). Отражение в глагольной форме ЭТП оппозиции 1,3 ∞ 2 именных членов — это второй признак эргатива языка басков и, соот-

ветственно, вторая примета любого смешанного (глагольно-именного) морфологического способа выражения эргативности. Это, между прочим, означает, что если из обеих моделей ЭТП баскского или любого другого языка того же типа будут устранены все именные члены и нам будут предъявлены только соответствующие глагольные формы, то последних будет достаточно для констатации эргативного характера данного языка.

IV. Спряжения переходного и непереходного глаголов языков номинативного строя (НС) соотносятся между собой следующим образом:

иду	*несу*
идешь	*несешь*
идет	*несет*
идем	*несем*
идете	*несете*
идут	*несут*

Как видим, это одна и та же глагольная парадигма. Если же мы попытаемся проспрягать соответствующие баскские глаголы в той же последовательности лиц, то у нас такой единой парадигмы не получится: справа будет одна парадигма, слава — совершенно иная:

na-bil	«иду»	*ha-kar-t*	«тебя несу я»
ha-bil	«идешь»	*na-kar-k*	«меня несешь ты»
da-bil	«идет»	*za-kar-tza*	«вас несет он»
ga-bil-tza	«идем»	*da-kar-gu*	«его несем мы»
za-bil-tza	«идете»	*ga-kar-tza-zu*	«нас несете вы»
da-bil-tza	«идут»	*da-kar-tza-te*	«их несут они».

Здесь, правда, спряжение справа дается в сильно сокращенном виде, так как после *ha-kar-t* «тебя несу я» можно было бы привести формы *da-kar-t* «его несу я», *za-kar-tza-t* «вас несу я» и др., а после *na-kar-k* «меня несешь ты» можно было бы дать формы *da-kar-k* «его несешь ты», *ga-kar-tza-k* «нас несешь ты» и т. д. Однако если бы мы сопоставили с нашим «левым» даже и полное «правое» спряжение, то и в этом случае никакого единства парадигм не оказалось бы:

		ha-kar-t	«тебя несу»
		da-kar-t	«его несу»
na-bil	«иду»	*za-kar-tza-t*	«вас несу»
		da-kar-tza-t	«их несу»
		na-kar-k	«меня несешь»
		da-kar-k	«его несешь»
ha-bil	«идешь»	*da-kar-tza-k*	«нас несешь»
		da-kar-tza-k	«их несешь»
			и т. д.

Значит ли это, что спряжения баскских глаголов типа *ibilli* «идти» и типа *ekarri* «нести» не имеют ничего общего, что они не образуют действительно единой парадигмы? Нет, не значит. Такую парадигму они в действительности образуют, но для того чтобы ее выявить, мы должны взаимно расположить спряжения этих глаголов совершенно иначе:

1. *na-bil*	«иду»	*na-kar-k*	«меня несешь»
		na-kar	«меня несет»
		na-kar-zu	«меня несете»
		na-kar-te	«меня несут»

2. *ha-bil*	«идешь»	*ha-kar-t*	«тебя несу»
		ha-kar	«тебя несет»
		ha-kar-gu	«тебя несем»
		ha-kar-te	«тебя несут»
3. *da-bil*	«идет»	*da-kar-t*	«его несу»
		da-kar-k	«его несешь»
		da-kar	«его несет»
		da-kar-gu	«его несем»
		da-kar-zu	«его несете»
		da-kar-te	«его несут»
4. *ga-bil-tza*	«идем»	*ga-kar-tza-k*	«нас несешь»
		ga-kar-tza	«нас несет»
		ga-kar-tza-zu	«нас несете»
		ga-kar-tza-te	«нас несут»
5. *za-bil-tza*	«идете»	*za-kar-tza-t*	«вас несу»
		za-kar-tza	«вас несет»
		za-kar-tza-gu	«вас несем»
		za-kar-tza-te	«вас несут»
6. *da-bil-tza*	«идут»	*da-kar-tza-te*	«их несут»
		da-kar-tza-k	«их несешь»
		da-kar-tza-t	«их несет»
		da-kar-tza-gu	«их несем»
		da-kar-tza-zu	«их несете»
		da-kar-tza-te	«их несут».

При таком расположении здесь, как видим, уже явно проступает определенная система (причем для того чтобы ее заметить, достаточно уже простого сравнения): под № 1 слева имеем *na-bil*, справа *na-kar* с различными суффиксами, под № 2: *ha-bil* и *ha-kar* с теми же (и другими) суффиксами, под № 3: *da-bil* и *da-kar*, под № 4: *ga-bil-tza* и *ga-kar-tza*, № 5: *za-bil-tza* и *za-kar-tza*, № 6: *da-bil-tza* и *da-kar-tza*. Каждая личная форма спряжения глагола *ibilli* полностью совпадает в этой системе с соответствующей формой глагола *ekarri* за вычетом тех суффиксов этой последней формы, которые представляют в ней эргативный член (в русском переводе ему соответствует субъект действия: *ты*, *он*, *вы*, *они* и т. д.).

Спрашивается, как же, по какому принципу взаимно расположились (или должны быть взаимно расположены) личные формы указанных глаголов в порядке образования их парадигматического единства? Нетрудно заметить, что они расположились по принципу совпадения первого экспонента личной формы того и другого типа глаголов: *na-bil* | *na-kar-k* и т. д. Но этот экспонент представляет в глаголе, как мы видели выше, именные члены 1,3. Следовательно, та же оппозиция 1,3 ∞ 2 оказывается организующей и для парадигматического единства глаголов баскского языка. Да это и естественно, только так оно и должно быть, поскольку, будучи сгруппированы по данному принципу в каждую отдельную пару (модель 1: **da**-bil, модель 2; **da**-kus-ak), глагольные словоформы, естественно, не могут не сгруппировываться соответствующим образом и в масштабе всей той глагольной системы (или подсистемы), которая состоит из подобных пар.

Наличие единой парадигмы у глаголов типа *ibilli* «идти» и *ekarri* «нести», организованной по принципу 1,3 ∞ 2, является третьим признаком эргатива языка басков, и, соответственно, всякого смешанного (глагольно-именного) морфологического способа выражения эргативности. Это положение самым органическим образом вытекает из предыдущих.

Если это положение правильно, то оно должно лечь в основу всякого описания соответствующей парадигматической системы. Иначе говоря, всякая такая система должна быть представлена в ее грамматических описаниях по тому образцу, который мы дали выше:

1. *na-bil*	«иду»	*na-kar-k*	«меня несешь»
		na-kar	«меня несет»
		na-kar-zu	«меня несете»
		na-kar-te	«меня несут и т. д.

Между тем, хотя в некоторых грамматических описаниях баскского и других языков можно встретить синкретические таблицы, вполне адекватно отражающие парадигмы баскского глагола, тем не менее нередко данные парадигмы выглядят как:

na-bill	«иду»	*ha-kar-t*	«тебя несу»
		da-kar-t	«его несу»
		za-kar-tza-t	«вас несу»
		da-kar-tza-t	«их несу» и т. д.

Вряд ли нужно говорить, насколько такая схема идет вразрез с самой реальной системой спряжения эргативного глагола (чем-то напоминая грамматики Пор-Рояля).

Уяснение эргативного принципа в организации глагольных парадигм соответствующих языков, возможно, поможет разобраться и в теоретической проблеме состава ЭТП (эргативной типологии предложения), причем надо учесть и то, что без правильного представления о типичной парадигме *ekarri* в языке басков трудно представить себе, что она отличается от соответствующих парадигм других разновидностей того же смешанного (глагольно-именного) морфологического способа выражения эргативности.

V. Оппозиция 1,2 ∞ 3 в глаголе НС технически обычно оформляется за счет маркирования (притом одинакового) №№ 1, 2 при отсутствии какого-либо маркера для номера 3, т. е. объекта (см. русский пример). Правда, иногда глагол НС получает, как в некоторых финно-угорских языках, специальный маркер для объекта, отличный от одинаковых маркеров номеров 1, 2, и это дает особый подтип НС.

В эргативном глаголе с его оппозицией 1,3 ∞ 2 также может оказаться незамаркированным второй (эргативный) член, ср. аварск. (известный пример Н. С. Трубецкого):

модель 1:	№ 1	**вас** (мальчик)	в-екерула (бегает)	
модель 2:	№ 3	**тIил** (палку)	б-осула (берет)	∞ № 2 *вас-ас* (мальчик),

где элемент *в-* в первой форме глагола является показателем класса мужчин, а элемент *б-* во второй форме глагола — показателем класса вещей, и тогда перед нами совершенно особый подтип «смешанной» ЭТП, характеризующийся тем, что в его парадигмах, как и в обычных парадигмах НС, нет вообще никакого различия между соотнесенными словоформами глаголов типа «идти» и «нести». Эргативная оппозиция 1,3 ∞ 2 для такого подтипа может (и должна) быть уточнена как 1,3 марк. ∞ 2 немарк., тогда как соответствующая оппозиция в баскском может быть выражена через 1,3 марк. ∞ 2 марк. Так как в баскском языке эргативная конструк-

ция представлена только этой последней разновидностью, то баскский язык может быть в целом (точнее, в своем эргативном целом — в 3-м лице прошедшего времени баскский глагол не является эргативным) охарактеризован как 1,3 марк. ∞ 2 марк., что дает нам уже окончательную или почти окончательную формулу его типологической характеристики. Цитированный Г. А. Климовым польский ученый З. Голомб называет этот подтип эргативных языков «развитым» [2] — видимо, на том прежде всего основании, что за счет маркирования «оппозированного» члена (№ 2) парадигма спряжения глагола типа *ekarri* в соответствующих языках имеет тот чрезвычайно развитый в морфологическом отношении вид, о котором мы могли составить суждение выше при рассмотрении парадигм баскского языка. Впрочем одновременно речь может также идти о развитости личного спряжения (в языках 1,3 марк. ∞ 2 марк.) в сравнении с классным или классно-личным спряжением (языков 1,3 марк. ∞ 2 немарк), которое и обусловливает, по всей вероятности, само существование разновидности 1,3 марк. ∞ 2 немарк. (или во всяком случае, как-то органически с ней связано).

В языках «баскского» типа (1,3 марк. ∞ 2 марк.) развитость глагольной морфологии (соответственно объем парадигмы *ekarri* «нести») определяется, впрочем, не только наличием маркеров члена № 2 и существованием вообще спряжения по лицам. Дело еще и в том, насколько в той же парадигме показан член № 3: точнее, показан ли он в ней только тогда, когда он выражен 3-м лицом имени, или также и в том случае, когда он выражен 1 или 2-м лицом именного члена. Последнее дает, естественно, сильное увеличение объема указанной парадигмы, каковое мы и имеем в языке басков.

Наглядно этот механизм можно представить себе следующим образом. Если бы в русском языке парадигма развертывалась не только за счет субъекта, но и объекта, причем объекта, выраженного всеми лицами имени, а не только третьими, то мы имели бы в русском языке нечто похожее, скажем, на следующий ряд: *менвидишь*, *тебвижу*, *еговидим* и т. д. Но именно такой, или примерно такой ряд, в котором справа показано варьирование по всем лицам одного члена, а слева — другого, и представляет собой баскская парадигма глаголов типа *ekarri* (следует учитывать, однако, что *мен*, *теб* и т. д. в этом условном русском ряду не являются точными эквивалентами эргативных показателей: они более приближались бы к таким эквивалентам, если бы глагол типа *идти* спрягался по-русски не *иду*, *идешь*, *идет* и т. д., а скажем, *ид-мен*, *ид-теб* и т. д.).

В связи с этим становится ясным, что свое видоизменение (в зависимости от представленности в глаголе члена № 3, выраженного 1 и 2-м лицами) мог бы в принципе получать и эргативный подтип 1,3 марк. ∞ 2 марк.: если член № 3 в 1 и 2-м лицах в глаголе не показан, то перед нами должна быть одна его разновидность (с менее развитой парадигмой), если показан — другая, которая и представлена в баскском языке. В действительности, однако (и это очень интересно), первая из этих возможностей не реализуется: подтип 1,3 марк. ∞ 2 марк. с меньшим развитием парадигм за счет члена № 3, насколько мы знаем, не существует или необычен. Иными словами, это означает, что парадигма типа *ekarri* оказывается сокращенной за счет своей левой части только там, где оказывается неразвитой и ее правая часть: перед нами вновь языки классно-личного или классного спряжения — тип 1,3 марк. ∞ 2 немарк. (см. приведенный аварский пример). Таким образом, получается следующее деление: а) 1,3 марк. ∞ 2 немарк. с сокращенной парадигмой за счет левой части (правая вооб-

[2] Г. А. Климов, указ. соч., стр. 43.

ще не маркирована), классное, классно-личное (неразвитое личное) спряжение (представитель — аварский), б) 1,3 марк. ∞ 2 марк. с развитой парадигмой как за счет левой, так и за счет правой (маркированной) части, большая полиперсонность, развитое личное спряжение (представитель — баскский).

Что касается самой полиперсонности эргативного глагола, насколько она определяется экспонированием в нем местоименных и именных членов, то, как видно из предыдущего, она оказывается вообще типичной только для «баскского», смешанного (глагольно-именного) морфологического способа выражения эргативности и связана в нем с экспонированием «местоименной» (1 и 2-го лица) части члена 3 и полного набора лиц эргативного члена 2.

При рассмотрении ЭТП первого из указанных подтипов:

модель 1:	№ 1	**вас**	в-екерула	∞ № 2 *вас-ас*
модель 2:	№ 3	**тIил**	б-осула	

у неискушенного наблюдателя может сложиться впечатление, что в силу различия экспонентов *в-* и *б-* в глаголе данной ТП вообще нет типичной для эргатива оппозиции 1,3 ∞ 2. Такое впечатление является, однако, ошибочным. Верно, что в глаголе ЭТП «баскского» типа соответствующие экспоненты не только стоят всегда на одном и том же месте, но и всегда совпадают, т. е. не только оппозиционно, но и материально противопоставлены экспоненту № 2:

модель 1:	№ 1	**ni** (я)	na-bil (иду)	
модель 2:	№ 3	**ni** (меня)	na-kar-k (несешь)	∞ № 2 *hi-k* (ты) **или:**
модель 1:	№ 1	**gu** (мы)	ga-bil (идем)	
модель 2:	№ 3	**gu** (нас)	ga-kar-k (несешь)	∞ № 2 *hi-k* (ты) **или:**
модель 1:	№ 1	**zakurra** (собака)	da-go (лежит)	
модель 2:	№ 3	**zakurra** (собаку)	da-kus-t (вижу)	∞ № 2 *ni-k* (я) и т. д.

Верно также, что в глаголе ЭТП «аварского» типа соответствующие экспоненты, напротив, совпадают только позиционно, но не материально. Однако в модели 2 аварской ЭТП: *вас-ас* | ***тIил*** *б-осула* «мальчик палку берет» экспонент *б-* относится без сомнения к ***тIил*** «палка» и представляет именно этот, а не второй член (*вас-ас*), так как представитель в глаголе этого второго члена (имени класса мужчин) был бы *в-*, а не *б-*. Точно так же доказывается, что в модели 1 экспонент *в-* действительно связан с членом *вас* «мальчик», что он его именно п р е д с т а в л я е т (а не отвлечен от него): ведь если бы в эту модель на место *вас* мы поставили *тIил* «пал-

ка», то все предложение звучало бы как *тIил б-екерула* «палка бежит», а не *тIил в-екерула*, следовательно, типичная для эргатива оппозиция и здесь остается неприкосновенной. Одновременно мы видим, что механизм ее экспонирования в «баскском» подтипе «смешанной» ЭТП более прямолинеен и прозрачен, нежели в «аварском» подтипе той же ЭТП, т. е. эти механизмы существенно различны.

VI. Самое большее, что поражает исследователя номинативных языков при обращении к баскским парадигмам:

ni-na-bil	«я иду»	*ni-na-kar-k*	«меня несешь ты»
hi ha-bil	«ты идешь»	*hi ha-kar-t*	«тебя несу я»... и др.
gu ga-bil-tza	«мы идем»	*gu ga-kar-tza-k*	«нас несешь ты»... и др.
zu za-bil-tza	«вы идете»	*zu za-kar-tza-te*	«вас несут они»... и др. и т. д.

— это тот факт, что одни и те же элементы *ni na-*, *hi ha-*, *gu ga-*, *zu za-* и др. при переводе на русский или любой другой «номинативный» язык означают в левой колонке с глаголом типа «идти» — «я, ты, мы, вы» и т. д., а в правой колонке с глаголом типа «нести» — «меня, тебя, нас, вас» и т. д. Это буквально ставит в тупик, так как перевод «меня, тебя» и т. д. единственно возможный для правой стороны этой парадигмы, оказывается невозможным для левой («меня иду» — невозможно), а перевод «я, ты» и т. д., единственно возможный для левой колонки, невозможен для правой («я несешь ты» — невозможно). Самое же главное — это то, что при взаимосвязанном рассмотрении данной последовательности форм нельзя не прийти к выводу, что *ni na-* (*hi ha-*, *gu ga-*, *zu za-* и т. д.) как справа, так и слева в этой последовательности — это фактически о д н о и т о ж е (в составе о д н о й и т о й ж е парадигмы или глагольной системы [3]) и что, следовательно, наш разный перевод этого «одного и того же» просто не позволяет нам осознать какое-то единое значение любого из указанных элементов, понять его.

Правда, часть исследователей отказывается видеть или искать здесь в каждом случае какое-либо функциональное и семантическое единство, понимая *ni na-* только так, как оно переводится: слева — «я», справа — «меня» и т. д. (активная теория эргатива). Однако такое понимание не соответствует, очевидно, самой языковой реальности.

Другие исследователи исходили и исходят из того, что *ni na-* (*hi ha-*, *gu ga-* и т. д.) слева и справа — это именно одно и то же (хотя переводимое по-разному). Чтобы достигнуть необходимого монизма как в понимании, так и в переводе этого «одного и того же», они выдвинули пассивную теорию эргатива: *ni na-bil* «я иду» — *ni na-kar-k* «я несом тобой» и т. п. Ср. также: [*aitak maitatzen du* «отец любит его» составлено из *aita* «отец» + *k* (знак падежа агента), *maita-tze-n* — герундий глагола «любить» + знак местного падежа; *du* состоит из *d* — местоимения 3-го лица (пациенс) + + «иметь», следовательно, все выражение значит «он любим отцом», или буквально «отцом в состоянии любви он имеется»] [4]. Обладая достаточным внутренним единством, эта теория оказывается, однако, уязвимой во многих других отношениях.

О чем же говорят в этой связи должным образом «выстроенные» (как это с нашей точки зрения и сделано выше) формы *ni na-bil* рядом с *ni na-kar-k* и т. д.? Мы видели, что в основе их соположения лежит та же

[3] Ср. «я ид-у | я нес-у; ты ид-ешь | ты нес-ешь» и т. д. где «я — у, ты — ешь» и т. д. также составляют о д н о и т о ж е в составе о д н о й и т о й ж е системы.

[4] См.: K. B o u d a, Das transitive und intransitive Verbum im Baskischen, Amsterdam, 1933; H. S c h u c h a r d t, Primitiae linguae vascorum, Halle, 1923.

оппозиция (1,3 ∞ 2), которую мы наблюдали и на падежном оформлении именных членов:

модель 1:	gizona... (человек идет)	∞ anaiak (брат)
модель 2:	zakurra... (собаку видит)	

Достойным удивления с точки зрения номинативной структуры является поэтому уже совпадение в данной структуре самих именных членов (их падежной формы): *gizona* и *zakurra*. Вместе с тем парадигматическое единство этих же членов в спряжении соответствующих глаголов как системное особенно показательно, в чем и состоит его самостоятельное значение для изучения состава ЭТП.

Коль скоро это единство несомненно, задача лингвиста состоит в том, чтобы попытаться объяснить его (как это и делали сторонники пассивной теории эргатива), а не в том, чтобы пытаться «преодолеть» его с помощью разъединяющей его теории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

АХМАНОВА О. С., ГЮББЕНЕТ И. В.

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ» КАК ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы представить «вертикальный контекст» не как постановку и разрешение какого-то частного вопроса, но как новое направление исследования, построенное на достаточно широком охвате целого ряда частных аспектов, объединенных общностью проблематики и единством материала.

Каждое высказывание, будь оно обусловлено ситуативно или той или иной филологической традицией, всегда реализуется в «контексте». При этом, наряду с «горизонтальным» контекстом, т. е. лингвистическим окружением данной языковой единицы, условиями или особенностями употребления данного элемента в речи и вообще законченным в смысловом отношении отрезком письменной речи, позволяющим установить значение входящего в него слова или фразы [1], можно выделить и контекст иного рода, а именно «вертикальный контекст». Разумеется, что всякий «контекст», при всех его бесчисленных вариациях предполагает нечто непосредственно обозреваемое, непосредственно и синхронно данное. Уже создан целый ряд работ, которые вплотную подводят нас к проблеме вертикального контекста, т. е. прежде всего к изучению фонового знания [2], а также того, что за отсутствием адекватного метаязыкового выражения средствами русского языка мы называем «аллюзией» (англ. allusion), т. е. образов, метафор и других видов высказываний, предполагающих у читателя знание определенного историко-филологического материала.

В чем же различие между этими понятиями и почему оказалась необходимой дальнейшая детализация этой понятийной сферы? «Фоновое знание» — это тот социально-культурный фон, который характеризует воспринимаемую речь. Иначе говоря, исследующий эту проблему отправляется от знания участников речевого акта. Можно совершенно независимо от того, существует или не существует тот или иной текст, утверждать необходимость общего фонового знания (shared background knowledge) у говорящего и слушающего [3]. Так, например, по-ан-

---

[1] Существует большое разнообразие видовых понятий, таких, как контекст бытовой, контекст метафорический, контекст ситуации, контекст театральный, контекст топонимический и т. д. См.: О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр. 206—207.

[2] «Обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» (О. С. Ахманова, указ. соч., стр. 498). См. также: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура, М., 1973; В. С. Виноградов. Лексические вопросы перевода художественной прозы. ДД, М., 1975.

[3] В. С. Виноградов приводит в своей работе интересные примеры «фоновой информации», обусловливающей полное понимание разнообразных символов, например: «В Аргентине и Уругвае омбу (дерево эфиро-масличной породы) — поэтический символ привольной степи, привычный атрибут народной поэзии; у гватемальцев птица кетсаль — символ свободы, а у испанцев в средние века желтый цвет олицетворял траур и печаль» (В. С. Виноградов, Лексические вопросы перевода художественной прозы. АДД, М., 1975, стр. 19). «Фоновая информация», по определению В. С. Виноградова, «это социо-культурные сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной национальной общности» (указ. соч., стр. 40).

глийски *to be an Oxford* (*Cambridge*) *blue* означает выступать в составе команды одного из двух старейших университетов Англии на спортивных соревнованиях; *Harley Street doctor* — это врач, имеющий солидную частную практику (по названию улицы в Лондоне, где врачи этой категории принимают больных); *Fleet Street* — общее название для британской прессы (по названию улицы, где расположены редакции многих крупных английских газет) и т. д.

Роль «фонового знания» в процессе восприятия устной и письменной речи чрезвычайно велика. Недостаточное «фоновое знание» или отсутствие его делает невозможным понимание. Только наличие определенного рода «фонового знания» дает возможность читателю ориентироваться в нижеследующих примерах [4]: «Aristotle Onassis may not have enjoyed Zorba's freedom from care — when Zorba danced nothing jingled in his pockets — but he never let business weigh him down if there was a party to drop in on in the next continent» (имеется в виду известный фильм «Грек Зорба»); «. . .the brazen picking up of the ransom jewels by a brunette disguised as a Threepenny Opera blonde could only succeed if one assumes that American police forces are manned by cretins recruited from comic strips like Batman» (имеется в виду «Трехгрошевая опера» Б. Брехта и популярный комикс из известной газеты); «*E* is for Equal Opportunity. . . which exists in good intentions, but is hard to find elsewhere because even in the States some are more Eagle than others» (США как «страна равных возможностей» — «land of equal opportunity» — обычно обыгрывается как «some are more equal than others». «Equal» в данном отрывке далее сопрягается с «Eagle» — изображение орла в государственном гербе США); «And *P* is for the President: „A Ford not a Lincoln", as he said of himself, getting it straight for once» (в данном случае обыгрывается тождество имен президентов и марок машин); «*K* is for Kingsize, the right size for Americans, like the Presidents on Mt. Rushmore» (имеются в виду сигареты и скала, на которой высечены изображения американских президентов).

Следует заметить, что в английском языке большое значение для правильного восприятия имеют, в частности, фоновые различия в области употребления различных форм обращения к собеседнику. Известно, например, что употребление фамилии мужчины без добавления *Mr* было вплоть до второй мировой войны единственной возможной формой обращения среди мужчин одного возраста в социальной группе «upper middle class» и выше. Теперь этот вид обращения совсем вышел из употребления и заменен именем. Понятно, что, сталкиваясь в процессе чтения с тем или иным видом обращения, читатель должен представлять себе соответствующих персонажей как людей определенного возраста, эпохи и общественного положения именно потому, что они так, а не иначе называют друг друга. Следует заметить в этой связи, что употребление разных форм обращения в английском языке представляет собой очень важную социолингвистическую проблему. Отсутствие «фонового знания» в этой области нередко приводит к искажению содержания высказывания. Подобного рода примеры часто имеют место при переводе художественной прозы. Так, например, в английском языке *to be knighted* означает получить род личного дворянства с титулом *sir*: «Baynes was knighted when he built that public Museum of Art...» (J. Galsworthy, The man of property, M., 1956, стр. 308). В переводе же на русский язык это звучит так: «Бейнз получил лорда за постройку народного музея изящных искусств» («Сага о

[4] Примеры взяты из современных английских журналов. Последние три примера взяты из шуточного календаря к 200-летию США, опубликованного в одном из английских журналов.

о Форсайтах», Вильнюс, 1957. Под общ. ред. М. Лорие, стр. 219). «Получить лорда» вообще нельзя. Можно «получить» звание «пэра» (*peer of the realm*), дающее право его носителю именоваться *Lord N*. Звание же *knight* этого права не дает, однако супруга последнего именуется *Lady N*.

В отличие от фонового знания, вертикальный контекст — это историко-филологический контекст данного литературного произведения и его частей и поэтому часть науки филологии. Фоновое знание, если подходить к раскрытию этого понятия с точки зрения сопоставления языков, принадлежит страноведению; иначе говоря, фоновое знание это вся совокупность сведений культурно- и материально-исторического, географического и прагматического характера, которые предполагаются у носителя данного языка. Фоновое знание практически неисчерпаемо, его разновидности неисчислимы, без него невозможно языковое общение.

Вертикальный контекст — это филологическая проблема, это вопрос о том, как и почему тот или другой писатель предполагает у своих читателей способность воспринимать историко-филологическую «информацию», объективно заложенную в созданном им литературном произведении. Он приобретает особую актуальность в настоящее время, когда пренебрежение филологической культурой, породившее невнимание к вертикальному контексту, приводит к все более широкому непониманию текста, сведению процесса чтения, в особенности произведений классической литературы, просто к поверхностному восприятию более или менее занимательной фабулы.

Как хорошо известно, современная текстология и, шире, вообще семиотическое, информативное, эстетическое и др. функционирование языка все чаще сталкиваются с проблемой понимания, адекватного восприятия передаваемого сообщения. Как филологическая проблема, т. е. как аспект филологической науки, понимание требует разработки серьезных методов (категорий и параметров), ибо без этого мы не сможем достичь сколько-нибудь существенных результатов не только в текстологии, но и в языкознании вообще.

Принято считать, что именно разнообразные контексты высказываемого являются основой его адекватного восприятия, причем для горизонтальных контекстов здесь многое уже выяснено. Что же касается вертикального филологического контекста, то здесь еще очень много неясностей и очень мало конкретных исследований. Понятно, что достичь в этой области каких-либо результатов можно только обратившись к достаточно обширному материалу.

Начнем с наиболее очевидных, доступных и типичных случаев: (1) «He wants *his pound of flesh* and there's nothing much he'll stop at to get it» (S. Maugham, The razor's edge [имеется в виду Shakespeare, The merchant of Venice, I. iii. 150]) «Ему нужен его фунт плоти и он не остановится ни перед чем, чтобы получить его»; (2) «When he shook hands with me my nostrils were assailed by *all the perfumes of Arabia*» (S. Maugham, The razor's edge [имеется в виду Shakespeare, Macbeth, v. i. 56]) «Когда мы пожимали друг другу руки, мое обоняние поразили все благовония Аравии»; (3) «„We mustn't exaggerate the situation", I felt a little like *the player-king rebuked by Hamlet for exaggerating his part*» (G. Greene, The comedians [имеется в виду Shakespeare, Hamlet, III, ii. 1]) «„Не следует переоценивать обстановку". Я почувствовал себя несколько в положении актера, исполняющего роль короля, которого Гамлет осуждает за переигрывание»; (4) «„Twelve hundred and fifty kilometres an hour", said the Station Master impressively. „What do you think of that, Mr. Savage?" Jonh thought it

very nice. „Still", he said, „*Ariel could put a girdle round the earth in forty minutes.*"» (A. Huxley, Brave new world [имеется в виду Shakespeare A midsummer-night's dream, II. i. 175]) «„Тысяча двести пятьдесят километров в час,— сказал начальник станции внушительно.— Как вы это находите, мистер Сэвидж?" Джон нашел, что это недурно. „Все же,— заметил он,— Ариэль мог опоясать земной шар за сорок минут"»; (5) «Well, we're obsessed by Whispering Glades, both of us — „*half in love with easeful death*", as I once told you — and to save further complication let me explain that I did not write that poem either» (E. Waugh. The loved one, [имеется в виду Keats, Ode to a nightingale]) «Итак, оба мы, ты и я, одержимы „Шелестящим долом", „в целительную смерть полувлюблен", как я сказал тебе однажды, и, чтобы избежать дальнейших осложнений, позволь мне сразу добавить, что эти стихи тоже написал не я».

Понятно, что примеры этого рода можно было бы бесконечно умножить, причем неразрешенной и даже непоставленной остается в этой связи проблема того историко-филологического минимума, овладение которым входит в curriculum, например, выпускника МГУ. Нельзя не заметить в связи со сказанным, что для английской литературы этот вопрос стоит особенно остро, так как даже в английских детективных романах вертикальный контекст играет очень большую роль. Например, следующие названия романов Агаты Кристи: «Sad cypress», «Taken at the flood», «By the pricking of my thumbs», «Endless night», «The mirror crack'd from side to side» — можно понять только, если читатель знаком с произведениями Шекспира, У. Блейка, Теннисона.

В связи со сказанным естественно возникает более широкий вопрос — о «цитатной речи» вообще [5].

Как показало исследование, этот лингвистический прием далеко не однороден. С одной стороны, создавая вертикальный контекст, он обогащает художественное произведение, придает ему как бы «четвертое измерение». С другой стороны, он может использоваться в «сниженном виде», сдвигаясь в сферу комического.

Для того чтобы разъяснить сущность последнего, так сказать «м е т а»-вертикального контекста (который очень распространен в английской литературе), мы обратились к произведениям известного английского романиста П. Дж. Вудхауса (P. G. Wodehouse), который постоянно обращался к этому лингвистическому приему. Его источниками были произведения греческих и римских классиков, а также целый ряд классических произведений английской и американской литературы XVII—XX вв.

На материале романов Вудхауса особенно интересно рассмотреть способы введения вертикального контекста. Так, в целом ряде случаев отрывок цитатной речи сопровождается подробной информацией об ее источнике, не только с указанием имени автора и названия произведения, но и с приведением некоторых других сведений. Такая информация может быть дана как самим Вудхаусом, так и его персонажами. В тех случаях, когда эта информация дается «от автора», юмористический эффект достигается за счет ее избыточного характера: «But, as has been well said (by John

[5] «Речь, характеризующаяся вкраплением в нее буквального текста, заимствованного из других произведений речи, обычно художественной литературы, речей ораторов и т. п.» (О. С. А х м а н о в а, указ. соч., стр. 387). Проблема цитирования никак не может считаться разрешенной, хотя имеются отдельные попытки ее рассмотрения в различных аспектах. См.: G. H. V a l l i n s, The best English, London, 1970, стр. 68—77. Особое значение цитатная речь приобретает, когда встает вопрос о том типе или разновидности английского языка, который должен служить русскому филологу-англисту в качестве модели или образца, а также о том объеме, в каком могут быть использованы для этой цели ресурсы классической английской литературы. См.: O. A k h m a n o v a, R. F. I d z e l i s, What is the English we use?, M., 1973.

Dryden, 1631—1700, to keep the record straight) sweet is pleasure after pain» («The girl in blue», [имеется в виду J. Dryden, Alexander's feast, 1.58]). «Но, как это хорошо было сказано (Джоном Драйденом, 1631—1700, чтобы уже точно придерживаться фактов), сладко наслаждение после страдания».

Комический эффект достигается главным образом за счет несоответствия между характером цитаты и социолингвистической характеристикой действующего лица. В данном случае мы имеем дело с двумя типичными представителями английского общества определенного периода (20-е годы нашего века) — аристократом Берти Вустером и его лакеем Дживзом. Цитирование в данном случае находится в полном соответствии с речевыми характеристиками этих персонажей [6]. Представитель «золотой молодежи» первой четверти текущего столетия Берти Вустер обнаруживает исключительное невежество даже тогда, когда речь идет о наиболее широко известных произведениях английской литературы. Напротив, его лакей Дживз, воплощая образ совершенства классической домашней прислуги в домах английской аристократии, обнаруживает в тех же случаях полную осведомленность, даже в отношении малоизвестных источников: «„The psychology of the individual, what?" „Precisely, sir. By different methods different men excel". „Burke?" „Charles Churchill, sir, a poet who flourished in the early eighteenth century. The words occur in his Epistle to William Hogarth"» («Much obliged, Jeeves») «„Индивидуальные особенности психологии личности, а?» „Совершенно верно, сэр. Разными путями достигают совершенства разные люди". „Это что, Берк?" „Чарльз Черчиль, сэр, поэт, расцвет творчества которого приходится на начало XVIII столетия. Данное высказывание мы находим в его Послании к Вильяму Хогарту"»; «„Yes, sir. The female of the species is more deadly than the male". „Neatly put", I thought. „Your own?" I said. „No, sir. A quotation". „Well, carry on", I said, thinking what a lot of good things Shakespeare had said in his time» («Aunts aren't gentlemen» [имеется в виду Kipling, The female of the species]) «„Да, сэр. Особь женского пола всегда опаснее, чем мужского». Тонко замечено, подумал я. „Это Ваше собственное?" „Нет, сэр. Это цитата". „Ну, ну, продолжайте в том же духе",— сказал я и подумал, как много интересного сказал в свое время Шекспир».

Любопытен прием «комментирования» цитат автором или его персонажами. Этот прием, рассчитанный как бы на то, чтобы придать цитатной речи характер еще более тесного слияния с прямой речью, в действительности приводит к еще более контрастному их противопоставлению: «He was very fond of Lord Emsworth and hated to upset him, and he knew what he was about to say would make his eyes, like stars, start from their spheres and also cause his knotted and combined locks, if you could call them that, to part and each particular hair — there were about twenty of them — to stand on end like quills upon the fretful porpentine» («Galahad at Blandings» [имеется в виду Shakespeare, Hamlet, I. v. 13]) «Он любил лорда Эмсворта и ни за что не хотел бы огорчать его, и в то же время он знал, что то, что он имел сообщить ему, должно было заставить его сияющие, словно звезды, глаза выйти из своих впадин, распрямило бы его расчесанные кудри (если их только можно было так назвать) и каждый волос на его голове (их было около двадцати) стал бы дыбом, словно иглы у разъяренного дикобраза».

---

[6] См.: М. И. Эйнис, О социолингвистически обусловленном варьировании речи, «Филология. Сборник студенческих и аспирантских работ», М., 1974.

В этой связи нельзя не обратить внимания также на разнообразные деформации цитатной речи, нарочитое смешение регистров путем сталкивания стилей цитаты и комментария, смешное «изложение содержания» известных диктумов и т. п.

До сих пор мы рассматривали обращения разных писателей к классической английской литературе в целях создания вертикального контекста своих произведений. Обратимся теперь к еще менее изученному вопросу, а именно к вопросу о том, какими чертами отличался вертикальный контекст самих этих классиков, творчеству которых также предшествовала огромная филологическая традиция.

Под руководством О. С. Ахмановой был выполнен подробный анализ вертикального контекста у Шекспира, Мильтона и Лоуренса Стерна [7]. Всех трех характеризует, с одной стороны, известная общность источников, используемых ими для создания вертикального контекста, куда входят греческие мифы, произведения классиков древности, библия, а также произведения их современников. Однако отношение Шекспира, Мильтона и Л. Стерна к классическому наследию является далеко не одинаковым, что находит отражение в той роли, какую это наследие играет в вертикальном контексте их произведений.

Так, в частности, было установлено, что пьесы Шекспира содержат свыше 1200 мифологических «аллюзий», играющих большую роль в его произведениях, в особенности ввиду относительной бедности современных ему источников. Мифологические образы, каждый из которых является неотъемлемым элементом произведения, используются Шекспиром в переносном, метафорическом или философско-поэтическом смысле. Интересным примером может служить обращение Шекспира к «фортуне», которая у него то почти полностью деперсонифицируется, то выступает как женщина или богиня:

«Grieve not that I am fallen to this for you;
Fort herein Fortune shows herself more kind
Than is her custom» («The merchant of Venice», IV, i.)

«. . .прощай, не тоскуй, что из-за тебя я подвергаюсь такой невзгоде, так как на этот раз фортуна милостивее обыкновенного...»;

«Let us sit and mock the good housewife Fortune
From her wheel, that her gifts may henceforth be
Bestowed equally» («As you like it», I, ii. 35)

«Сядем и будем издеваться над хозяюшкой-фортуной с ее колесом, ради того, чтобы она вперед раздавала свои дары поравномернее»;

«Now the fair goddess, Fortune,
Fall deep in love with thee!» («Coriolanus», i. v. 22)

«Пускай красавица богиня, именуемая Фортуной, влюбится в тебя и своими могучими чарами отвратит от тебя мечи неприятеля».

У Мильтона мифологические «аллюзии» имеют совершенно иной характер — характер обычных фактов, ничем не выделяющихся на фоне общего повествования:

«Not that fair field
Of Enna, where Proserpine gathering flow'rs,
Herself a fairer flower, by gloomy Dis
Was gather'd, which cost Ceres all that pain
To seek her through the world» («Paradise lost», IV. 268—272)

[7] См.: Л. В. Полубиченко, Concerning the study of philological background knowledge (with special reference to allusion and quotation). Дипломная работа выполнена на кафедре английского языка филологического факультета МГУ в 1976 г.

«Ни пленительная равнина Энны, где Прозерпина, сама цветок по свежести и красоте, беспечно рвала цветы и, к великому огорчению матери своей Цереры, тщетно искавшей ее по всей земле, была похищена мрачным Плутоном».

Анализ в этом же плане вертикального контекста в «Тристраме Шенди» показывает, что отношение Л. Стерна к классической и мифологической традиции в корне отличается от того, что мы находим у Шекспира и Мильтона. То, что для Шекспира служило источником поэтического вдохновения, а у Мильтона было своеобразным историческим фоном, нередко служит для Л. Стерна средством создания комического эффекта или же носит совершенно случайный характер, являясь лишь показателем эрудиции автора: «For which cause, right glad I am, that I have begun the history of myself in the way I have done, and that I am able to go on tracing every thing in it, as Horace says, ab Ovo» («The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman») «Словом, я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, и могу рассказать в ней обо всем, как говорит Гораций, ab ovo»; «If the fixture of Momus's glass in the human breast, according to the proposed emendation of that archcritic, had taken place,— first, this foolish consequence would certainly have followed,— that the very wisest and the very gravest of us all, in one coin or other, must have paid window-money every day of our lives» («The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman») «Если бы в человеческую грудь вправлено было стекло, согласно предложению лукавого критика Мома, то отсюда, несомненно, вытекло бы, во-первых, то нелепое следствие, что даже самые мудрые и самые важные из нас должны были бы до конца жизни платить той или иной монетой оконный сбор».

Все аспекты проблемы вертикального контекста было бы невозможно перечислить в одной статье. Поэтому мы теперь вкратце остановимся еще на одном аспекте этого направления. Дело в том, что хотя все описанные выше типы вертикального контекста и являются очень существенными, однако во всех этих случаях вертикальный контекст — только часть общей словесной ткани, которая не состоит из одного только вертикального контекста. Можно даже предположить, что при изъятии «аллюзий» из некоторых видов словесно-художественного творчества данное произведение не перестало бы вообще существовать. Но есть область, где вертикальный контекст имеет решающее значение, где на нем зиждется вся онтология данного предмета, который без вертикального контекста вообще не существует и существовать не может: это — литературная пародия. Отсутствие полного знания соответствующего вертикального контекста не только исключает возможность создания пародийного эффекта, но и делает соответствующий текст просто бессмысленным. При изучении этого предмета возникает целый ряд проблем, среди которых особенно выделяется вопрос, ранее в этом плане не затрагивавшийся, а именно вопрос о пародии как просодическом явлении [8].

В предыдущем изложении вопрос о вертикальном контексте трактовался как филологическая и лингвистическая проблема, причем задача состояла в том, чтобы выделить его в отношении к более широкому понятию «фонового знания». Завершая статью, необходимо коснуться некоторых других его аспектов.

Дело в том, что вопрос о вертикальном контексте имеет важное теоретическое значение также и потому, что его разработка позволяет с гораздо большей степенью ясности, чем это делалось до сих пор, показать полную

[8] Проблема вертикального контекста пародии и пародирования рассматривается в кандидатской диссертации М. В. Вербицкой, создаваемой на кафедре английского языка филологического факультета МГУ.

несостоятельность вовлечения в круг языковых проблем некоторых философских категорий и, в частности, получившей у нас значительное распространение так называемой «пресуппозиции». Как известно, то обстоятельство, что одно и то же предложение может быть по-разному представлено в плане соотнесения его с различными структурами пропозициональной логики, привело Г. Фреге в последней четверти XIX в. к понятию «презумпции» [9]. Этот философский термин употребляется теперь без какой-либо научной точности по крайней мере в трех смыслах: 1) нечто, отражающее семантическую структуру данного языка; 2) нечто, относящееся к объективному контексту данного высказывания, и 3) нечто, характеризующее интенции и расположение говорящего, как часть «теории речевых актов».

Понятно, что между философской и логико-математической категорией презумпции (Voraussetzung) и филологической категорией вертикального контекста имеется нечто общее в том смысле, что и там и здесь предполагается знание или восприятие или осмысление чего-то «горизонтально» в тексте непосредственно не раскрываемого. Но это обстоятельство ни в какой мере не оправдывает смешения, и — что особенно вредно — подмены языковедческих категорий категориями математической логики [10]. «Пресуппозиция» как философская категория связывается с критерием истины (truth value), вертикальный контекст как филологическая категория никакого отношения к «истинности» или «ложности» суждений не имеет, причем особенно наглядно это проявляется в метасемиотике этого лингвостилистического приема.

---

[9] Странным образом у нас это хорошо и давно известное понятие втискивается теперь в метаязык лингвистики в виде кальки с английского «presupposition» — «пресуппозиция».

[10] Так, например, суждение *All of Jack's children are bald* «Все дети Джека лысые» основывается на презумпции, что у Джека есть дети, так как иначе было бы невозможно высказывать о них какие-либо суждения ни в утвердительной, ни в отрицательной форме (т. е *Jack's children are not bald*). См.: «Language», 52, 1, 1976, стр. 2. Мы не можем останавливаться здесь на критике «Оксфордской школы», в частности соответствующих произведений Дж. Л. Остина (J. L. Austin). Но мы хотим еще раз категорически возразить: 1) против того, чтобы этого рода рассуждения вообще преподносились с претензией на «современное», «научное», «теоретическое» языкознание и, главное, 2) против того, чтобы продолжалось протаскивание в советское языкознание разных видов логического позитивизма.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

МАКОВСКИЙ М. М.

СООТНОШЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И СВОБОДЫ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ

В развитии лингвистической теории за последние два столетия все более явно обнаруживается тенденция к максимальному обобщению и кодификации языковых фактов. В центре внимания исследователей оказываются вопросы о свойствах, связях, зависимостях, соотношениях и соответствиях лингвистических элементов, о возможных и невозможных способах их организации, об условиях, причинах и следствиях их сосуществования и эволюции, т. е. обо всех тех моментах, которые в своей совокупности теперь принято называть системой. Понятие это неопределенно и противоречиво — оно нередко либо уравнивается в своем значении с понятием «схема», либо смешивается с качественно отличным от него понятием структуры, либо скрывает за собой атомистическое, несистемное исследование (ср., например, многие попытки построения лексико-семантической системы).

Особенно шаткой и произвольной представляется методика установления возможных и невозможных путей лексико-семантических преобразований, впервые сформулированных в виде так называемых «семантических законов» Шпербером и Бехтелем и с тех пор не претерпевших почти никаких изменений [1]. Во главу угла обычно ставятся фонетические соответствия, семантическая же близость фонетически сопоставимых слов основывается лишь на логических и психологических ассоциациях отдельных исследователей (или даже на «здравом смысле»), отличающихся крайней субъективностью и нередко ведущих к множественности («неединственности») семасиологических решений. Представители лингвистической географии противопоставили «фонетической этимологии» подробное изучение «биографии» отдельных слов, вырванных из соответствующей лексико-семантической системы, сторонники метода «слов и вещей» основной упор делали на изучение значений слов в рамках истории материальной культуры, а сторонники социологического направления настаивали на изучении семантики в рамках преимущественной сферы употребления слов.

Одна из основных ошибок предложенных до сих пор объяснений семантических преобразований, с нашей точки зрения, состоит в том, что смена значений понимается как изолированный, линейный, одномерный и одноплоскостной процесс ad hoc, оторванный не только от всего комплекса различных (по своей природе, свойствам, иерархии и совмести-

---

[1] Ср. сб. «Seminar: Der Regelbegriff in der praktischen Semantik», hrsg. von H. J. Heringer, Frankfurt-am-Main, 1974; P. Werth, Accounting for semantic change in current linguistic theory, «Historical linguistics», 2, 1974; W. Sanders, Grundzüge und Wandlungen der Etymologie, «Wirkendes Wort», XVII, 6, 1967; J. Voyles, Accounting for semantic change, «Lingua», 31, 1973.

мости) феноменов, одновременно действующих в языке, но и от взаимодействия формы и количества лексем при подобных изменениях. Весьма показателен в этом отношении так называемый «принцип простоты» лингвистического исследования, который нередко превращается в преднамеренное «упрощение» фактов и игнорирование сложных соотношений и связей внутри языка [2]. Для выяснения причин и возможностей семасиологических изменений представляется поэтому важным принять во внимание не одну какую-либо возможность или линию такого развития, а всю совокупность соответствующих явлений, ибо только «*целькость, совокупность моментов действительности... в своем развертывании* оказываются необходимостью» [3].

Однако, наряду с выяснением вопроса о том, почему и каким образом происходят семантические преобразования в каждом отдельном случае, необходимо поставить и следующий основной вопрос: всегда ли и все ли лексико-семантические преобразования обусловлены только закономерностями, существуют ли какие-либо другие факторы, обусловливающие такие изменения, и (если да) в каких пределах они могут действовать. Иными словами, можно ли утверждать (как это делают сторонники семантических законов), что лексико-семантические преобразования заранее «заданы» и являются своеобразными «языковыми генами», или, наоборот, правомерно ли считать (как это делают поборники фонетической этимологии), что любая лексема (в отличие от звуковых единиц) может претерпевать любые семантические изменения при условии, что эти изменения «оправдывают» фонетическое тождество сопоставляемых слов. В настоящей статье будет сделана попытка подойти к решению именно этих проблем, представляющих, как нам кажется, не меньшую важность, чем установление определенных семасиологических связей: характер соотношения «закономерных» и отклоняющихся от «закономерности» явлений, т. е. фактически необходимости и свободы в языке, может явиться тем контрольным критерием, который позволит определить, в какой мере та или иная реконструкция исторического становления лексико-семантических элементов отвечает языковой реальности.

Ошибки в языке (т. е. явления, не соответствующие определенному языковому узусу, а также незамеченные контаминации отдельных слов и значений, неправомерный перенос значений одних слов на другие) возникают в результате самых различных причин. Сюда относятся не только спонтанные, чисто психологические или индивидуальные факторы речи [4], но и такое распространенное в языках явление, как заимствование. Известный английский лексикограф Джонсон в предисловии к своему «Словарю» писал, что слова изменяют свои «манеры» (manners), как только они покидают свою родину. Г. Габеленц справедливо отмечал, что любые инновации в языке первоначально представляют собой ошибки [5]. Безусловно ошибочными с точки зрения синхронной языковой системы явля-

---

[2] Ср.: M. Bunge, The myth of simplicity. Problems of scientific philosophy, Englewood Cliffs, 1963; Y. Malkiel, The uniqueness and complexity of etymological solutions, «Lingua», 1956, 3; его же, Multiple versus simple causation in linguistic change, «To honor Roman Jakobson», 2, The Hague, 1967.

[3] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 141.

[4] Ср.: W. Havers, Sprachwissenschaft und Fehlerforschung, «Donum natalicium Schrijnen», Nijmegen — Utrecht, 1929; H. Weimer, Psychologie der Fehler, Leipzig, 1925; A. Kiessling, Die Bedingungen der Fehlsamkeit, Leipzig, 1935; сб. «Speech errors as linguistic evidence», ed. by V. A. Fromkin, The Hague — Paris, 1973.

[5] См.: G. von Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen, Ergebnisse, Leipzig, 1901.

ются и слова, искусственно создаваемые ex nihilo и преднамеренно вводимые в языки, например, такие, которые Аавик ввел в свое время в эстонский язык [6], а также образования, возникающие на почве пуризма. Особым видом языковых ошибок, который в последнее время все меньше оказывается в поле зрения исследователей, являются фонетические, формальные и семантические искажения и ошибки, возникшие при переписке и глоссировании древних письменных памятников из-за небрежности или неграмотности писцов. Впоследствии эти ошибочные формы и значения проникали в язык и становились общеупотребительными, не осознаваясь говорящими как неверные. Их появление, несомненно, вело к нарушению равновесия той языковой системы, где они возникали, и являлись причиной ее переинтеграции. Только тщательный филологический анализ, основанный на привлечении и сопоставлении большого фактического материала, может вскрыть такие ошибки, в частности фонетические, нередко принимаемые за регулярные соответствия (или, наоборот, отклонения от них) или толкуемые как подвижные формативы или фонетические варианты [7]. Следует отметить, что до сих пор усилия семасиологов и этимологов, подбирающих самые разнородные лексико-семантические параллели к одному и тому же слову, в большинстве случаев были направлены на установление связей, соответствий исследуемых слов, хотя неоднократно указывалось на то, что «параллели лексические часто являются спорными» и что «значительно бóльшую доказательность представляют лексические различия в сочетании с грамматическими» [8] и (добавим) фонетическими. При оценке тех или иных явлений языка (и в частности, лексико-семантических) приходится считаться, таким образом, не только со сходствами в рамках различного, но и с различиями в рамках сходного, учитывать «единство многообразия или многообразие в единстве» [9]. При прочих равных условиях возможности произвольности и случайности в этом последнем случае значительно меньше, чем при сопоставлении сходств.

Одним из видов таких различий, наряду с часто игнорируемыми диалектными фактами, являются отклонения, обусловленные ошибками при переписке текстов. В этой связи интересно отметить, что зарегистрированное у Миклошича на основании неверного чтения одного из списков «Хождения игумена Даниила» (Berneker, EW, I, 702; Фасмер, ЭС, 2, 486) мнимое слово *лесо* «озеро» (EW, 165) сразу же было сопоставлено с др.-прус. *layson*, *laysson* «озеро», причем такое сопоставление оказалось не менее ошибочным, чем само слово *лесо*. Ирландское слово *cobla* «любовь» сопоставляют обычно со словами, относящимися к и.-е. корню **leubh* (др.-англ. *lufu*, др.-в.-нем. *liubi*, англ. *love*, нем. *Liebe*, русск. *любовь* и др.), хотя, как показали специальные исследования, оно является мнимым и, следовательно, его вряд ли можно сопоставлять с каким-либо словом вообще (см. Zf. celt. Ph, XX, стр. 299). Особенно показатель-

---

[6] Ср.: A. S. Ross, Artificial words in present-day Estonian, TPhS, London, 1938.

[7] Ср.: F. Möhren, Afr. *gaisse*, *vasse*, *gacel*. Zur Bedeutung der philologischen Kleinarbeit für die etymologische Forschung, ZfromPh, 91, 1—2, 1975, стр. 108 и сл.; М. М. Маковский, Этимология и проблема филологической достоверности слова. сб. «Этимология. 1966», М., 1968; H. Fischer, Wörter die's nicht gibt, ZfdWf, XII, 1910; A. S. Ross, The errors in the English gloss to the Lindisfarne gospels, «Review of English studies», VII, 1932; H. Penzl, The linguistic interpretation of scribal errors in Old High German texts, «Linguistics», 32, 1967; H. Götz, Kontextübersetzung und Vokabelübersetzung in althochdeutschen Glossen, PBB (Halle), LXXXII, 1961.

[8] См.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.— Л., 1964, стр. 23 — 24.

[9] См.: Р. А. Будагов, Румынско-романские лексико-семантические расхождения, «Omagiu lui Jorgu Jordan», Bucureşti, 1958.

ным в этом отношении является немецкое слово *Minne* «любовь», которое также оказывается мнимым. Эта лексема, которая к XV в. уже почти вышла из употребления, в XVIII в. была снова введена в язык поэтами-романтиками (ср. также голл. *minne*). Указанное слово обычно сопоставляется с производными от и.-е. корня **men* «думать»: гот. *gaminþi* «память», лат. *meminī* «вспомнить», *mens* «разум», греч. μένος и др. Изучение письменных памятников и, в частности, глосс, однако, показывает, что перед нами образование, восходящее к ошибочному расчленению слов *abominosus*, *abominatio* и др. в латинско-немецких глоссах (*abo. minosus*), т. е. своеобразный «осколок» латинского слова, который был ошибочно принят переписчиками за самостоятельную немецкую лексему. Если учесть, с одной стороны, что элемент *abo* воспринимался глоссаторами как др.-в.-нем. *aba* «Mann, Ehemann» (особенно в связи с тем, что лат. *abominare*, *abominosus* и др. нередко интерпретируются писцами как производные от *homo* «человек»: ср. «abhominosus. ab omen scribitur sine *h*, ab homo scribitur cum *h*» — Diefenbach, стр. 2) [10], а с другой стороны, то обстоятельство, что синонимичная слову *abominosus* лексема *maligna* в глоссах нередко ошибочно уравнивается с *magna* (ср. др.-англ. «Canterbury Psalter», fol. 60 — *maligna* vl. *magna*. i. *superba*, ср. также Cant. Ps. 104, 15 — *malignari*: *thaem minnaen*, но также 105, 21 — *magnalia*. *thae minnaen*), становится очевидным, что слова *abominosus*, *abominatio* и др. вполне могли контаминироваться с такими образованиями, как *homagium*: *hulde*, *holde*, *gelibnuß* и *hominium*. i *hominis seruicium*. *mynschen dyenst* — Diefenbach, стр. 279 (ср. ср.-в.-нем. *holde* «Dienstmann», но совр. нем. *hold* «treu, ergeben», семантическое развитие этого слова происходило по схеме: «dienstbar» > «ergeben, treu», ср. F. Kluge, Et. Wb., стр. 314, 319). Можно полагать, что лат. *malignus*, как это часто бывает с религиозной номенклатурой в глоссах (*malignus* — эпитет дьявола), из соображений табу было сокращено до *minus* (ср. такие сокращения, как лат. *spiritus* > *spus*, *dominus* > *donus*, др.-англ. *drihten* > *drih'*, *diobul* > *diul*, *diulas* и др. Ср. T. V. Allen, Notes on the abbreviations in Greek manuscripts, 1889; L. Traube, Nomina Sacra, 1907; сокращенные слова религиозного содержания из эвфемистических соображений нередко подвергались энантиосемии: ср., санскр. *asura-* «epithet of the gods», но также «a demon» — Buck, стр, 1487), которое впоследствии было либо контаминировано с указанным осколком слова *abominosus*, либо воспринято как самостоятельное германское слово. В этой связи интересны следующие вульгарно-латинские образования в глоссах, имеющие полярные значения: с одной стороны, *abominosus*. i. *fortunatus*. *gluckselig*, *gluckseligkeit*, но также *ungeluckselich* (Diefenbach, стр. 2) а, с другой стороны, *minabundus*. *treu-hafftig*, *treu-achtig*; *minaciter*. *treuwelich*, *treulich*, но также *trotzlich*; *minax*. *treuwig*, но также *trotzlich*, ср. еще *minus*. i. *truutor*. *lantlauffer*, *lodder*, *freyhart*, *gaugler* (Diefenbach, 361), *minnarius*. i. *maritus cuius uxor mechator et ipsi tacet sim* — ср.-нем. *goeckelman*, *kocklion*, *eyn hennen taster* (Diefenbach, 381). Ср. швейц-нем. диалектн. *minlich* «ekel im Essen» (Staub — Tobler, IV, 315), шваб. *Minne* «grindiger Kopf» (Fischer, IV, 1680), нем. арго *Minne*, *Manne* «Qual» (Wolf, 2274). Интересно, что в германских языках особенно распространилась форма этого мнимого слова с другой огласовкой: др.-англ. *man*, др.-в.-нем. *mein*, др.-сакс. *mén* «nefarius, profanus, funestus».

---

[10] L. Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis, Francofurti ad Moenum, 1857. Ср.: U. Ruhberg, Verfahren und Funktionen des Etymologisierens in der mittelhochdeutschen Literatur, сб. «Verbum et signum. Friedrich Ohly zum 60. Geburtstag», München, 1975.

Обратимся к фактическому материалу и рассмотрим некоторые лексемы, проникшие в язык через письменные источники. Слово *Messe* в немецком языке является семантически ошибочным образованием, восходящим к одному из слов в латинской церковной формуле, произносившейся в конце богослужения: «ite, missa est (concio)», т. е. представляет собой причастную форму от латинского глагола *mittĕre*. Однако слово это, семантически и генетически не имеющее ничего общего с его источником, не только вошло в словарный состав литературного немецкого языка, но и претерпело семантическое изменение, которое находит параллель в целом ряде индоевропейских языков: «церковный праздник; богослужение» > «ярмарка» [ср. франц. *foire* < лат. *feria*; гот. *dulps* «Fest», но швейц. (бавар.) нем. диалектн. *Tult* (Dult) «Jahrmarkt»] [11]. Английское слово *drug* «лекарство, зелье, медикамент» (нем. *Droge* «Spezerei, Apothekerware») возникло благодаря ошибке из ср.-н.-нем. *droge fate* «trockne Fässer», т. е. «Güter in Packfässern», где *droge* было неверно истолковано как название содержимого упаковки (ср. Gamillscheg, Etymologisches Wb. der franz. Sprache», стр. 327). Семантически ошибочным образованием является и современное английское слово *dirge* «похоронная песнь; плач, причитание», которое восходит к первому слову следующей строфы латинского церковного гимна: «Dirige, Domine Deus meus, in conspectu tuo viam meam» (Psalm V, 8), т. е. является формой латинского глагола *dirigĕre* «направлять». Латинское слово *doga* «сосуд» (ср. франц. *douve*, рум. *doagă*, нем. заимств. *Daube*) в поздних средневековых латинских и латинско-германских рукописях было эквивалентно по своему значению слову *canistrum* (от лат. *canna*). Это последнее, однако, нередко произвольно укорачивалось переписчиками [12] — *canis* (*-trum*, *-ter*), причем вторая часть лексемы, вследствие ошибочного чтения, часто передавалась как *crum* (ср. лат. *crumena*. *bursa*) и выступала в виде вариантной глоссы к *canistrum*. Слово *crumena* в глоссах уравнивается с *pera*: др.-в.-нем. *buttel*, а это последнее в свою очередь соответствует *dog-acium* (Diefenbach, s. v.— *dogacium*: *rede budel*, *mel beitel*). Именно *canis* — укороченная часть латинского слова *canistrum* — было ошибочно истолковано последующими глоссаторами в смысле *canis* «собака», и это значение перенесено на латинскую глоссу этого слова *doga*, которое было неверно воспринято как германское. Англ. *dog* «собака», вытеснившее исконно германское слово *hund* (ср. англ. *hound* «охотничья собака»), засвидетельствовано в письменных памятниках довольно поздно и лишь в одной глоссе (Prud. Gl. 148, 23 — *docgena*: *canum*) и представлено главным образом только в среднеанглийском (ср. «Piers the Plowman» — *dogge*, Chaucer — *dogges*, pl.), откуда оно было заимствовано в нидерландский, немецкий, датский и шведский языки [13]. Ни в одном языке это слово не имеет исконных соответствий. Интересно, что подобная же ошибка произошла и в ср.-немец-

---

[11] Ср.: W. Belardi, G. Cardona, Armeno *tawn*: un problema di semantica, сб. «Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte. Gedenkschrift W. Brandenstein», Innsbruck, 1968.

[12] Ср.: H. Meritt, Possible elliptical compounds in Old English glosses, «American journal of philology», 59, 2, 1938, стр. 209. В этой связи весьма показательно замечание писца в древнеанглийских Лейденских глоссах: «sicut inveni scripsi, ne reputes scriptori». Интересна следующая др.- немецкая глосса, где переписчик уравнивает по значению слова, не имеющие ничего общего между собой: *crisis*, i *aurum* ł *iudicium* ł *unctio* (смешение греч. χρυσός. κρίσις. χρίσις — Diefenbach, стр. 158). Ср. также *pullus*. *juger* : *eyn acker landes*, где др.-в.-нем. *juger* было воспринято как латинское слово (стр. 472). Относительно ошибочных форм в средневековых латинских рукописях ср.: Ch. Thurot, Notices et extraits de divers manuscrits latins, XXII, Paris, 1868.

[13] Ср.: W. Fischer, Zur Etymologie von ae. *docga*, ne. *dog* und einigen anderen Tiernamen, «Anglia», LVII—LVIII, 1944, стр. 321—338.

ком языке, где лат. *canistrum* глоссируется *kipe* [14] (ср. нем. литерат. *Kiepe* «Kasten»; *Kuppe* «Becher» < лат. *cuppa* «Kuppel», вульг. лат. *cuppula*). Однако в немецких диалектах и в арго (Rotwelsch) слово *Kipp* используется в значении «собака»: ср. шваб. *Kipp* «Hund» (Fischer, IV, 388); нем. арго *Kipp* «Hund» [15] (ср., с другой стороны, также название передвижного ящика для угля в профессиональном языке французских шахтеров — *chien des mines*). В средневековых английских глоссах встречается любопытное слово *kardaga* «a sector containing 15 degrees» [16], которое употреблялось в математике. Не подлежит сомнению, что это слово представляет собой слияние указанного выше латинского *doga* и синонимичного ему германского слова, представленного гот. *kas*, др.-в.-нем. *char*, др.-сакс. *kar*, др.-англ. *cear*, швед. *kärr*, норв. диалектн. *kjerr*, дат. *koer* (ср. швейц.-нем. диалектн. *Char* «holzernes Gefäss»: Staub — Tobler, III, 420; шваб. *Kar* «Schüssel» — Fischer, IV, 216 и др.). Бесспорно также, что слияние этих лексем произошло в пределах единой глоссы. Именно на этой основе можно объяснить, очевидно, возникновение ныне широко распространенного английского слова *cur* «пес» (ср. заимствованные швед., норв. диалектн. *korre*, *kurre* «собака», нидерл. диалектн. *corre* «canis villaticus domesticus»). Переписчик, видимо, ошибочно принял *kar* (или один из его графических вариантов) за эквивалент *doga* в значении «собака» (отметим, что англ. *cur* первоначально встречается только в сочетании *curdogge*) [17]. Интересно, что мнимое слово *docga* претерпело в языке и семантические преобразования. Ср. этимологический дублет этого слова в древнеанглийском — *doc*: ср. Wrt. Voc II, 61, 66 — *dooc. hornungsunu. nothus*; Wrt. Voc. 126. 19 — *aworden vel doc. bigener*; Hpt., 33, 238, 4 — *docinel. nothus*. Ср. аналогичное семантическое развитие: греч. κύων «неверный ход, ошибка» (букв. «собака»), др.-инд. *çvaghnin* «профессиональный игрок, который делает неверный ход» (на этой основе можно, видимо, объяснить и русское выражение *он на этом собаку съел*). Подобное же семантическое развитие прошло и слово *cur*: ср. англ. диалектн. *car* «left-handed» (EDD, s. v.) [18]. Ср. также англ. диалектн. *dog* «to make bankrupt».

Современное английское слово *bird* «птица», которое не имеет соответствий ни в одном языке, также обязано своим возникновением ошибке глоссаторов. В самом деле, в поздних древнеанглийских глоссах *bird*, *brid* глоссирует лат. *pullus*; ср. Lind. Lk. 2, 24 — *birdas*: *pullos*. Следует, однако, учитывать, что *pullus* в вульгарной латыни употреблялось не только в значении «детеныш (животного); птица», но и в значении «доска, планка» [ср. CGL, IV, 558 — *puellaris* : *tabula*; в капитулярии Карла Великого *pulletrus*, откуда и совр. франц. *poutre* «балка, брус» (Dauzat, 580); Diefenbach, стр. 472 — *pultrum* : *schrine-bret*, ср. *pultrinus* : *vogelken* (Diefenbach, там же), *pultum* : *prige* (совр. *Prügel*) (Diefenbach, там же)].

Глоссатор, видимо, спутал различные значения латинской леммы *pullus* и воспринял др.-англ. глоссу *bred* (диалектн. *brid*, *bryd* от *bord*, ср. также нем. *Brett*, диалектн. *Pritsch*) «доска» как «птица», которая впоследствии в английском языке вытеснила исконно германское слово *fugel* (ср. совр. англ. *fowl* только «курица»). В этой связи интересны факты

[14] См.: L. Diefenbach, указ. соч., стр. 95.

[15] См.: S. Wolf, Wörterbuch des Rotwelschen, Mannheim, 1956, стр. 2617.

[16] R. Latham, Revised medieval Latin word-list from British and Irish sources, London, 1965.

[17] «The Oxford English dictionary», II, Oxford, 1933, стр. 1258.

[18] О взаимном влиянии древневерхненемецких и англо-саксонских глоссированных текстов см.: Chr. Leydecker, Beziehungen zwischen althochdeutschen und angelsächsischen Glossen, Bonn, 1911; H. Michiels, Über englische Bestandteile altdeutscher Glossenhandschriften, Bonn, 1912.

шотландского диалекта английского языка, где изучаемое английское слово обнаруживает все значения латинского *pullus*: *burd* «a table» (=*board*), *burd* «a young lady, a maiden», *burd*, *bird* «offspring, especially of a fox» (Warrack, s. v.), англ. диалектн. *breed* «cross-beam end».

Рассмотрение фактического материала показывает, что средненемецкие переписчики глосс нередко путали значение латинских лемм *pellex* (особенно в форме *pellice*) «concubina» и *pellicium*, *pellifex*, *pellicula* (от *pellis*). Так, в средненемецких глоссах читаем: *pellicium*. i. *vestis de pellibus facta* ł *deceptio* (Diefenbach, 421, s. v.); *pellacia* i. *fallacia* ł *pellis* (Diefenbach, 421). Лемма *pellicula* в средненемецких глоссах передается, в частности, через ср.-в.-нем. *hut*, а нем. *hut* соответствовала также лемма *tugurium* (см. Diefenbach, 601, s. v.: *hutte*, *hitt*, *hude*, *huett*). В свою очередь лемма *tugurium* соответствовала нем. *cubisi*, *chubisi*, *chupisi* (Schade, Althochdeutsches Wörterbuch, I, стр. 518, s. v.). Это немецкое слово в связи с контаминацией указанных выше латинских лемм ошибочно получило в поздних глоссах значение «concubina» и в этом значении было воспринято не только в современном немецком (*Kebse*), но и в родственных языках: др.-англ. *cyfes*, а также *cebise*, *cebisae*, *caebis*, др.-исл. *kefsir* и др. Кроме того, в результате контаминации лемм лат. *dolium* (=др.-англ. *cyf*, др.-в.-нем. *kuyp*, *koffe*) и *dolosus*, *dolos* (=др.-англ. *cyfes*, *caebis*, др.-в.-нем. *chebis*) произошло и семантическое смешение соответствующих глосс. Ср. Diefenbach, стр. 187: *dulus* : *list*, *betregunge*, но также *ain zuber*. В этой связи весьма показательно современное арготическое немецкое слово *Kübbe* (ср. англ. диалектн. *kip* «a house of ill-fame» — EDD, III, 498) «Hurenhaus», *kobern* «dem Dirnengewerbe nachgehen», *sich kobern lassen* «sich geschlechtlich preisgeben» (Wolf, 2806). Ср. англ. диалектн. *to cob* «to take a liking to anyone» (EDD, I, 675; относительно значения ср. литов. *kẽkšė* «Hure» и польск. *kochać* «любить», чеш. *kochati* «ласкать», *kochati se* «наслаждаться», ср. BB, 2, стр. 157, KZ, 41, стр. 287). Ср. также нем. арго *Kipper* «Betrüger» и англ. диалектн. *keb* «a villain» (EDD, s. v. Ср. подобное же семантическое развитие англ. *cullion* «a base fellow» < франц. *couillon* < лат. *coleus* «testicles»), ср. англ. сленг *to cob* «to deceive». Ср. еще нем. арго *Kibitz* «vulva» (Wolf, стр. 2590) и англ. диалект. *cob* «a basket» («Survey of English dialects», IV, pt. I, Leeds, 1967, стр. 199). Как показали Э. Фрэнкель (PW, XVI, 2, 1644, 1648) и М. Фасмер (REW, I, 698), понятие «concubina» часто связано с названиями животных и особенно птиц. В этой связи нельзя не отметить соотношение разбираемого слова, с одной стороны, с англ. *cob* «чайка», позднелат. *coppa* «hen» (Latham, 115), а с другой — с англ. *cub* «щенок» [ср. подобное же развитие: исп. *loba*, итал. *lupa*, франц. *louve* «a whore» (от лат. lupa «a shewolf»); др.-англ. *teofe*, *tife*, «a bitch», ср. эльзас. нем. диалектн. *Zupp* «Dirne, Hure» (Martin — Lienhart, II, 910); бавар. нем. диалектн. *Zaup*, *Zupp* «Hündin; liederliche Weibsperson» (Schmeller, II, 1141 и др.].

Можно полагать, что сравнительно поздно засвидетельствованное английское слово *bitch* «самка собаки» [др.-англ. *bicce*: Wrt. Voc. II. 23, 8 — *bicce*: *cunicula*, др.-исл. *bikkja*, совр. нем. *Petze*, ср. др.-нем. *vulva*: *buc* (Diefenbach, 633)][19] представляет собой весьма типичное для жаргонной лексики обратное образование [ср. английский обратный сленг: *delog* <

[19] Как уже указывалось в специальной литературе, др.-инд. *bhagah* «vulva» никак не соотносится с др.- сев. *bak*, др.- англ. *baec* (WP, II, 148) или с др.- сев. *bikkja* «Hündin» (de Vries, Altnord. etym. Wb., 36a). Что же касается др.- инд. *gabhah* «vulva», то это слово и др.- инд. *gâmbha* «depth», как отмечает Бэрроу, являются результатом диссимиляции от **grambhīra-*, **grambhara* (см.: Mayrhofer, Kurzgefaßtes et. Wb. des Altindischen, I, стр. 324; IF, 5, 333; Vasmer, REW, I, 276) и не имеют никакого отношения к таким словам, как нем. *Kebse*, англ. *cub* и др.

< *gold*; *yob* < *boy*; *delo nam o'the barrak* < *old man of the barrack* «master of the house»; *emit* < *time*; *dab* < *bad* (Partridge, s. v.); франц. *putain*, итал. *puttana* «a whore» > бавар. нем. *Zaup* «Dirne»], обусловленное табу. Сюда же следует отнести и этимологические дублеты этого слова: англ. *beagle* «охотничья собака», в диалектах «an opprobrious epithet applied to depraved, unmanageable and troublesome person» (EDD, I, 203), а также *big* «большой», первоначальное значение которого, как свидетельствует диалектный материал, было «great with young» (EDD, I, 261). Ср. швейц.-нем. *Bigger* «kleines Tier» (Id. IV, 1081); *Bäggel* «Kälbchen, Schäfchen» (Id., IV, 1076), ср. также швейц.-нем. диалектн. *biglen* «in kleinen Schichten über einander legen» (другую этимологию английского слова *big* см.: W. M. Austin, The etymology of English *big*, «Language», XV, 1939). К тому же корню относится и англ. *pig* «свинья», ср. англ. диалектн. *pig* «a jar or pitcher, a pot; any piece of earthenware, a potsherd» (EDD, s. v., 495—456). Подобное же семантическое развитие: лат. *porcus* «свинья» > лат. *porcus* «vulva» (это значение засвидетельствовано уже у Варрона) > итал. *porcellana* «морская раковина Concha Veneris; фарфор» (ср. англ. *porcelain*, нем. *Porzellan* и др.). Кроме того, разбираемый корень представлен и в англ. *back* «спина» [ср. др.-исл. (*grey*)-*baka*]. Не исключена возможность, что вхождению слова *bitch* в язык в определенной мере способствовало нередко встречаемое в глоссах лат. *pecten* (или его сокращенная форма *pec*), которое, как известно, могло означать не только «гребень», но и «vulva» [20]. Синоним *pellex* (*fallax*) — вульг. лат. *dolosus* — в рукописях подвергся семантической контаминации с этим последним: ср. вульг. лат. *dula*, *dulia*. *ancilla* (Diefenbach, 192). Вполне вероятно в связи с этим, что синоним указанных слов — *fraudulenter*, *fraudula* — ошибочно разлагался писцами на две части, из которых первая (*frau*, откуда совр. нем. *Frau*) принималась за германское слово, а вторая — за его латинский эквивалент со значением «ancilla». Интересно сопоставить глоссу: *virago*. *friedela*, *wyp*, *fraw* (Diefenbach, 621).

Значение немецкого слова *Ekel* возникло вследствие ошибки. В позднем древненемецком и в средненемецком существовало слово *eckol*, *eckel*, которое глоссировало лат. *chalybs* (это слово является транслитерацией греч. χάλυψ — от имени собственного Χάλυβες): ср. Ahd. Gl. I, 30; II, 185, 52; 545, 70 и др. Однако значение указанной леммы было контаминировано с транслитерацией другого (внешне похожего) греческого слова — χαλεπός, в связи с чем и немецкая глосса *eckel* приобрела значение этого последнего греческого слова: «тягостный, неприятный; враждебный». Кроме того, на значение немецкого слова, видимо, оказали определенное влияние и такие древненемецкие омофоны леммы, как *chaliwi* «horripilatio», «Schauder» и *kaluppi* «vergiftet». Любопытно, что слово *eckil* в значении «сталь» давно вышло из употребления, тогда как ошибочное значение этого слова и само слово в этом ошибочном значении сохраняются по сей день и являются неотъемлемой частью словаря современного немецкого языка. Ср. также. совр. англ. диалектн. *ecky* «sorry» (EDD, II, 234).

Происхождение современного английского слова *lad* «парень» до сих пор не выяснено. В письменных памятниках лексема эта представлена лишь в среднеанглийском, причем какие-либо связи в других языках отсутствуют. Внимательное ознакомление с древнеанглийскими глоссами позднего периода делает весьма вероятной следующую гипотезу. Слово *lad* является ошибочным образованием как со стороны формы, так и по своей семантике: мы имеем здесь дело со слиянием *l* (вместо *vel* — разде-

[20] Ср.: V. Pisani, Kamm und Scham, сб. «Antiquitates indogermanicae», Innsbruck, 1974, стр. 285 и сл.

лительной частицы, вводящей вариантные глоссы) и др.-англ. глоссы *ad*, с одной стороны, и с неверным истолкованием латинской леммы *pira* (из греч. πῶρ) в смысле лат. *puer* «мальчик, юноша». Ср. An. Ox. 2455: *pyram* ł *ad*. Весьма интересно в этой связи сопоставление со «словом-призраком»: др.-англ. *ides* «juvenculus», «virgo» и др.-в.-нем. *ites* «matrona» (ср. ZfdWf., 13, 143; PBB, 16, 502; IF, 2, 197; PBB, 34, 556). С точки зрения леммы ср. также вульг. лат. *puer-pera* (Latham, 381) «женщина». С другой стороны, вполне возможно, что латинская лемма *pira* одновременно контаминировалась и с др.-англ. *byre* «son, youth».

Не менее спорным остается и происхождение современного английского слова *lass* «девушка». Можно полагать, что и оно является мнимым словом. Эта лексема, впервые засвидетельствованная только в средне-английском в формах *lasce*, *las*, вероятнее всего — результат неверного истолкования глоссы, содержащейся в северноанглийских линдисфарнских евангелиях — Mt XI, 21: *puluis* (контаминировано с *pulla*, *puella*) ł *asce*, *as*, где ł (т. е. *vel*) опять-таки неверно присоединено к *asce*, *as*. Ср. контаминацию вульгарно-латинских лемм: с одной стороны, *pollis* (*puluis*), *pollinis* «пыль; порошок; зола» и, с другой стороны, *pollis* (вариант вульг.-лат. *pulla*, Latham, 382), *puluinus* «цыпленок; молодое животное». Ср. др.-в.-нем. глоссу — *puluinus*. *pulcinus*. *huninchlin* (Diefenbach, 473). Вторая лемма могла, видимо, быть разложена писцами на *pul* (= *pulla*) и *cinus*, причем этот последний элемент был воспринят как *cines*, обычно уравниваемый с др.-англ. *asca*, др.-в.-нем. *asch*(*e*). Ввиду того что *pul* и *cinus* (=*cines*=*asca*) стояли рядом в глоссе, они, естественно, уравнивались по значению. Возникновению и укреплению в английском языке слова *lass*, вероятно, во многом способствовало и наличие таких латино-латинских глосс, как *pullus* ł *assis* (*asser*), где *pullus* выступало в значении «доска», а не «молодой человек; молодое животное» [21].

Интересно, что искусственное слово *lass* в английских диалектах претерпело семантическое изменение: *lash* «a comb» — EDD, III, 527 [ср. лат. *pecten* «1) гребень; 2) vulva»]; семантическое преобразование «слова» *lad* встречаем в среднеанглийском: *lad* «a thong» (Prompt. Parv. 283, 1). К той же сфере семантических преобразований относится и поздне-др.-англ. *læsc* «кожа» (иногда в форме *næsc*), ср. бавар. нем. диалектн. *Losch* «eine Art kostbares Leders» (Schmeller, I, 1521), ср. шваб. нем. диалектн. *Losch* (Fischer, IV, 1292), др.-в.-нем. Ahd. Gl. 2, 325, 15; 3, 287, 13 и др. Следует отметить, что слова *ad* и *asce*(*as*) в древнеанглийском принадлежали к одному и тому же корню (и.-е.* *aidh-*). И в новом своем значении лексемы *lad* и *lass* неразрывно связаны между собой в сознании говорящих: *lass* соотносится с *lad* как форма, обозначающая лицо женского пола (примерно так же, как это имеет место в лат. *puer* ~ *puella*; *filius* ~ *filia*; англ. *lion* ~ *lioness*). Любопытно, что латинская лемма *pira* контаминировалась писцами не только с *puer*, но, видимо, и с *peiŏr* (ср. франц. *pire*), в связи с чем становится понятным возникновение (первоначально мнимого) слова *bad* «плохой», засвидетельствованного впервые только в среднеанглийском и не имеющего соответствий в близкородственных языках. С другой стороны, латинская лемма *pira* могла, очевидно, одновременно контаминироваться с др.-англ. (*and-*)*byre* «ungünstig» (ср. «Englische Studien», 27, стр. 223). В этой связи показательно

[21] Не исключена, однако, возможность, что начальные согласные в словах *lad* и *lass* возникли в результате рифмованного словообразования, хотя в свете приведенных данных более вероятно, что этот процесс был более поздним. Ср. совр. англ. *cad* «нахал, дерзкий человек», *mash* «возлюбленный, возлюбленная». Вполне вероятно, что норвежское заимствование *aske-ladd* представляет собой парное слово (ср. ср.- англ. *knave-gerlys*, 1450 г.).

др.-англ. *lað* (др.-в.-нем. *leid* «malum, moeror», др.-сакс., др.-фриз. *leð*) [22], которое, безусловно, является мнимым словом, ср. в английских диалектах: *lad* «very good or very bad» (EDD, III, 496), а также французское заимствование *laid*. Контаминация *l* и *b* в глоссах вполне обычна (ср. Corp. Gl. F 405: *lugulre* = *lûgubre*; V, 301, 47; *solita* = *sobita*). Ср. также англ. диалектн. *lath*, *laith*, «unwilling, reluctunt; sorry, slow» (EDD, s. v.). Важно сопоставление: др.-англ. *adl*, *aðl* «Krankheit, Schwäche» (ср.: англ. диалектн. *addle* «ailing, tumble-down, loose, shaky» — EDD, I, 116), с одной стороны, и др.-англ. *bǣddel*, *bǣdling* «Weichling, Zwitter» — с другой (ср. англ. диалектн. *bad* «ill, sick, in pain» — EDD, I, 123). Вполне возможно, что засвидетельствованное только в среднеанглийском *quad*, *quade* «плохой», которое не соотносится с представленным намного ранее др.-англ. *cwead* «stercus» [последнее, очевидно, сопоставляется со швед. *kött* «мясо», ср.-н.-нем. *kût(e)* «мясистая часть туши», англ. диалектн. *cad* «offal, carrion», нем. *Kot* и др. (ср. Фасмер, I, 424), ср. еще шваб. *Kauder* «отходы от обмолота зерна», швейц. *Kuder* (то же), англ. диалектн. *coats* «refuse of threshed corn»], является рифмованным образованием с англ. *bad*. Показательно, что и ср.-в.-нем. (н.-рейнск. диалектн.) *quat* «böse, ekelhaft», ср.-нидерл. *kwaad*, ср.-англ. *qued* «the devil», лютеровское *verkadern* «околдовать» являются более поздними по отношению к омонимическому корню со значением «навоз». Ср. также англ. диалектн. *caddling* «tricky, pettifogging, unfair; of weather: uncertain, wavering», англ. сленг (и диалектн.) *to cod* «обманывать». Ср. др.-англ. *coðu* «disease», совр. диалектн. *coath*.

Становление немецкого слова *Bursche* «парень» и его значения связано с целой цепочкой ошибок. Латинская лемма *brisca*, *briscea*, *birsca*, *bursia*. i.*fauus* глоссировалась средненемецкими *raz*, *ruß*, *roß*, *rasse*, *honig-seym*. Одновременно эта лемма неожиданно глоссируется *en snel der* с дополнительной латинской глоссой *animal* (Diefenbach, 81). Дело в том, что здесь произошла контаминация слов, глоссирующих *brisca* (*raz*, *roß*), с одной стороны, и слов, глоссирующих лат. bestia [*rißens* (ср. ср.-в.-нем. *râze* «rapidus», «ferox», «truculentus», ср. совр. нем. диалектн. *räß* — O. Schade, стр. 704) и *eyn noß* (контаминируемого с *roß*)]. Одновременно латинская лемма *bestia* (как и ее синоним *animal*) глоссируется ср.-в.-нем. *der*, *dir*, *dier*, *dyer*, *thyr*, *thyer*, *thier*, *tyr* (Diefenbach, 35, 72). Именно эти средненемецкие глоссы контаминировались с лат. *tiro*, *tyro* (Diefenbach, 585), которое глоссируется немецкими *ritter*, *junck*, *new*, *niuwe*. Ср. также латинское сочетание *tyro-manium*, первая часть которого могла быть воспринята как синоним второй и уравнена с нем. *Mann*.

Произвольность и случайность семантического развития некоторых слов становится особенно очевидной при рассмотрении семантической контаминации. В греческих диалектах южной Италии используются омофоны χήρος «плохой» и χεῖρον «вдова». В результате смешения этих слов итал. *cattivo* «плохой, дурной» стало в южных итальянских диалектах употребляться в несвойственном ему значении «вдова». В древнеанглийском Линдисфарнском евангелии слово *buta*, глоссирующее лат. *exceptis*, было ошибочно соотнесено с *mulieribus* и воспринято в значении «женщина»: Mt XIV, 21 — ...*ðaera weara weron gesceaded fro buta ł wifu* (лат. *milia virorum exceptis mulieribus*). Восходящее к этому *buta* английское сленговое слово *bit* «девушка» было контаминировано с *bit* «кусок», в связи с чем и слово *piece* «кусок» приобрело значение «девушка». В языке греческого населения в Египте слово θάλλος «зеленая ветка» стало употребляться

[22] Ср.: F. Maurer, *Leid*. Studien zur Bedeutungs- und Problemgeschichte, Bern, 1951.

также в значении «подарок». Это произошло в результате смешения египетских омофонов *mnḫ* «стебель папируса» и *mnht* «подарок». Позднедревненемецкое слово *dōʒ* означало «шум» и соответствовало латинским леммам *murmur*, *mugitus* (ср. *dōʒaʒ* «fragosus»). После заимствования в немецкий язык английского слова *dog* «собака» произошла семантическая контаминация этих омофонов, причем и синоним др.-в.-нем. слова *dōʒ* «шум», а именно *braht* (ср.-нем. *brach*), также приобрел значение «собака»: совр. нем. *Bracke* «Spürhund» (ср. заимствования — франц. *braque*, вульг. лат. *bracco*, итал. *bracco*, англ. *brach*). Латинская лемма *fragor* была переосмыслена как *fragrō*, а немецкое слово *Bracke* по народной этимологии было соотнесено со ср.-нем. *broehen* «нюхать».

Произвольные слова и значения возникают также в связи с так называемым рифмованным словообразованием [23]: ср. др.-инд. *mad-*, *mud-* «fröhlich sein» — *rud-* «weinen»; у Гезихия читаем: βαγός, βασιλεύς, где βαγός возникло из ἀγός под влиянием β в βασιλεύς; совр. нем. *Krieg* «война» < др.-в.-нем. *wig*, *wih* «война». Др.-в.-нем. искусственное образование *chreg* «pertinacia» было заимствовано в вульгарную латынь, где находим *gragas* «widerspenstiger, frebel» (Diefenbach, 268), *creagra* i. *abominatio* (Diefenbach, 155); *creagium* «a sort of game» (Latham, s. v.). В связи с этим процессом лат. *gregarius* стало употребляться самостоятельно (вместо *miles gregarius*) в значении «воин» [24].

С точки зрения формы слова весьма интересны образования, возникшие во французском языке в связи с ошибочным слиянием артикля с некоторыми словами и инкорпорацией артикля в основной состав слова. «Первый» артикль в таких образованиях не ощущался как вспомогательное слово, в связи с чем возникла необходимость употребления с этими словами «второго» артикля. Ср. лат. *hedera*, ст.-франц. *hierre*, *l'hierre*, но совр. франц. *la lierre*; ст.-франц. *l'endemain*, но совр. франц. *le lendemain*; поздне-лат. *anderius*, ст.-франц. *andier*, *l'andier*, но совр. франц. *le landier*; ст.-франц. *l'évier*, но совр. франц. *le lévier*; англ. заимствование *ingot* вместе с артиклем дало *le lingot*. Имеются и обратные случаи, когда начальное *l* в том или ином французском слове воспринималось как артикль и искусственно отделялось от него, например, *once* «рысь» < ст.-франц. *lonce*, которое было истолковано как *l'once* (лат. *lyncea*, *lynx*); др.-франц. *aunselle*, *auncelle* < *launcelle* (вульг.-лат. *lancella*). Подобное же явление наблюдается и в английском языке, где вставное *n* неопределенного артикля перед словами, начинающимися на гласный, нередко становится неотъемлемой частью этих слов: ср. *newt* (< *an ewt*), *notch* (< *an otch*, др.- франц. *osche*), *nickname* (< *an ekename*), англ. диалектн. *nelsin* (< *an elsin*) «a shoemaker's awl», *namschach* «misfortune, accident» (< *amschach*), *naunt* (< *an aunt*), *nimpingal* «a whitlow» (< *an impingall*).

Примеры подобного рода можно было бы увеличить. Однако уже приведенный материал не оставляет сомнения в том, что семантические и формальные изменения, вхождение слов в язык и их утрата в ряде случаев никак не обусловлены какими-либо внутренними или системными закономерностями. Рассмотренные семантемы не возникли в результате последовательного исторического развития одного и того же значения в системе по принципу «post hoc, ergo propter hoc» и не являются результатом синхронического сосуществования, обусловленного дополнительной дистрибуцией, «давлением системы» или какими-либо другими систем-

[23] Ср.: H. Güntert, Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen, Heidelberg, 1914; M. E. Houtzager, Unconscious sound and sense assimilations, Amsterdam, 1935.

[24] Ср.: J. Brüch, Der Einfluß der germanischen Sprachen auf das Vulgärlatein, Heidelberg, 1913.

ными факторами, ибо эти значения возникли в языке только благодаря определенной степени свободы языковой системы. В равной мере в язык могут входить, как мы видели, не только унаследованные (исконные) или заимствованные слова, но и искусственные лексемы, возникшие в результате ошибки (в частности, ошибки в письменных памятниках), причем статус подобных слов в системе никак не ниже статуса исконных или заимствованных лексем. Факты такого рода с предельной ясностью свидетельствуют о том, что всякий закон «узок, неполон, приблизителен», а «явление богаче закона» [25]. В этой связи можно указать на так называемые семасиологические параллели, представляющие собой классический случай, в котором как будто наблюдаются регулярные семасиологические соответствия и преобразования, выступающие к тому же в виде своеобразной универсалии, типологически справедливой для языков самого различного строя. Ср., с одной стороны, древнюю этимологию — Gellius, Notk. Attic. XIII, XXX: *facices* < *facere*, но, с другой стороны, маньчж. *arbun* «Körper, Gestalt, Ansehen» < *arambi* «machen, bereiten, wirken» («Ungarische Jahrbücher», IV, 18); русск. *кость* > *костить*, англ. *bone* «кость» > *to bone* «попрошайничать»; литов. *káulas* «Knochen» > *kaulýti* «durch vieles Bitten zu erlangen suchen» (ср. «Donum Balticum», 1970, стр. 211); совр. исл. *dräng* «unmarried man», но др.-исл. *drengr* «thick stick»; совр. нем. *Knabe* «мальчик», но нем. диалектн. *Knabe* «Stift, Bolzen»; др.-англ. *lorh* «a pole, a beam», но нем. диалектн. *Lork* «Schelm, Schuft, Schurke» и др. [26]. Было бы, однако, ошибочным усматривать в семасиологических параллелях проявление какой-то твердой закономерности, ибо, как показывает материал, в любой момент развития языка, в зависимости от внутренних и внешних условий, любое семантическое преобразование, протекающее в определенном направлении, может быть нарушено, видоизменено или вообще элиминировано. Довольно часто семантические параллели оказываются мнимыми, кажущимися, поскольку не всегда оправданы семантические связи внутри каждой из уравниваемых лексико-семантических цепочек. Ср., с одной стороны, русск. *весь* (др.-инд. *viçvas*, литов. *vìsas* и др.) и русск. *весь* «деревня» (гот. *weihs* «деревня», алб. *vis* «место», лат. *vicus*) и, с другой стороны, лат. *totus* «весь, целиком» и умбр. *tota* «urbs civitas», оск. *touto* (то же), др.-прус. *tauto* «Land» (ср. исп. *pueblo* «деревня»). др.-англ. *drēam* «joy, music» и совр. англ. *dream* «сон» и, с другой стороны, латыш. *gulêt* «спать», но русск. *гулять* (сопоставляют также латыш. *gulêt* «спать» и греч. βάλλειν «бросать», с одной стороны, и лат. *iacēre* «лежать» — *iacēre* «бросать» — с другой, что не соответствует действительности, см. Fraenkel, Lit. et. Wb., стр. 175—176). В целом ряде случаев говорить о безусловной закономерности семантических преобразований на основе семасиологических параллелей не более оправдано, чем считать звуковые и семантические параллели, нередко наблюдаемые в языках различного строя, закономерными соответствиями (ср., например, маньчж. *dashôwan* «правый» — гот. *taihswon* то же; др.-тюрк. *tişi*, *dişi* «женщина» — др.-исл. *dis* «a maid»; турецк. *dili* «язык» — швед. *tal*; англ. *bad* «плохой» — перс. *bäd* «плохой» и др.) [27].

---

[25] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 136, 137.

[26] Ср.: A. Hill, Principles governing semantic parallels, «Texas studies in literature and language», I, 1959; J. Schröpfer, The purpose of a comparative dictionary of semantic change, «Semantische Hefte», 1, 1973—1974; Ch. E. Osgood, W. H. May, M. S. Miron, Cross-cultural universals of affective meaning, Urbana — Chicago — London, 1975. J. Schröpfer, Wozu ein vergleichendes Wörterbuch des Sinnwandels?, «Proceedings of the VII International Congress of linguists», London, 1956.

[27] Ср. E. Littmann, Sprachliche Seltsamkeiten aus Morgenland und Abendland, ZDMG, 76, 1922; J. Friedrich, Zufällige Ähnlichkeiten auf verschiedenen Sprach-und Kulturgebiete, IF, LX, 2, 1950.

Вместе с тем семасиологические и формальные преобразования слова в каждом конкретном случае никак нельзя признать произвольными, хотя «отклонения» от определенных ранее проявившихся путей развития в языке нередко оказываются не менее закономерными, чем и сами «правила», а правильность и «закономерность» тех или иных явлений часто оказывается относительной или случайной, и наоборот, «неправильность» и «случайность» выступают как «закономерность», или «правило». Невозможность произвольности лексико-семантических и любых других языковых феноменов вытекает хотя бы из того, что язык является объектом, существующим в определенных условиях, включающим в себя определенные структуры, наделенные определенными функциями, и обладающим собственными структурой и системой. Воздействие условий на язык преломляется через его структуру, характер и состояние которой определяет конкретное направление и возможности преобразований структуры и системы данного объекта в соответствии с его функциями. Таким образом, мы подходим к одной из важнейших характеристик существования и изменения языка — принципу диалектического единства необходимости и свободы, т. е. антиномии ограничения (constraint), с одной стороны, и одновременной свободы, факультативности проявления языковых процессов и реалий — с другой [28]. Под функциональной свободой в языке мы имеем в виду не только свободу того или иного феномена, процесса или реалии проявляться в языке, но и их свободу не проявляться (как это имеет место, например, в случае лексико-семантических вариантов) или свободу проявляться любым количеством форм, наделенных любыми качественными характеристиками, причем как эти формы, так и их качественные характеристики могут проявляться в любой последовательности. Необходимость, или «несвобода» проявления тех или иных языковых феноменов или реалий предполагает определенную их зависимость от других явлений и обусловливается наличием (или отсутствием) в системе языка других элементов или явлений, обладающих (или, наоборот, не обладающих) определенными свойствами, конфигурацией (упорядоченностью, стройностью, непротиворечивостью), однородностью, порядком следования или совместимостью, связями, отношениями и др.

Важно иметь в виду неразрывную диалектическую связь категорий необходимости и свободы: необходимость не исчезает, становясь свободой, а понятие свободы неизменно содержит в себе понятие необходимости [29]. Достаточно вспомнить, что любой выбор (choice), постоянно происходящий в языке, любое (со)отношение, противопоставление, зависимость или связь обязательно означают не только наличие определенной степени свободы проявления именно данного (а не другого) процесса, но одновременно и определенное ограничение свободы реализации (или элиминирования) этого и/или других процессов; с другой стороны, то или иное ограничение мыслимо лишь при наличии определенной степени свободы. В этой связи следует отметить, что в ходе своего существования одна и та же лексема или семантема могут соотноситься не только с одними и теми же, но и с разными словами и значениями, существующими в системе языка или

---

[28] См.: A. Schlismann, Gesetz und Freiheit in der Sprache, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 6, 1964; B. Terracini, Lingua libere è libertà linguistica, Torino, 1963; E. Agricola, Fakultative sprachliche Formen, PBB Tübingen, 79, 1957; D. K. Lewis, Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung, Berlin, 1975; сб. «The concept of order», ed. by P. G. Kuntz, Seattle — London, 1968.

[29] См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 140, 141, 146, 192, 193.

входящими в нее, а разные слова и значения могут *соответственно вступать в связь с одной и той же лексемой или семантемой.*

Семантические параллели отражают одну из возможных степеней семантической свободы в данной, конкретной языковой системе в определенный отрезок времени, однако эта степень свободы имеет смысл только в пределах данной языковой системы, при учете всех факторов, обусловивших ее, и результатов, обусловленных ею. Вполне понятно, что типологическое сходство реально лишь при идентичности существа и причинных связей какого-либо явления в тех или иных языках, а не при наличии сходств, обнаруживаемых лишь «на поверхности»: известно, что разные причины могут давать один и тот же результат, а одна и та же причина может давать разные результаты. Именно поэтому соотношение свободы и необходимости в языке определяется, с одной стороны, конкретными условиями существования языка и конкретными явлениями, воздействующими на него [30], а с другой,— *возможностями конкретных языковых систем* (одни образования могут, а другие не могут возникать и существовать в языке или проникать в него из других языков [31]), причем возникновение того или иного явления или проникновение явления из одного языка в другой нередко ограничено определенным языковым слоем (территориальным, общелитературным, социальным, стилистическим) и связано с определенным изменением значения. Не следует думать, что различные значения одного и того же слова, представленного в одном или в нескольких родственных языках, всегда являются звеньями единой и непрерывной цепи. Напротив, многие такие значения часто обусловлены самыми различными причинами (в том числе и внеязыковыми или случайными) и никак органически или генетически не связаны друг с другом, хотя и входят в единую систему. Вместе с тем, было бы неверно утверждать, что непрерывность просто элиминирует дискретность; неверно также, что конечное просто нейтрализует бесконечное и, наоборот, бесконечное нейтрализует конечное: во всех этих случаях мы имеем дело с процессом.

Нет никакой гарантии того, что данное слово в своем развитии обязательно примет то или иное значение или форму или, наоборот, не будет выступать в этом значении или форме. Это, однако, отнюдь не свидетельствует о какой-то анархии языковой эволюции, а напротив, является лучшим доказательством непременного взаимодействия свободы и необходимости в языке. Хотя возможный диапазон значений и форм данного слова сам по себе не ограничен, реально представлены только данные, конкретные значение и форма этой лексемы, причем это ограничение обусловливается конкретными условиям существования данной лексемы, а изменение этих условий может вызвать к жизни другие значения, непредвиденные ранее (в частности, одна и та же лексема может в различных системах принимать самые различные значения). Те значения, которые в данных условиях как будто развиваются по строго определенной линии, в других условиях могут развиваться иначе, в частности, не обнаруживая былой строгости. В этой связи особенно показательны индивидуальные смысловые ассоциации тех или иных лексем [32] и значения, возникающие в язы-

---

[30] Ср.: «Форма... в своей развитой определенности... есть *закон* явлений» (Гегель, Соч., I. М.— Л., 1929, стр. 223—224).

[31] Ср.: F. Chude, Hapax legomena. A linguistic study of words occuring once, Cambridge (Mass.), 1954; Ch. Barber, Linguistic change in present-day English, London, 1964.

[32] Ср.: М. М. Маковский, Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке, ВЯ, 1976, 1; W. Azzalino, Subjektive und objektive Beziehungen in der Sprache, NphZ, 1952, 4.

ковых системах различных близкородственных языков. Ср. поздне-греч. μακαρία «счастье; блаженство» > «овсяная каша» (у Гезихия) — видимо, имелась в виду кутья (ср. ново-греч. μακαρίτης «покойник»), ср. итал. *maccarone*, *maccerone* «макароны», а также такие французские слова, как *tromper* «обманывать» (от *trompe* «труба»), *mener* «вести» (от лат. *minari* «грозить»), *mentir* «обманывать» (от лат. *mens* «разум»); русск. *рынок* < нем. *Ring* «круг» и др. Слово *day* «день» в шотландском диалекте английского языка используется в значении «(долгий) промежуток времени, срок»: *a year's day* «годичный срок», *a month's day* «месячный срок» (ср. значение слова *рок* в различных славянских языках). Ср. также гот. *gistradagis* «завтра», но англ. *yesterday* и др. Необходимо иметь в виду, что этимологии, основанные на выявлении ассоциаций, метафоризации и логического переосмысления значений (часть по целому, целое по части и др.), не могут и не должны отождествляться с выявлением семантических закономерностей, ибо эти категории и способы их установления носят в принципе субъективный характер. Закономерности в области семантики, если таковые существуют, следует, видимо, искать в какой-то другой плоскости (ср.: J. M. Williams, Synaesthetic adjectives: a possible law of semantic change, «Language», 52, № 2, 1976).

Весьма своеобразны и значения, обусловленные различными культурно-историческими факторами: ср. лат. *nubere* «выходить замуж» < *nubere* (*obnubere*) «скрывать, закрывать» (*nubes* «облако»); гот. *liugan* «sich heiraten»— *liugan* «lügen» (ср. в словаре Шаде — *liuga* «Verhüllung», гот. *analaugns* «verborgen», ср. также нем. *Glück* «счастье» и гот. *galukan* «закрывать») и др. [33].

Интересно использование числительных в самых разнообразных значениях. Так, лат. *testis* «свидетель» первоначально, видимо, означало «стоящий третьим», ср. оск. *tristaamentud* (инструменталис) = лат. *testimonia*, греч. τριστάτης «der Beistand vor Gericht», ср. исп. *terciar* «быть свидетелем». От числительных образованы и такие слова, как франц. *carillon*, *cahier*, *cadre*, *carême*, лат. *anceps*, *ancilla*; *similis*; англ. *noon*, ср. также арм. *erku* «один», но *erkuił* «страх». Весьма интересные примеры, показывающие специфику семантического развития одних и тех же корней в близкородственных языках, приводит Р. А. Будагов. Ср. рум. *cîştiga* «выигрывать, зарабатывать», но франц. *châtier* «наказывать», лат. *castigare*; рум. *îngîna* «подражать», но итал. *innganare*, исп. *engañar*, порт. *enganar* «обманывать» и др. [34])

Практически неограниченными возможностями «пропускать» самые разные, никак не обусловленные друг другом и не связанные между собой значения обладают системы так называемых жаргонов или сленгов, которые, наряду с этим, могут «пропускать» и бесконечное число лексем. Так, в английском сленге слово *boy* может употребляться еще в значениях «горб» и «шампанское (вино)», слово *bishop* — в значениях «подгорать» (о пище на плите); «утопить»; «горшок»; «ветка, используемая для перевязывания хвороста» и т. д. Своеобразны семантические изменения заимствований в различных языках. Ср. совр. русск. *ябеда* < др.-русск. *ябедникъ* «должностное лицо; судья» < др.-сканд. *embaétti*, *ambaetti* «служба, должность» < др.-в.-нем. *ambahti* «должность» < галльск. *ambactus* «гонец»; русск. *фискал*, первоначально название должностного лица (*фискал*, *оберфискал* «надзиратель; адвокат» < польск. *fiskał* «юрист» < лат. *fiscalis* «казенный»); англ. *boy* «мальчик» < вульг., лат. *boie* «оковы» (итал. *boia*

---

[33] Ср.: Р. А. Будагов, История слов в истории общества, М., 1971.

[34] См.: Р. А. Будагов, Румынско-романские лексико-семантические расхождения; его же, Сравнительно-семасиологические исследования, М., 1963.

«палач», др.-франц. *buie* «оковы», др.-исп. *boya* «палач»), ср. поздне-др.-англ. глоссу *boia*: diaconus, «Notes and queries», 9, XII, стр. 269 [ср. семантическое развитие: чеш. *chlapec* «мальчик» <церк.-слав. *хлапъ* (русск. *холоп*)]. Ср. также англ. сленговое слово *boy* «a prisoner» (Partridge, s. v.).

Учитывая, что английское слово *job* «(разовая) работа» впервые засвидетельствовано только в XVI в. и первоначально являлось неотъемлемой частью сленга, можно полагать, что оно представляет собой прочтенное в обратном порядке («обратный сленг») вульг. лат. *boie*, *boge*, от которого, как мы говорили, было образовано и английское слово *boy*. Ср. поздне-ср.-англ. *iobb of werk*, а также сленговые слова: *bog* «to work hard at a manual job» (Partridge, стр. 1007), *bogh* «to get, hold, make work» (Partridge, A dictionary of the underworld, 1961, стр. 58). С другой стороны, ср. *job* «to chide, to reprimand»; амер. сленг *job* «a girl». (ср. E. J. Dobson, «Medium Aevum», IX, 1940).

Можно наметить некоторые общие линии соотношения свободы и необходимости в области лексико-семантических преобразований: 1) в пределах многих лексико-семантических систем свобода значения уравновешивается ограниченностью соответствующей «массы» (количества) лексем, их протяженности или вариативности структуры. Следовательно, чем больше слов в той или иной системе, тем они короче; чем больше возникает значений, тем меньше количество слов, в которых они представлены (полисемия). Свобода количества («массы») лексем не совместима со свободой их значения, и вообще свобода каких-либо зависимых параметров в языке невозможна; 2) ограниченность значения уравновешивается свободой соответствующей «массы» (количества) лексем, их протяженности или вариативности структуры; 3) свобода значений ограничивается свободой «массы» соответствующих лексем, их протяженностью или вариативностью; ограниченность же значений элиминирует ограниченность количества, протяженности или вариативности лексем [35]. В самом деле, присоединение к словам разного рода подвижных формативов, а также вставных согласных и гласных (Streckformen), в большинстве случаев не только не изменяет значения соответствующих лексем, но и в большой мере способствует прекращению их дальнейших семантических преобразований. Не претерпевают семантических изменений и слова, расширенные с помощью «опустошенных» префиксов: ср. нем. *hören* «слышать», но *gehören* «принадлежать» (в ср.-в.-нем. в этом значении применялся и бесприставочный глагол), ср. еще *aufhören* «прекращать»; *fallen* «падать», но *gefallen* «нравиться» и др. [36].

Ср. также русск. *быть*, но *забыть*; *стать*, но *устать*, *ставить*, но *заставить* (к-л. ч.-л. сделать). То же относится и к удлинению слов посредством редупликации и словосложения (в частности, путем образования парных слов). В ряде случаев можно наблюдать, что выходящие из языка слова заменяются обычно (заимствованными или исконными) словами, имеющими бóльшую протяженность по сравнению со словами, которые они вытеснили. Достаточно указать в этой связи на замену более коротких исконно германских слов более протяженными французскими в английском языке после норманского завоевания. То же характерно и для других языков (ср. нем. *Pferd* «лошадь» < поздне-лат. *paravrēdus*, вошедшее в язык вместо исконного слова *eoh*, или франц. *cheval* < лат. *caballus* вместо ранее существовавшего *ive* «лошадь» и др.). При этом вошедшие в

[35] Ср.: W. Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion, Berlin, 1921; его же, Schwächung und Stärkung des Sprachkörpers, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 187, 1949.

[36] Ср.: O. Behaghel, Sprachliche Versteinerungen, «Von deutscher Sprache. Aufsätze, Vorträge und Plaudereien», Lahr i. Baden, 1927.

язык более длинные слова типа англ. *difficult*, *different*, *beautiful* и др. обычно мало подвержены семантическим преобразованиям. С другой стороны, короткие слова и слова, никак не соотносимые (изолированные) с другими словами в системе, чаще изменяют значение или становятся многозначными. Как мы пытались показать в других работах, слова, связанные аттракцией, обычно долгое время не изменяют своих значений. Слова, давно вышедшие по тем или иным причинам из какого-либо языка, в другом языке, куда они были заимствованы одновременно, образуют своего рода единую «массу» и продолжают существовать в течение длительного периода [37]. В связи с изложенным представляется возможным дать определенное объяснение процессу выхода слов или значений из языка и замены их большим или меньшим количеством новых слов и значений: речь идет о возникающей в результате нарушения равновесия системы количественной и качественной несовместимости тех или иных лексем и значений и об «ответной терапевтической реакции» (по терминологии Ж. Жильерона), протекающей в соответствии с указанными выше количественными и качественными соотношениями свободы и необходимости в языке. В этой связи весьма показательно так называемое «возрождение» (Wiederbelebung) вышедших из языка слов и значений на более поздних этапах развития языка (как это имело место в немецком, армянском и новогреческом языках). Последовательность замены одних значений другими, очевидно, также можно объяснить соотношением свободы и необходимости в языке и возникающей в связи с этим их совместимостью или несовместимостью. При этом вряд ли во всех случаях можно говорить об эволюции значения, так как в истории слова нередко можно обнаружить значения, никак не являющиеся развитием предыдущих.

Имеются факты, указывающие на то, что внутри языковой системы существует определенное соотношение количества и протяженности лексем, с одной стороны, и значения — с другой. В языках с моносиллабическим строением слова (например, в суахили), где различные значения одного и того же фонематического комплекса выражаются просодическими средствами, не наблюдается и изменения протяженности лексем (все лексемы — одинаковой протяженности), но, с другой стороны, в пределах одной лексемы не происходит и смены различных значений, как это имеет место в индоевропейских языках [38]. В ряде случаев определенное «выравнивание» языковой системы приводит не только к увеличению числа лексем или их удлинению, но и укорочению, уменьшению их протяженности (ср. лат. *vagina* > франц. *gaine*; греч. κασίγνητος «брат» > κάσις; греч. ποδάρκης > άρκης; лат. *paravrēdus* > нем. *Pferd* и др.). Любопытно в этой связи, что немецкий префиксальный уничижительный элемент *klipp-* (н.-нем. *Klippkram*, *Klippkrog*, *Klippschenke*, *Klippschulden*), изменившийся впоследствии в *knip-* (*Kneipschenke*), превратился в самостоятельное слово *Kneipe* (ср. также *Schiffenkneipe*, *Waldkneipe* и др.). Своеобразным укорочением являются и так называемое опрощение [39] и эллипсис. В некоторых языках (особенно в африканских) единое значение некоторых слов может быть выражено только посредством нескольких словоформ, в пределах которых оно как бы разлагается на составные части [40]. С дру-

---

[37] Ср.: A. Brüll, Untergegangene und veraltete Worte des Französischen im heutigen Englisch, Halle, 1913.

[38] Ср.: J. Kramský, On the phonological law of incompatibility of free quantity and free stress, в его кн.: «Papers in general linguistics», The Hague — Paris, 1976.

[39] Ср.: D. Götz, Studien zu den verdunkelten Komposita im Englischen, Nürenberg, 1971.

[40] Ср.: W. Havers, Enumerative Redeweise, IF, 45, 1927; W. Planert, Die syntaktischen Verhältnisse der Suaheli, Leipzig, 1907.

гой стороны, интересно, что в ряде случаев в индоевропейских языках изменение значения слова сопровождается возникновением различных форм одного и того же корня (этимологические дублеты): ср. нем. *leiten* «вести», но *leiden* «страдать»; англ. *metal* «металл», но *mettle* «нрав, гнев», англ. *triumph* «триумф», но *trump* «козырь», *truffle* «трюфель», но *trifle* «пустяк» и др. Интересно также явление супплетивности в лексике: ср. франц. *dormir* «спать», но *somme* (*sommeil*) «сон»; ново-греч. κοιμοῦμαι «спать», но ὕπνος «сон», англ. *to steal* «воровать», но *thief* «вор» и др. В большой мере супплетивными формами являются и лексические синонимы. Следует иметь в виду, что в разные периоды развития языка и в различных языках количество и качественная характеристика синонимов обычно неодинаковы, а семантические изменения членов синонимического ряда не обязательно дают синонимы.

*

Мы рассмотрели один из важнейших принципов существования и развития языка — диалектическое взаимодействие и взаимопереход свободного и необходимого, явления и сущности. Не подлежит сомнению, что сугубо социальная природа языка требует при анализе лексико-семантических преобразований тщательного рассмотрения конкретного состояния языковой системы, а также тех конкретных факторов, которые действуют внутри языка или оказывают на него воздействие извне, независимо от их характера и последовательности, а также времени и причин их возникновения. В этой связи важно иметь в виду, что концепции, основанные на крайних точках зрения, обычно не дают возможности объективного рассмотрения языковой реальности: любая система в языке обладает достаточной гибкостью, чтобы допускать бесконечное число связей, отношений, свойств и их комбинаций, но в то же время та же система обладает и достаточной жесткостью, чтобы, на фоне всеобщей связи элементов, не допускать соотношения и связей каждого элемента с каждым или со всеми другими элементами и ограничить конкретные наборы свойств и отношений, характерных для данного класса единиц. Определенная гибкость, подвижность языковой системы, ее способность адаптироваться к различным условиям существования языка — с одной стороны, а с другой — определенная строгость, жесткость этой системы, выступающей в роли своеобразного «фильтра», контролирующего любое языковое движение и «отбирающего» те явления, которые наиболее соответствуют данному языковому статусу,— вот те основные характеристики, которые, будучи двумя сторонами одного и того же феномена, оказывают решающее влияние на специфику лексико-семантических преобразований [41]. Именно поэтому совершенно бесперспективными представляются не только атомистическое рассмотрение языковых реалий, но в еще большей степени навязывание языку заранее заданных шаблонов, которые, к сожалению, нередко выдаются за непременное условие системности.

---

[41] Одной из последних работ, посвященных действию антиномии свободы и необходимости на различных уровнях языка (в фонетике, грамматике, лексике) является статья: F.- X. Nève de Mévergnies, Le hasard et la nécessité en linguistique, «La linguistique», XII, 1, 1976; ср.: V. Henry, Antonomies linguistiques, Paris, 1896; P. Scheffler, Über die Struktur von Antinomien, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 6, 1964.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

БЛОХ М. Я.

ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЕТЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ СИНТАКСИСА, СЕМАНТИКИ И ИНФОРМАЦИИ

Выработанные традиционным языкознанием понятия синтаксиса и семантики, а также непосредственно связанное с последним, хотя и не традиционное, понятие информации, используются в качестве фундаментальных не только лингвистикой, но и рядом смежных дисциплин — логикой, семиотикой, теорией информации и некоторыми другими. Междисциплинарное использование указанных понятий диктует необходимость строгого вычленения их лингвистической специфики, поскольку, приходя обратно в лингвистику из иных областей знания, они несут на себе отпечаток тех значений, которые там приобрели.

Так, в логической и семиотической интерпретации семантика противопоставляется синтаксису как содержание высказывания форме его построения, а в теории информации и кибернетике под информацией понимается все то, что можно мыслить в терминах сигналов, передаваемых по каналам связи, и способов их обработки,— будь это связь, устанавливаемая между людьми, животными, механизмами или между живым существом и объектом неживой природы.

В логико-семиотических описаниях свойств знаковых систем с особой настоятельностью подчеркивается принципиально внесемантический характер синтаксических отношений знаков. Толкования и определения синтаксических отношений, предлагаемые в различных трудах из смежных с лингвистикой областей знания, явно нацелены на то, чтобы «преодолеть» сложившееся в лингвистике понимание синтаксиса как верхнего раздела грамматики со своими особыми языковыми значениями. Подобный десемантизирующий (а следовательно, и деграмматизирующий) подход к синтаксису легко увидеть уже в самых общих формулировках, определяющих триаду измерений семиотики (синтактика — семантика — прагматика). Например, Х. Карри, раскрывая логическое содержание этих понятий, указывает, что «синтаксическая» теория языка должна относиться лишь к структуре его выражений как цепочек символов, а «семантическая» теория языка, кроме структуры языковых выражений, принимает во внимание также их значения [1]. Соответственно этому «строго семантическим» признается семантическое утверждение, не являющееся синтаксическим, а «чисто синтаксическим»— такое утверждение, которое не несет никакой семантической информации [2].

Чтобы исключить малейшую возможность какой бы то ни было семантизации в понимании синтаксиса, ограниченного рамками абстрактно-логических отношений между элементами знаковых систем, представители смежных с лингвистикой дисциплин уподобляют синтаксис набору формальных правил некоторой игры. Так, А. Чёрч, стремясь, по-видимому, уберечь синтаксис от «семантического искажения» со стороны «традицион-

---

[1] Х. Б. Карри, Основания математической логики, М., 1969, стр. 141.
[2] Там же, стр. 143.

но мыслящего» читателя, вводит в свои пояснения базовых понятий математической логики воображаемого постороннего наблюдателя, обозревающего оперирование формальным языком, содержания которого он не знает. Для этого наблюдателя символы языка должны обладать лишь таким содержанием, которое дается им правилами игры, аналогично содержанию различных фигур в шахматах. Именно это содержание и определяется как синтаксическое [3].

Что касается расширительного осмысления в смежных с языкознанием дисциплинах понятия информации (т. е. осмысления, выводящего информацию за рамки использования языка в человеческом общении), то оно ясно выступает, например, в определении кибернетики как науки о способах восприятия, хранения, переработки и использования информации в машинах, живых организмах и их объединениях [4].

Очевидно, что собственно лингвистическое содержание трех рассматриваемых понятий, конкретизируясь и уточняясь по мере развития наших знаний, должно постоянно сообразовываться с природой того предмета, который изучается языковедами, т. е. человеческого словесного языка.

Информация в лингвистическом смысле берется в обязательной и непосредственной отнесенности к акту языкового общения как таковому. Информация с точки зрения лингвиста — это сведения, передаваемые говорящим или пишущим слушающему или читающему. Понятие «сведения» в свою очередь относится к содержательной, т. е. семантической стороне высказывания. Однако информация реализуется лишь в ситуативно-актуализированной, существенно «денотативной» или «референциальной» семантике, и в этом смысле она является не фактом языка как системы средств выражения, а фактом речи или «речевой синтагматики». Самостоятельной единицей информации в процессе языкового общения людей служит предложение. Именно предложение, как единица предикативная, является первичным целостным носителем информации, способным отобразить ситуацию некоторого действия или состояния вместе с ее оценкой, т. е., выражаясь семиотически, выступить полноценным знаком в акте семиозиса.

Выявляясь для участников общения в виде целостной информативной единицы, в которой форма и содержание не могут мыслиться раздельно и каким-либо образом отчленяться друг от друга, предложение служит им не только своим обобщенным содержанием. Напротив, оно представляет собой информативную ценность лишь постольку, поскольку в нем находят выражение соответствующие составные части содержания — речевые отражения предметов и отношений того кусочка действительности, который включается в отображаемую предложением ситуацию [5].

Отсюда следует, что каждое предложение в речевой синтагматике является уникальной величиной, которая не может быть взята вне определенного авторства: предложение, несущее информационное сообщение лицу, воспринимающему речь, является воспроизводимым лишь в качестве цитаты. Не случайно А. И. Смирницкий, раскрывая данное качество предложения, образно назвал предложение минимальным речевым произведением. Поэтому, в частности, логико-математическое понятие экземпляра выражения (и предложения как разновидности выражения), посредством которого можно осмыслить тождество цепочек символов в тексте формального языка, неприменимо к предложению, взятому как органичес-

[3] А. Чёрч, Введение в математическую логику, М., 1960, стр. 61.
[4] А. Н. Колмогоров. Кибернетика, БСЭ², 51, 1958, стр. 149.
[5] См.: М. Я. Блох, Об информативной и семантической ценности языковых элементов, в кн.: «Синтаксические исследования по английскому языку» («Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», 473, 2), М., 1971.

кий компонент информативно-речевого потока. Так решается вопрос о тождестве «речевого предложения».

Но в содержательной стороне языковых единиц, из которых строится та или иная совокупность (корпус) высказываний, выявляются регулярно повторяющиеся, общие компоненты абстрактного, предельно обобщенного смысла. Эти компоненты, находящие реализацию в составе разных, информативно-несоотносительных предложений, представляют собой непременную принадлежность значений языковых единиц, которая присуща этим единицам в рамках системы средств выражения, отвлеченной от корпуса, и которая как раз позволяет им выступать в роли выразителей конкретного смысла в конкретной речевой цепи. Так, общее значение субъекта действия превращается в денотацию конкретного человека, значение предикатного действия определенной общей разновидности (например, переходно-активной, каузативной, бытийной и пр.) — в денотацию конкретного акта, отношения и т. д. Данные компоненты значения являются, следовательно, собственно языковыми, внутренне присущими системе средств выражения; они-то и составляют ту семантику, которая изучается лингвистикой как наукой о языке — системе средств формирования высказываний. В этом аспекте предложение выступает в качестве величины стандартной, структурно-типизированной, подлежащей анализу в терминах языковой модели, которая служит средством воплощения «речевого предложения». Таким образом, вопрос об индивидуальном авторстве для «языкового предложения» или «парадигматического предложения» отпадает, и соответственно получает право на использование понятие экземпляра предложения, для которого коллективным «автором» выступает общество — творец и носитель языка.

В этом свете следует оценить положение о различении «высказывания» как ситуативно-связанного речевого проявления и «предложения» как типизированной грамматической формы высказывания, которое в последние годы особенно энергично развивается чехословацкими учеными [6]. Данное положение связывается в трудах этого направления лингвистических исследований с концепцией В. Матезиуса, выдвинутой им в противовес чисто речевой концепции предложения А. Гардинера и утверждающей, что предложение, входя в язык в виде абстрактной модели, в то же время реализуется в речи как конкретное высказывание [7]. Подобный подход к предложению, несомненно, плодотворен тем, что фактически указывает на его диалектическую двойственность (одновременное вхождение и в язык, и в речь). Известно, что последовательное различение планов обобщенной синтаксической модели и ее конкретной реализации в процессе языкового общения было всегда характерно для русской грамматической науки и, обогащенное диалектико-материалистическим пониманием сущности языка как общественного явления, с особой четкостью выявляется в трудах В. В. Виноградова и А. И. Смирницкого.

Но из раскрытия двойственной природы предложения следует, что понятие «высказывания» (а также и «фразы», взятой в качестве интонационно-речевой реализации предложения) будет действительно нести собственную содержательную нагрузку, если оно будет осмыслено именно как опреде-

---

[6] См.: M. Dokulil, Fr. Daneš, K t. zv. vysnamové a mluvnické stavbe vety, в кн.: «O vedeckém poznáni soudobých jazyku», Praha, 1958, стр. 235; B. Trnka, On the linguistic sign and the multilevel organization of language, TLP, I, Prague, 1964, стр. 38; Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 165. Ср. с этим: Fr. Daneš, A three-level approach to syntax, TLP, I; его же, Опыт теоретической интерпретации синтаксической омонимии, ВЯ, 1964, 6.

[7] В. Матезиус, О системном грамматическом анализе, в кн.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967.

ленная сторона предложения, конкретизированная применительно к особой области исследования (положим, синтаксико-стилистической). Если же это понятие будет просто противопоставлено понятию предложения в рамках оппозиции «предложение/язык — высказывание/речь» без объединяющего термина (в качестве какового мы выбираем «предложение», т. е. один из собственных терминов оппозиции, полагая, что его двойная содержательная нагрузка в точности соответствует отмеченной диалектической двойственности объекта), то конечным итогом такого расчленения окажется лишь смена терминов, поскольку в речи не может выявляться ни одного обобщенного (типизированного) элемента формы и семантики, который бы не входил в систему языка. В эту систему не входит на уровне содержания лишь непосредственная речевая информация, а на уровне выражения элементы индивидуальных физических свойств предложения в каждом конкретном случае. Отсюда, если «высказывание» понимать как некоторый синтаксический или синтаксико-интонационный типизированный элемент речевой деятельности, не являющийся реализацией или манифестацией предложения на том или ином уровне обобщения, то оно, как и предложение, немедленно раздвоится, подчиняясь закону диалектического единства языка — речи и выделяя свою языковую (модель) и речевую (актуализация модели) принадлежность.

Итак, синтаксис естественного языка, взятого как предмет лингвистики, раскрывается в системе связывания слов в предложения, в совокупности закономерностей формирования высказываний. Но каково отношение этих закономерностей к собственно семантике, т. е. к плану системного языкового содержания, служащего непосредственным фактором передачи конкретных, ситуативных значений в процессе общения говорящих?

Лингвистическая теория, называющая себя порождающей грамматикой, аналогично некоторым смежным с лингвистикой дисциплинам, мыслит эти закономерности вне выражаемой ими семантики и, «освобождая» таким образом форму языкового синтаксиса от его содержания, формулирует понятие грамматической системы языка (подчеркиваем, не формализованного языка математической логики, а естественного языка, который служит неотделимым от человека выразителем его мыслей и чувств) как совокупность чистых правил построения или «систему экспликации языковой правильности».

Надо сказать, что если первый, «классический» вариант порождающей грамматики Н. Хомского исключал семантику из грамматики без всяких оговорок (Н. Хомский заявлял в то время, что ему «не известно ни одного сколько-нибудь подробного опыта построения теории грамматической структуры в частично семантических терминах» и что обращение к семантике при построении грамматической теории не более обосновано, чем обращение «к цвету волос говорящих»! [8]), то «новый» вариант порождающей грамматики делает это гораздо тоньше. За семантическими соображениями признается даже «абсолютно кардинальная роль» при построении синтаксической теории [9]. Однако для уяснения подлинного отношения семантики к синтаксису в «новом» варианте порождающей грамматики следует учесть, что сами понятия «грамматика языка» и «система языка» в этой теории практически не различаются. Таким образом, существенно здесь то, что семантика в рамках рассматриваемых представлений полностью выводится за пределы синтаксиса (т. е. грамматического строя языка) и что «чистая» синтаксическая структура подлежит «семантической интерпретации» лишь после того, как она порождена.

---

[8] Н. Хомский, Синтаксические структуры, в кн.: «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 505.

[9] N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 20.

Недвусмысленную формулировку подобного внесемантического понимания грамматики мы встречаем, например, в так называемой «семантической теории» языка, разрабатываемой последователями Н. Хомского Дж. Катцем и Дж. Фодором. Для этих авторов является очевидным, что структурная характеристика, приписываемая грамматикой предложению, «ни в каком семантическом смысле» («in no sense of meaning») не определяет ни значения предложения в целом, ни значения его частей. Иначе, «нижняя граница» семантической теории определяется по формуле: «семантика есть лингвистическое описание минус грамматика» («linguistic description minus grammar equals semantics») [10]. Переформулированное в понятиях «показателей», которые теория приписывает анализируемым структурам, данное положение гласит, что грамматические показатели должны отражать формальные различия, на которых основано разграничение между правильными и неправильными последовательностями морфем, в то время как семантические показатели призваны снабжать каждую правильную последовательность концептуальным содержанием [11].

Но язык устроен таким образом, что связи слов, формы и закономерности построения высказываний не существуют в нем сами по себе как «чисто формальные», асемантические категории, могущие изучаться в терминах «грамматической правильности» вне зависимости от смысла, который они выражают. Как раз наоборот, в этих связях и формах раскрывается особенная, именно им присущая семантика отношений — такая семантика, которая дает основание к самому их выделению в качестве определенных элементов языка.

Известно, что осмысление грамматики как чисто формальной системы экспликации правильно построенного предложения опровергается данными практики. Действительно, проводившиеся многочисленные эксперименты с оценкой информантами предложений, специально конструируемых как заведомо неправильные по своему «формальному» строю, давали далеко не однозначные результаты. И это находит вполне естественное объяснение попросту в том, что, соответственно своей коммуникативной сущности, предложение производится говорящим не для того, чтобы «быть правильным», а для того, чтобы отразить определенную ситуацию действительности. Поэтому информант — носитель языка, получая предложение для прослушивания или прочтения, по необходимости относится к нему как отвечающему некоему коммуникативному заданию и стремится, в рамках своих лингвистических представлений и языковой интуиции, установить его смысловой и функционально-стилистический статус через подбор оправдывающих его ситуаций [12]. Именно в силу этого факта во всей лингвистической литературе едва ли найдется хотя бы один полностью убедительный пример искусственно созданной словесной цепочки, которую можно было бы назвать абсолютно и безоговорочно запрещенной в любых мыслимых условиях употребления, несмотря на то, что составители таких запрещенных цепочек вкладывали в их конструирование немало хитроумия.

В этой связи обращение к истории языка и истории языкознания напоминает нам о том, что правильность или отмеченность на всех языковых ярусах — явление подвижное. Категории, выражаемые в грамматике, в процессе непрерывного развития языка вступают в новые, не отраженные

---

[10] J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, в кн.: «The structure of language. Readings in the philosophy of language», Englewood Cliffs, 1964, стр. 483—484.

[11] Там же, стр. 518.

[12] См.: О. С. Ахманова, Г. Б. Микаэлян, Современные синтаксические теории, М., 1963, стр. 102.

в прошлом языковом состоянии отношения: происходит их перераспределение, отмирание одних и возникновение других. Известно, что научная лингвистика пробивала себе дорогу в борьбе с ложным понятием правильности, сложившимся в досравнительноисторическом языкознании. Конечно, когда мы говорим о языковой (в том числе и грамматической) правильности теперь, мы вкладываем в это понятие совершенно иное содержание. Правильность речи следует признать одним из весьма актуальных понятий как с теоретической, так и с практической точки зрения. Однако разнообразные аспекты проблемы правильности, во-первых, не могут быть сведены к обсуждению формальной стороны (плана выражения) грамматического строя и, во-вторых, вообще не могут быть ограничены грамматической теорией как таковой, а выходят далеко за ее пределы [13].

В свете рассмотренного соотношения интересующих нас понятий можно провести дальнейшее раскрытие специфики предложения с точки зрения его языкового (системного) тождества.

Подходя к общей категории тождества в приложении к системе языка, следует учесть, что, как и другие категории науки, эта категория должна строго увязываться с уровнем обобщенности, на котором рассматриваются изучаемые объекты. При этом очевидная закономерность выявления тождества как определенной стороны качества сопоставляемых объектов состоит в том, что для любых данных элементов мера (степень) тождества повышается с повышением уровня обобщенности соответствующих классификационных признаков, на котором производится анализ. Ср. порядок повышения уровня в лексико-грамматической субкатегоризации существительного с последовательным включением в области отождествления все бо́льших совокупностей объектов: имя деятеля → имя человеческое → → имя одушевленное → имя предметной субстанции.

В качестве синтаксического примера рассмотрим следующий отрывок из произведения Ч. Диккенса: «What did he do that for?» inquired Mr. Pickwick, abruptly; for he was considerably startled by this tragical termination of the narrative.— «Wot did he do it for, sir?» reiterated Sam...»

Для автора повествования, как вытекает из его последней ремарки, предложение, произнесенное Сэмом, является простым повторением высказывания мистера Пиквика. Действительно, ситуативная информация в двух высказываниях существенно одна и та же, причем зачин диалога сделан мистером Пиквиком, и именно это важно для осмысления второго высказывания (переспрос контактоустанавливающего характера) как повторения первого. С другой стороны, ясно, что перед нами, тем не менее, находятся два различных предложения, которые отличаются друг от друга и функциональными (характер встречной адресованности), и лексико-грамматическими (словарный состав с его субкатегориальным делением), и физическими (индивидуальные черты произношения) свойствами. Таким образом, данные предложения квалифицируются как различные не только на высказывательно-фразовом, но и на категориально-парадигматическом уровне, хотя их различие определяется лишь небольшим числом элементов; иначе, за несколькими деталями различия, в них обнаруживается существенное лексико-грамматическое тождество.

Наряду с тождеством на нижних уровнях обобщенности следует различать и другие существенные стороны тождества предложения в парадигматико-лингвистическом смысле. В качестве важнейших из этих сторон мы называем тождество предикативной основы предложения, тождество ка-

---

[13] См.: О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчиков, Ю. В. Веселитский, *К вопросу о «правильности» речи*, *ВЯ*, *1960*, 2; Г. В. Колшанский, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 1975, стр. 157 и сл.

тегориально-членной модели предложения и тождество оппозиционной характеристики предложения.

Тождество предикативной основы, выявляемой валентностным минимумом предикативной конструкции, по содержанию термина относит разные предложения (с их различными синтаксическими значениями) к общему ряду грамматического производства. Так, в следующих предложениях — соответственно, слитном (осложненном), сложноподчиненном и сложносочиненном — в порядке отождествления предикативных основ выявляются разные парадигматические объединения двух синтаксических конструкций, репрезентированных элементарными предложениями — *He is frightened* и *He raises an objection*: *He was too frightened to raise an objection.— Frightened though he was, he did raise an objeic'on.— He raised an objection, but he was frightened.*

Включение предложения в план парадигматической системы языка и как необходимое следствие этого рассмотрение предложения в качестве единицы, подчиняющейся законам парадигматического производства (деривации), уже доказало свою жизненность и плодотворность в многочисленных исследованиях последних лет (см. работы Т. П. Ломтева, Н. Ю. Шведовой, И. П. Распопова, О. И. Москальской, Л. С. Бархударова, Г. А. Золотовой, Н. Д. Арутюновой, Н. Ф. Иртеньевой и др.). Как и многие другие положения лингвистики, вычленение парадигматического плана в синтаксисе языка было закономерно подготовлено предшествующими периодами развития науки. Системные соответствия между синтаксическими единицами разных типов, в том числе соответствия по признаку свернутости — развернутости структуры, широко демонстрировались в трудах таких выдающихся русских языковедов, как Ф. И. Буслаев, Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. А. Шахматов и другие. Эти ученые показали в своих исследованиях также связи между предложением и именным словосочетанием, которые составляют теперь предмет специального раздела парадигматической теории, посвященный изучению номинативного аспекта предложения, раскрывающегося через градации синтаксической номинализации.

Установление тождества предикативной основы сопоставляемых предложений, относя их к общему ряду грамматического производства, одновременно помогает выявить существенные функционально-семантические различия между ними. Последовательный учет этих различий раскрывает семантическую сущность любого синтаксико-деривационного процесса, назначение которого состоит в том, чтобы на каждой ступени грамматического производства предложения выразить определенную сторону его совокупной семантики. И в этом следует видеть коренную разницу между самой идеей проведения парадигматического принципа в синтаксисе и «тождественными преобразованиями» по парафразовому образцу, к которым обращаются авторы различных лингвистических работ, непосредственно не связанных с парадигматическим синтаксисом. С другой стороны, установление семантической функции производящего процесса в синтаксисе демонстрирует ошибочность положения теории порождающей грамматики о том, что одной «поверхностной» структуре предложения соответствуют несколько «глубинных». Глубинная структура, если ее осмыслить как путь грамматического производства предложения, и его поверхностная структура, понятая как линейная последовательность его составляющих, данная в непосредственном восприятии, составляют органическое, неразрывное единство. Нарушение этого единства неминуемо ведет к разрушению предложения как полноценной единицы, которая должна быть не только произнесена говорящим, но и адекватно понята слушающим

(ср. явление контекстной недостаточности, приводящее к нарушению коммуникации в той же мере, что и действие прямых информационных помех). Что же касается отношения предложений к их предикативной основе, то оно определяется совершенно иной закономерностью, а именно: одна и та же предикативная основа (являющаяся деривационной основой с точки зрения грамматического производства в парадигматике) дает множество реальных предложений языка, каждое из которых отличается своим собственным, только ему присущим синтаксическим содержанием (передающимся через особенное, неповторимое ни в каком другом предложении соотношение глубинной и поверхностной структуры) [14].

В свете этой очевидной закономерности разъясняется отличие парадигматической связи разных предложений по признаку тождества их предикативной основы от сопоставления предложений по принципу возможности какого-либо преобразовательного перехода от одного к другому, устанавливаемого в процессе текстового анализа. Связь предложений по тождеству предикативной основы прямо или косвенно репрезентирует деривационные отношения синтаксических конструкций. Но деривационные шаги в семантико-синтаксическом смысле выявляются, вообще говоря, в последовательном наращивании синтаксической семантики конструкции, т. е. в дополнении семантики производящей конструкции некоторым добавочным синтаксическим значением, реализуемым в производной конструкции. Иначе, вещественная основа отображаемой ситуации в обеих конструкциях должна быть идентичной, а наборы функционально-синтаксических значений, передающих, в конечном счете, различные отношения вещественных составляющих ситуации, должны различаться лишь степенью полноты (отношение части к целому). Например, синтаксической конструкцией, отображающей некоторый ситуативный факт, может быть выражено отрицание; отрицательная конструкция в свою очередь может послужить основой для выражения значения видимой вероятности («оценка отождествления») и т. д. Ср.: *There is much more to be said.—There isn't much more to be said.—There doesn't seem much more to be said.* Для преобразования предложения в анализаторском смысле такого обязательного ограничения вводить нельзя: соответствующие ограничения устанавливает сам исследователь, исходя из своих конкретных задач. Принятие данного положения тем более важно, что исследовательские задачи в большом числе случаев как раз и состоят в том, чтобы экспериментально установить различия в семантике между сопоставляемыми конструкциями. Именно поэтому, например, вполне допустимо и безусловно интересно исследовать в терминах преобразовательных отношений ряды предложений, связанных по признаку «конверсии предикатных предметов» [15]. Как и другие виды «речевых преобразований», данные соотношения конструкций можно наблюдать в живом тексте. Ср.: «She wasn't really fond of him, of course, but then he wasn't really fond of her» (A. Christie). При указанном типе исследования требуется лишь четко различать пробы на допустимость преобразования и пробы на эквивалентность преобразования, а среди последних пробы на отношения частной эквивалентности и пробы на отношения всеобщей эквивалентности, так как смешение этих принципиально различных преобразовательных опе-

---

[14] См.: М. Я. Блох, О различении так называемых глубинной и поверхностной структур предложения, в кн.: «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», Л., 1975, стр. 18.

[15] См.: Т. П. Ломтев, Парадигматика предложения на основе конвертируемости отношений, в кн.: «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 115.

раций может повести к серьезным ошибкам в интерпретации результатов эксперимента.

Действительно, если анализом устанавливается, что из некоторой текстовой выборки бессоюзных конструкций можно посредством заданного преобразования получить соответствующие союзные и наоборот или что определенная выборка сочинительных конструкций обнаруживает свойство эквивалентного преобразования в подчинительные и наоборот, то отсюда вовсе не должен следовать вывод, что бессоюзная синтаксическая связь равнозначна союзной, а синтаксическое сочинение функционально не отличается от синтаксического подчинения.

Отождествление предложений по категориально-членной модели не требует ни полной, ни частичной идентичности входящей в них лексики. Учет этой стороны тождества предложения являлся решающим для синтаксического раздела традиционной грамматики. Именно на данном виде тождества, кроме экспликации самого членно-категориального состава предложения (определенный член предложения, выраженный определенной частью речи в определенной форме), основано разграничение таких коренных синтаксических понятий, как простота и сложность, нераспространенность и распространенность предложения.

При соединении первой и второй отмеченных сторон парадигматического тождества предложения мы получаем возможность оценить деривационно-типологическое тождество между предложениями совершенно различной лексической природы. Ср.: «He was too deliberately delicate to ask» (C. P. Snow); «Though she was devoted to George, she would not let me talk about him» (C. P. Snow); «The presence of a man in her abode disconcerted Constance at the beginning; but she soon grew accustomed to it» (A. Bennett). За различным знаменательно-лексемным составом приведенных предложений нетрудно видеть их восхождение (вместе с предложениями первой серии примеров, данных в настоящей работе, и в аналогичном семантико-синтаксическом порядке — соответственно, выражение причинно-следственной, уступительной, противительной связей) к объединению идентичных моделей предикативных основ, которые на обобщенном уровне анализа можно представить в следующем виде: «субстантивная группа подлежащего — именное сказуемое с предикативом-прилагательным постоянного или переменного признака — расширение общего типа» + «субстантивная группа подлежащего — личный глагол — расширение комплетивного типа».

Но наиболее интересным на настоящем этапе лингвистических исследований должен быть признан третий из названных видов тождества, а именно, тождество по оппозиционной характеристике. Этот вид тождества устанавливается лишь тогда, когда производится вычленение оппозиционного пространства, в рамках которого строятся непосредственные парадигматические ряды сопоставляемых предложений. Таким образом, общей формулировкой тождества в этом смысле будет следующая: два предложения выявляют тождество оппозиционной характеристики в том случае, если они в пределах одного и того же оппозиционного пространства обнаруживают идентичные наборы значений выделенных для этого пространства дифференциальных признаков.

Именно в оппозиционном смысле мера тождества и различия языковых единиц устанавливается в терминах, соединяющих в себе лингвистическую представительность (ведь содержание меры тождества формулируется здесь как языковая функция анализируемых категорий) и количественную точность (поскольку соответствующие функциональные и категориальные свойства единиц подлежат формализации, обеспечивающей строгость их сопоставления).

Соотношение между последним видом тождества и двумя вышеописанными можно проиллюстрировать на следующих примерах: Jack could do it himself. («And he did it, of which I inform you»). Could Jack really have done it himself? («I am surprised and, personally, have reasons to doubt it»). Jack might have done it himself. («There is such a possibility, after all»). Все три предложения построены на единой предикативной основе (первый из названных видов тождества), взятой на нижнем лексико-грамматическом уровне (объединение первого и второго видов тождества), однако по оппозиционной характеристике мера их различия значительна, определяясь соответствующими различиями в выражении функциональных значений коммуникативной установки (повествование — вопрос), ситуативной вероятности (реальность — проблематичность) и модального отношения субъекта к действию или состоянию, выраженному знаменательным глаголом (совершение действия как такового — способность к совершению действия).

Перечисление оппозиционных составляющих (иначе, значений дифференциальных признаков) синтаксической семантики предложения, подобных тем, которые показаны на вышеприведенных примерах, может быть более исчерпывающим и менее исчерпывающим в зависимости от уровня обобщения, на котором производится анализ. Но как бы мы ни дробили или, наоборот, ни укрупняли рубрики оппозиционных сопоставлений, все выявленные виды значений, в силу их непосредственной связи с предикативной основой предложения, должны оставаться существенными для любого предложения, выполняющего роль полноценной единицы общения. Легко видеть, что данное требование находится в соответствии с положением о многоаспектности предложения, развиваемым советскими лингвистами.

Важной чертой раскрытия свойств синтаксических конструкций посредством их введения в оппозиционное пространство является то, что их отождествление и различение не ограничивается здесь статическим описанием, а раскрывает динамику их функционирования, осложняющуюся, в частности, явлениями, которые можно обобщенно охарактеризовать термином «оппозиционное замещение».

Оппозиционное замещение — это переход одного члена лингвистической оппозиции в сферу действия другого члена в процессе функционирования системы. Такое замещение для разных уровней языка было описано как «нейтрализация» оппозиций, т. е. замена одного члена соответствующей оппозиции другим, включающаяся в виде сопутствующего явления в число обычных закономерностей функционирования некоторой подсистемы [16]. Однако, наряду с подобным нивелирующим замещением, встречаются случаи замещения, которые как бы выходят за рамки обычного функционирования подсистемы и поэтому могут быть осмыслены в качестве переноса или «транспозиции» языкового элемента в необычные для него условия употребления [17]. В более узких терминах оппозиционной теории замещение данного типа можно определить как такое, при котором один член оппозиции выполняет одновременно две функции, причем первичная, собственная функция замещающего члена по преимуществу является дополнительной, а вторичная, несобственная функция — основной. В ре-

[16] См.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 256 и сл.; А. М. Мухин, Понятие нейтрализации и функциональные синтаксические единицы, ВЯ, 1965, 5; и др.

[17] См.: Е. И. Шендельс, Транспозиция морфологических форм, сб. «Иностранные языки в высшей школе», 3, 1964; H. Křížková, Первичные и вторичные функции и т. наз. транспозиция форм, TLP, II, 1966; А. В. Бондарко, Грамматическая категория и контекст, Л., 1971, стр. 94 и сл.; и др.

зультате подобного совместного выражения функций и реализуется то, что можно назвать «эффектом транспозиции» [18].

Известно, что морфологическая нейтрализация, как правило, выступает в виде замены сильного члена оппозиции слабым. Этот вид нейтрализации характерен и для синтаксиса. Его примерами могут служить выражение вопроса или побуждения в форме повествовательного предложения (скрытый вопрос, скрытое побуждение). Ср.: «„I suppose you went home".— Roy nodded slowly. „I got to my bedroom and found it full of someone else's family."» (J. Aldridge); «„Paco", he said, happily, „you and I will go up there." — „Not me."» (E. Hemingway). Аналогичный вид нейтрализации мы видим при выражении модального отношения субъекта к действию без специального лексического или морфологического показателя (модальный глагол, сослагательное наклонение). Ср.: «„What do we do?" asked Macomber.— „Not much choice", said Wilson. „We can't bring the car over."» (E. Hemingway).

Но в позицию нейтрализации может попасть и сильный член оппозиции. Такова, например, нейтрализация отрицания в некоторых видах вопросительных предложений (в частности, косвенно-вопросительных), а также в некоторых видах побудительных предложений, в которых побуждение выражается в форме вопроса. Ср.: «„I'm wondering," said Hilary, „whether one couldn't wangle some „bones" expedition that would take him out of England for a year."» (J. Galsworthy); «Couldn't you telephone to that Mental Home, Uncle?» (J. Galsworthy); «Won't you come and sit here, Gwendolen?» (O. Wilde).

Наконец, возможны и такие случаи нейтрализации, при которых сильный член одной оппозиции перемещается в область функционирования сильного члена другой оппозиции, установленной в том же оппозиционном пространстве. Данную разновидность нейтрализации можно показать на примерах выражения побуждения различными модальными конструкциями. Ср.: «We might dine together. You owe me a dinner, you know». (S. Maugham); «We won't go into the rights and wrongs, Jack. Let it go at what you say». (J. Galsworthy); «You can leave me the hell alone. Both of you. Or is that too much to ask?» (G. Metalious).

Для того чтобы различить отмеченные виды замещения в лингвистическом описании, первый из них мы называем «восходящим», второй «нисходящим», третий «равнозначным».

Что касается транспозиции, то данный тип оппозиционного замещения в силу своей функционально-семантической специализации приобретает в синтаксисе особо важную роль. Посредством синтаксической траспозиции выражаются тонкие нюансы этических значений, сильные эмоции, достигается эффект экспрессивного воздействия на слушающего.

Если восходящее замещение является обычным для нейтрализации, то восходящая транспозиция встречается в синтаксисе сравнительно редко, и это логически вытекает из ее назначения «быть заметной». Действительно, слабый член оппозиции, в силу отрицательного значения выраженного на нем дифференциального признака, гораздо меньше приспособлен к тому, чтобы помещаться в позицию особого выделения. Восходящую транспозицию можно показать на примере эмфатического отрицания, выраженного утвердительной формой предложения. Ср.: «„He's a good fellow, Soldier." — „The hell he is. The hell he's ever been a good fellow."» (E. Hemingway).

---

[18] М. Я. Блох, Категория оппозиционного замещения, в кн.: «Вопросы теории английского языка», I, М., 1973, стр. 39.

Равнозначная транспозиция может быть показана на примерах выражения разного рода побуждений вопросительными предложениями (прямое повеление, просьба, совет и т. д.), в которых отмечается обратное с простой побудительной конструкцией соотношение утвердительности и отрицательности. Ср.: «How dare you make a scene like this? This is the last time I'll come out with you.» (K. Mansfield); «„But why not be weak for once, Jug?",— argued Constantia, whispering quite fiercely.» (K. Mansfield).

Но наиболее типичным видом транспозиции, в полном соответствии с функциональным различием между сильным и слабым членами оппозиционных пар, является транспозиция нисходящая. Такую транспозицию мы видим, например, в классическом риторическом вопросе, посредством которого передается резко усиленное заявление; в эмфатическом утверждении, выраженном различными отрицательными конструкциями; в побудительной конструкции, эмфатически выражающей повествовательное значение и т. д. Ср.: «„What is the use of my being your love if you won't let yourself go with me?" — „Why should I worry you with what can't be cured?"» (J. Galsworthy); «Do not misunderstand me: I do not want the old governing class back.» (B. Shaw); «Not until he has given in completely, and is saying his last word, does it suddenly occur to him to make a hit.» (B. Shaw); «Oh, yes, I wouldn't care for a flat facing this way in winter. No, give me a nice ground floor flat every time.» (A. Christie).

Интересные случаи транспозиции отмечаются в области актуального членения предложения, когда рематический компонент высказывания нарочито помещается в позицию тематического: внешнее ослабление образа рассчитано на обратный эффект его усиления в восприятии слушающего — читающего. Этим приемом искусно пользуется, например, Э. Хемингуэй в повести «Старик и море», описывая начало нападения акул на гигантскую рыбу, пойманную старым рыбаком. В коротком, подчеркнуто информативном и внешне бесстрастном предложении, содержание которого, тем не менее, отражает резкий перелом сюжета, непосредственной рематической позицией выделен не факт нападения акул, а лишь время его совершения: «They sailed well and the old man soaked his hands in the salt water and tried to keep his head clear... The old man looked at the fish constantly to make sure it was true. It was an hour before the first shark hit him».

Приведенный материал, хотя и ограниченный рамками статьи, как мы надеемся, достаточно ясно показывает актуальность выделения оппозиционного аспекта в общей проблеме синтаксического тождества предложения. Представляется, что учет этого аспекта в последовательной увязке с теми аспектами синтаксического тождества, которые были рассмотрены выше, должен способствовать необходимому уточнению и развитию самого понятия синтаксической парадигмы предложения, столь оживленно обсуждаемого в современных лингвистических дискуссиях [19].

Возвращаясь теперь к характеристике природы синтаксика в его отношении к семантике, мы видим, что указать на связь синтаксиса с семантикой, поставив в известное соответствие содержание, выражаемое предложением, его «чистой синтаксической форме», как делают некоторые исследователи, тем самым якобы семантизируя понимание синтаксиса и «идя на мировую» с традиционной лингвистикой,— это вовсе не значит преодолеть отрыв формы от содержания, допускаемый представителями формальных теорий языка. Существо дела состоит в том, что синтаксис в системе языка не только не противопоставляется семантике, но включает

[19] Данный вопрос рассматривался нами в выступлении на Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания (секция грамматики), состоявшейся в Москве в ноябре 1974 г.

соответствующую область семантики в качестве своей органической, конститутивной части: синтаксис семантичен по существу, относясь, как и система лексики, к знаковой области языка. Именно эта семантичность синтаксиса и позволяет предложению выступать в качестве самостоятельной информативной единицы в речи, ибо форма предложения как единицы парадигматики получает свой постоянный семантико-синтаксический статус (ср. значения связей членов и частей предложения, значения общих категорий предложения), который в процессе общения превращается в информативный статус благодаря ситуативной конкретизации значений составляющих предложение элементов. Иначе, предложение предстает для носителя языка в качестве словесного единства, передающего информацию о некотором ситуативном отношении действительности и оформленного как целостный коммуникативно-установочный компонент речевого сообщения.

Из сказанного мы делаем заключение, что само понятие структуры в рамках теоретического синтаксиса не только строго соотносительно с отражаемой в этой структуре семантикой, но каждая конструкция или структурно-языковая синтаксическая форма является таковой лишь постольку, поскольку выявляет определенное значение, которое и включает ее в соответствующий участок функционирующей языковой системы. При этом предложение как центральная структурно-семантическая единица синтаксиса выступает конститутивным компонентом на трех основных синтаксических уровнях языка, каждый из которых выделяется особой семантикой: уровне элементарного предложения с его семантикой первичных связей знаменательных составляющих предложения, уровне развернутого предложения с его семантикой функционально-коммуникативных значений и уровне сверхфразового единства с его семантикой широких контекстных связей предложения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

БЛАГОВА Г. Ф.

О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ *

Памяти Виктора Максимовича Жирмунского посвящается

1. Перед тюркским языкознанием в настоящее время стоит сложная задача создания сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Сложность задачи становится особенно очевидной, если учесть следующее. В индоевропеистике, например, известен целый ряд языков II тысячелетия до н. э. (хеттский, лувийский, палайский, микенский греческий, праиндийский) [1]. Между тем тюркология располагает древнетюркскими памятниками не ранее VI—VII вв. н. э., языки которых к тому же не имеют прямых связей с современными языками [2], но за отсутствием других языковых сведений, показания которых неоценимы для реконструкции развития тюркских языков. В этих условиях для установления путей развития тюркских языков и отдельных грамматических категорий в них оказываются чрезвычайно важными комплексные исследования, построенные на привлечении показаний как памятников древнетюркской и раннесредневековой письменности, так и современных живых тюркских языков и их диалектов [3]. Вопрос о границах и объеме использования материалов современных тюркских диалектов, а также опыта диалектологии и лингвистической географии в целях сравнительно-исторической грамматики в последнее время становится предметом специального обсуждения. Не менее остро встает вопрос, тесно связанный с природой письменно-литературного языка, а именно: на каких основаниях и в какой мере должны использоваться данные древних и средневековых тюркских текстов в построениях сравнительно-исторической грамматики? По причине ограниченности лингвоисторического материала, которым располагают тюркологи, из рассмотрения не могут быть исключены тексты поэтические [4]: от мно-

* Статья написана на основе доклада, прочитанного на Чтениях, посвященных памяти академика Виктора Максимовича Жирмунского (Л., 1976).

[1] См.: В. И. Георгиев, Индоевропейское языкознание сегодня, ВЯ, 1975, 5, стр. 4.

[2] См.: Э. В. Севортян, К источникам и методам пратюркских реконструкций, ВЯ, 1973, 2, стр. 36.

[3] В настоящее время, однако, признается, что, пользуясь данными письменных памятников, современных языков и диалектов только этой лингвистической группы, «нельзя представить состояние тюркских языков глубже V в. н. э.» (А. Н. Кононов, Тюркская филология в СССР. 1917—1967, М., 1968, стр. 22).

[4] Э. А. Макаев вслед за А. Мейе призывает, в частности, к сугубой осторожности в оперировании «поэтическими формами», видя в них гетерогенные явления, принадлежащие различным хронологическим пластам, и считает необходимым отграничивать эти формы для последующего специализированного их рассмотрения (см.: Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М., 1964, стр. 20; его же, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 12 и сл.).

гих исторических периодов дошли до наших дней или исключительно или преимущественно поэтические тексты.

Кругом названных проблем обусловлены поиски новых подходов и методических приемов в лингвоисторических исследованиях, что характерно для тюркского языкознания последних лет. В связи с этим пристальное внимание привлекает опыт комплексного применения различных методов в индоевропеистике, на основе чего в этой отрасли лингвистики были получены особенно важные результаты [5].

Внедрению филологических приемов в языкознание уделял большое внимание В. М. Жирмунский. Он оставил образцы комплексных исследований — будь они лингвистическими, фольклористическими или литературоведческими. В. М. Жирмунский принадлежал к плеяде блестящих ученых, которые вели языковедческий анализ, опираясь на солиднейшую филологическую базу, и широко использовали при этом разнообразные приемы филологического исследования, а в собственно филологических, например фольклористических, разысканиях не менее глубоко привлекали лингвистические данные, языковедческие способы рассмотрения материала. В этом плане особенно интересно для нас исследование В. М. Жирмунского о ритмико-синтаксическом параллелизме в древнетюркском эпическом стихе [6].

В последние годы стало особенно очевидным, что от применения одних лишь описательных лингвистических приемов, прежде всего тех, которые связаны с структурно-генетической трактовкой языковых явлений, и простой инвентаризации грамматических форм нельзя ждать адекватного истолкования показаний письменных памятников, и в первую очередь — принадлежащих к поэтическим жанрам. К примеру можно сослаться на специальное исследование категории падежа в средневековой этико-дидактической поэме XI в. «Кутадгу билиг» [7], которое практически ограничивалось констатацией многообразной формантной вариантности ряда падежей, без попыток объяснить это явление. Между тем, падежное склонение принадлежит к числу центральных, узловых категорий языка (которые обладают к тому же особо высокой частотностью): именно склонение во многом определяет специфику языковой системы, и его изучение весьма важно для понимания данного языка. Наши исследования показали, что как раз склонение традиционно являлось одним из главных «водоразделов», по которому в истории среднеазиатско-тюркского письменно-литературного языка шло разграничение его поэтического и прозаического вариантов. С анализом склонения оказались неразрывно переплетены многие вопросы, связанные с функционированием письменно-литературного языка; поэтому именно эта категория требует к себе максимум внимания.

Для понимания в целом системы языка, представленного в поэме, как и его склонения, в частности, необходимо считаться с тем, что «Кутадгу билиг» — это, прежде всего, уникальный в своей репрезентативности феномен тюркоязычной литературы XI в. со всей ее спецификой. Возможность структурно-генетической трактовки отпадает сразу же, как только мы примем во внимание свидетельство Юсуфа Баласагунского о том, что «Ку-

---

[5] В. И. Георгиев, указ. соч., стр. 5.

[6] В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха, ВЯ, 1964, 4. Попытка сочетать приемы собственно лингвистические и филологические, например, в текстологическом исследовании представлена в статье: Э. Н. Наджип, Сравнительный анализ текстов наманганского и каирского списков «Кутадгу билиг», «Советская тюркология», 1974, 6.

[7] См., например: К. Каримов, Категория падежа в языке «Кутадгу билиг». АКД, Ташкент, 1962.

тадгу билиг» написано им на «бограханском языке тюркскими речениями» (buγra ḫan tilinče türk luγatinče КВІ [8] 2 $A2_{13}$ — А $3B_{14}$), т. е. на языке, письменно-литературная природа которого безусловна, на языке, который никак нельзя отождествлять с народным языком того времени.

Уникальность этого поэтического памятника исключает для языка XI в. возможность проведения синхронических сопоставлений в целях установления его основы и заставляет искать новую методику изучения, которая по необходимости подразумевает синтез как собственно лингвистических приемов (в том числе функционально-стилистического, оказавшегося результативным именно для изучения морфологии поэтических текстов), так и филологического подхода, продиктованного спецификой объекта изучения. Необходимость такого комплексного подхода диктуется также самим характером того фрагмента морфологии языка «Кутадгу билиг», который избран нами для изучения, а именно падежного склонения. В ряде случаев здесь налицо избыток функционально тождественных, но формально различных признаков в рамках одного падежа.

Итак, на основе комплексного подхода к исследованию склонения в языке «Кутадгу билиг» попытаемся осмыслить его природу и причины избытка функционально тождественных формальных средств в рамках одного падежа.

2. В этих целях, прежде всего, был произведен системный анализ склонения в «Кутадгу билиг». Падежные формы, представленные здесь, изучались в основном по трем параметрам: а) лексемный и парадигмный охват каждого форматива, соответственно — наличие или отсутствие ограничений в применении каждого форматива; б) тесно связанная с этим регулярность; в) гомогенность (единообразность) данного форматива всей остальной совокупности падежных формативов.

В результате системного анализа была установлена многослойность склонения в «Кутадгу билиг».

2.1. Определена, прежде всего, основа склонения исследуемого текста. Иными словами, установлен тот набор падежных формативов, который в «Кутадгу билиг» не имеет ни парадигмных, ни лексемных ограничений, используется вполне регулярно и благодаря своей гомогенности увязывается в весьма своеобразную, внутренне сопряженную систему парадигм [9], называемую нами «базисной системой склонения». Базисная система склонения в языке «Кутадгу билиг» характеризуется следующими двумя специфическими признаками.

1) Регулярное использование падежных формативов с консонантическим анлаутом (мы называем такие формативы маркированными) — -niŋ для род. падежа, -ni для вин., -ka/-ga для дат.-напр. — в именной и посессивно-именной парадигмах одинаково безразлично к тому, на согласный или на гласный оканчивается склоняемое имя. Примеры: р о д. п. er-*niŋ* КВІ 250 $B178_{2366}$, 258 $B183_{2110}$, 259 $C134_{2160}$, 272 $B193_{2589}$ «мужа», söz-*nüŋ* 273 $B194_{2601}$ «сло́ва» и söz-üŋ-*nüŋ* $200C91_{1833}$ «твоего сло́ва»; в и н. п. er-*ni*, til-*ni* $33A17_{162}$ «мужа», «язык», söz-*ni* 32 $B23_{153}$, 35 $B26_{185}$ «слово» и söz-üm-*ni* 209 $B146_{1910}$ «мое слово» (для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица возможны два параллельно употребляющихся маркированных форматива вин. падежа -ni и -n: yüz-i-*ni* и *baš-y-n* КВІ 333 $C190_{3286}$ «его лицо» и «его голову»); д а т.- н а п р. п. kiši-*ke* 72 $C24_{572}$ «человеку», söz-*ke*

---

[8] Посредством КВ сокращенно обозначается издание: R. R. A r a t, «Kutadgu Bilig». I — Metin, İstanbul, 1947.

[9] В предлагаемом анализе автор исходит из тех системообразующих признаков тюркского склонения, которые были выделены в ее статье «О типах и структурных разновидностях падежного склонения в тюркских языках» (ВЯ, 1975, 1).

77 B54$_{613}$ «слову» и söz-üŋ-*ke* 111 A38$_{938}$ «твоему слову», iš-im-*ke* 178 B126$_{1611}$ «моему делу».

Подобная единообразность именной и посессивно-именной парадигм, исходящая из отсутствия у маркированных падежных формативов грамматической обусловленности, с одной стороны, и отсутствие у этих формативов фонетической обусловленности, с другой, являются характерными чертами уйгурско-узбекского (с исторической точки зрения: «карлукского») типа склонения.

2) Регулярное наличие интерфикса -n- в дат.-напр., местн. и исх. падежах той части посессивно-именной парадигмы, которая охватывает склонение имен с аффиксами принадлежности 3-го лица. Примеры: дат.-напр. п. kiši körk-i-*n*-ge KBI 237 B168$_{2215}$ «красоте человека», ilig su'al-ler-i-*n*-ge KBI 13 B8$_{13}$ «вопросам князя»; местн. п. türk beg-ler-i-*n*-de KBI 42 B32$_{277}$ «у тюркских беков»; исх. п. jaqynlyq jol-y-*n*-dyn KBI 106 A36$_{886}$ «с пути близости». Иными словами, перекрещивание категории падежа и категории принадлежности формально здесь четко выражено интерфиксом -n-.

Наличие интерфикса -n- в этой части посессивно-именной парадигмы присуще огузскому и кыпчакскому типам склонения; в карлукском (уйгурско-узбекском) типе этот признак отсутствует (т. е. равен нулю). Значит, для того чтобы на фоне четко выраженных черт карлукского типа в склонении языка «Кутадгу билиг» адекватно истолковать интерфикс -n-, надо, прежде всего, решить вопрос: отражает ли здесь этот признак огузский тип или кыпчакский? Для этого необходимо проследить системные связи -n- в склонении, как оно представлено в языке поэмы.

В «Кутадгу билиг» интерфикс -n- используется при абсолютном отступлении от такого классического признака огузского типа склонения, как фонетическая обусловленность маркированных падежных формативов, и при отсутствии таких регулярных немаркированных падежных формативов, наличие которых в огузском типе вызвано чисто фонетическими причинами. Иначе говоря, в отличие от огузского типа склонения, здесь регулярное использование интерфикса -n- увязывается со столь же регулярным употреблением маркированных падежных формативов как во всей именной, так и целиком в посессивно-именной парадигмах. Тем самым трактовка -n- в языке поэмы как огузской черты отпадает.

Между тем в кыпчакском типе склонения регулярное использование маркированных падежных формативов в именной парадигме и в различной степени (по разным языкам) преобладающее их употребление в посессивно-именной парадигме регулярным образом конкордировано с употреблением -*n*- в посессивно-именной парадигме 3-го лица. Учитывая эту особенность кыпчакского типа склонения, приходится квалифицировать интерфикс -n- в «Кутадгу билиг» как кыпчакский признак.

Адекватность такой трактовки -n- в языке поэмы, как и возможность сочетания кыпчакского признака с карлукским, подтверждается еще одной совершенно регулярной и весьма выразительной чертой. Дело в том, что дат.-напр. падеж в посессивно-именной парадигме 3-го лица в «Кутадгу билиг» при наличии интерфикса -n- регулярно реализуется маркированным формативом -ga/-ge [10] (но отнюдь не немаркированным -a/-e, как в

[10] Мы оставляем пока в стороне фонетическую сторону вопроса, а именно переход консонантного сочетания -n-g- (в соединении морфем -n-ga или -n-garu, см. ниже) в -ŋ-, хотя с точки зрения диахронической именно на основе этого перехода можно сделать далеко идущие заключения (ср.: А. М. Щербак, Грамматический очерк тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана, М.— Л., 1961, стр. 67). В конечном счете эти заключения могут касаться вторичного происхождения огузской посессивно-именной парадигмы (в части дат.- напр. падежа имен с аффиксом принадлежности 3-го лица) из карлукско-кыпчакской: «ср. *башїн* + *ꞗа* „к его голове“ > *башїŋа* > *башї-*

огузском и кыпчакском типах!): sü baš-y-*n-ga* КВІ 245 В174$_{2309}$ «начальнику войска», anyŋ jol-y-*n-ga* 21 С15$_{16}$ «к его пути».

В отношении подобных посессивно-именных форм дат.-напр. падежа, сочетающих в себе признаки двух разных типов склонения — карлукского и кыпчакского (-n-ga), склонение в языке «Кутадгу билиг» обнаруживает известную общность со склонением в древнетюркских, а также в ряде средневековых текстов — как ранних (например, «Алтун ярук»), так и более поздних («Мухаббат-наме», «Гулистан» Сейфа Сараи, «Кысас ал-анбийа» Рабгузи и др.), а из современных языков — в тувинском, шорском, сарыг-югурском, в диалектах хакасского языка.

Взаимодействие двух названных регулярных черт в базисной системе склонения «Кутадгу билиг» позволяет квалифицировать ее как представляющую своеобразный смешанный — карлукско-кыпчакский — тип склонения.

2.2. Выделен инородный по отношению к этой базисной системе склонения слой падежных формативов, представляющих огузский тип склонения. Это характерная черта совсем другой — огузской — группы тюркских языков, нежели та, которую репрезентирует «Кутадгу билиг».

При интерпретации этого слоя падежных формативов необходимо учитывать, что использование огузских языковых элементов, как это специально подчеркивает Э. Р. Тенишев, было традиционным для текстов древне- и средневековой письменности и восходит к «древнетюркскому устному койне», которое «в структурном отношении представляло собою сплав в основном двух начал: огузского ... и уйгурского...» [11]. Подобный сплав языковых фактов, «разных по генезису и по употребительности в нехудожественном языке», типичен для поэзии различных народов и периодов: архаичные и прочие разнородные языковые черты в системе языка поэзии превращаются в выразительные средства [12].

В огузском типе склонения падежные формативы строго распределяются в зависимости от фонетических условий ауслаута склоняемого слова: маркированные формативы (с консонантическим анлаутом) присоединяются обычно к именам, оканчивающимся на гласный; формативы с вокалическим анлаутом (мы называем их немаркированными) обычны для имен с консонантическим исходом, причем такое распределение формативов характерно для всех трех падежных парадигм, что как раз и отличает огузский тип склонения от кыпчакского. В языке «Кутадгу билиг» огузские (немаркированные) формативы — род. п. -iŋ, вин. п. -i, дат.-напр. п. -a/-e — в отношении парадигмного охвата не являются единообразными, а частотность их весьма невысока. Так, род. п. -iŋ наблюдается здесь, главным образом, в местоименной парадигме, причем чаще всего этот формператив присоединяется к местоимению kim «кто»: kim-*iŋ* КВІ 51 В38$_{361,367}$, 69В50$_{546-547}$, 127 В91$_{1102}$, 177 В125$_{1597}$, 229 С111$_{2126}$, 315 В226$_{3072}$, 344 В251$_{3115}$;

на» (там же). Судить о возможности именно такой последовательности исторического развития сейчас представляется преждевременным.

Вместе с тем нельзя не заметить, что невниманием к названному переходу были вызваны к жизни неадекватные морфологические трактовки подобных морфемных сочетаний. С одной стороны, ŋ, получившийся в результате перехода -n-g- > -ŋ-, был отнесен к составу формативов дат.- напр. (*-ŋa*) или напр. (*-ŋaru*) падежей (В. М. Насилов, Древнеуйгурский язык, М., 1963, стр. 35; его же, Язык орхоно-енисейских памятников, М., 1960, стр. 28), а с другой — вовсе исключен из состава, например, формператива напр. падежа: *-aru* (В. Г. Кондратьев, Очерк грамматики древнетюркского языка, Л., 1970, стр. 14).

[11] Э. Р. Тенишев, О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников, сб. «Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова», Л., 1976, стр. 164.

[12] И. А. Оссовецкий, О языке русского традиционного фольклора, ВЯ, 1975, 5, стр. 67.

гораздо более редки огузские формы других местоимений: biz-*iŋ* КВІ 48_{73} «наш», siz-*iŋ*-siz 27 А15_{108} «без вас»; наряду с немаркированным -iŋ в местоименной парадигме может использоваться обычный маркированный форматив род. падежа -niŋ: olar-*niŋ* КВІ 20 В15_{32}, 28 В19_{113} «их», bular-*niŋ* 360С210_{2590} «этих», qamuγ-*niŋ* 614 В444_{6206} «всех».

Огузский немаркированный форматив вин. п. -i в местоименной парадигме также чаще всего сочетается с местоимением kim «кто», однако и здесь возможны случаи параллельного употребления огузского -i и обычного -ni даже в небольших фрагментах текста; см. kim-*i* и kim-*ni* КВІ 274 В$195_{2615-2616}$, 349 С$203_{3178-3130}$. Подобный же параллелизм можно наблюдать в посессивно-именной парадигме, ср. seniŋ qaδγu-ŋ-*y*, seniŋ can-iŋ-*i* КВІ 140 С$55_{1229-1231}$ «твою печаль», «твою душу» и baš-yŋ-*ny*, til-iŋ-*ni*, söz-üŋ-*ni* 114 В$80_{967-968}$ «твою голову», «твой язык», «твое слово», см. также meniŋ köŋl-üm-*i* КВІ 22 С15_{47} «мое сердце». В именной парадигме вин. п. -i отмечен в считанном числе словоформ: ... kör ögdülmiš-*i* КВІ В135_{1753} «смотри на Огдюльмиша», ol bitise söz-*i* 280 С149_{2674} «если он напишет слово» (оба примера — в составе рифмы).

Наибольшее число зарегистрированных нами случаев употребления огузского немаркированного форматива приходится на дат.-напр. падеж — -a/-e. Тем не менее, и этот огузский форматив имеет в языке «Кутадгу билиг» характер вкрапления: не испытывая парадигмных ограничений, он имеет здесь суженный лексемный охват. Например, в именной парадигме из 29 зарегистрированных словоформ 12 представляют собой дат.-напр. падеж аллегорического имени собственного ögdülmiš-*e* КВІ 199 А70_{1815}, 314 С176_{3061}, 320 В230_{3131}, 332 С190_{3281}, 334 С 191_{3302}, 621 А179_{6275}, 625 С375_{6305}, 627 С377_{6310}, 634 С378_{6410} и одна — имени собственного oδγurmyš-*a* 334 С191_{3302}. В посессивно-именной парадигме дат.-напр. п.-a/-*e* отмечен в одном случае после аффикса принадлежности 2-го лица ед. числа (seniŋ tapγ-yŋ-*a* КВІ 330 В239_{3251} «на службу к тебе») и в нескольких — после аффикса принадлежности 1-го лица ед. числа (oγl-um-*a* КВІ 35 В26_{186}, 142 В102_{1251} «моему сыну», iš-i-m-*e*, jaš-ym-*a* 314 С176_{3059} «моему делу», «моему возрасту»).

Итак, огузские (немаркированные) падежные формативы, не будучи единообразными в отношении парадигмного и лексемного охвата, имеют в языке «Кутадгу билиг» целый ряд существенных лексемных и парадигмных ограничений, обладают низкой частотностью и практически носят характер нерегулярных вкраплений, между собой мало соотнесенных (последнее можно продемонстрировать на примере местоимения kim: ср. род. п. kim-*iŋ*, вин. п. kim-*i*, т. е. с огузскими немаркированными формативами, но обычно дат.-напр. п. kim-*ke* КВІ 92 В64_{753}, 197 В138_{1797}, 215 В152_{1978}, 316 С177_{3079}, 649 С390_{6531} «кому», т. е. с обычным маркированным формативом).

2.3. Выделен еще один слой падежных формативов, инородный по отношению как к базисной системе склонения, так отчасти и к огузским падежным элементам. Это напр. падеж на -gar и аккузатив на -(i)g, которые мы, с известной долей условности, относим к архаическому слою [13]. Использо-

[13] Э. Р. Тенишев рассматривает -(i)g в числе огузских признаков (Э. Р. Тенишев, указ. соч., стр. 164). Поскольку падежный форматив -(i)g, широко распространенный в памятниках древнетюркской письменности, где он имел строгую и четкую дистрибуцию, в настоящее время сохранился лишь в отдельных диалектах и говорах огузской подгруппы (например, в кедабекском говоре азербайджанского языка -iq, -yq, -uq—форматив род. падежа, естественно, утративший прежнюю дистрибуцию), допустимо рассматривать его в качестве архаического признака.

Относить напр. падеж на -gar к архаическому слою не мешает то обстоятельство, что пережиточно этот форматив может спорадически встречаться в современных парадигмах склонения отдельных местоимений, например, кумыкского языка, а также ряда диалектов татарского и башкирского языков.

вание того и другого в «Кутадгу билиг» нерегулярно, имеет целый ряд существенных ограничений лексемного и парадигмного характера, особенно для -gar. Практически этот форматив в языке «Кутадгу билиг» могут принимать только личные местоимения 1, 2 и 3-го лиц ед. числа и указательное местоимение bu: «этот»: maŋgar КВІ 498 В359$_{1995}$ «мне», saŋgar КВІ 96 С34$_{789}$, 109 В77$_{923}$ «тебе», aŋgar 65 А28$_{503}$, С20$_{506}$, 238 В169$_{2238}$ «ему», muŋgar 100 С36$_{826}$, 355 А101$_{3537}$ «этому».

Напротив, аккузатив -(i)g проник в местоименную парадигму [14], главным образом, благодаря аффигированным местоимениям, а именно мн. числу указательных местоимений bu «этот», ol «тот» и местоимения 3-го лица ol (bu-lar-yγ КВІ 303 В216$_{2929}$, 448 С265$_{1\cdot57}$, Н206; o-lar-yγ 40 В31$_{251}$, 437 С257$_{1350}$, 445 В319$_{1430}$, 448 С265$_{1\cdot61}$, 454 В326$_{\cdot526}$, 483 В348$_{1836}$, Н122, 635 А182$_{6128}$), а также некоторым производным местоимениям, как, например, вопросительное ne-gü «как» (negü-g КВІ 393 Б282$_{3901}$), уподобительно-сравнительное sini teg «(такой) как ты», или прономинализирующимся сочетаниям типа ne erseler «какие бы ни были; любые; все» (ne erse-ler-ig КВІ 18 С13$_{14}$). Из непроизводных местоимений форматив -(i)g могли принимать только возвратное öz «сам» (см. довольно употребительное öz-üg/öz-ig «[себя] самого») и вопросительное kim (см. очень редкое kim-ig «кого» рядом с kim-i «кого» КВІ 646 С387$_{65\cdot3}$), причем для последнего из них вообще характерен разнобой и неупорядоченный параллелизм вариантов формативов каждого из изучаемых падежей. Примечательно, что названная группа местоимений по своей фонетической структуре уподобляется именным моделям склонения. Видимо, на основе этого уподобления и происходило выравнивание местоименного склонения в названной его части по образцу именного склонения, т. е. осуществлялась «общая тенденция к смешению и аналогизации типов склонения» [15]. Особенно заметен вторичный характер использования -(i)g в местоименном склонении при рифмовке некоторых из таких местоименных форм аккузатива и соответствующих именных словоформ: sini teg-ler-ig — beg-ler-ig КВІ 607 С367$_{6123}$ «подобных тебе» — «князей»; ne erse-ler-ig — sen tirig КВІ 18 С13$_{14}$ «каких бы то ни было» — «ты живой». Одной из частотных рифм в «Кутадгу билиг» являются именная и возвратно-местоименная словоформы аккузатива: söz-üg—öz-üg КВІ 45 В33$_{298}$, 70 С23$_{558}$, 118 С40$_{1003}$, 119 С41$_{1013}$, 150 А55$_{1326}$, 265 В188$_{2519}$, 276 В196$_{2629}$, 278 С147$_{2656}$, 280 С149$_{2677}$ «(его?) слова» — «(его?) самого».

Для пары словоформ последнего примера, как и для подобных словоформ с консонантическим ауслаутом склоняемых основ, возможны два способа трактовки: söz-üg, öz-üg и söz-ü-g, öz-ü-g, т. е. с точки зрения формальной допустимо либо отнесение гласного к составу форматива аккузатива, либо выделение этого гласного в качестве показателя принадлежности 3-го лица ед. числа. Семантически возможны оба разбиения. Последний вариант его может быть поставлен под сомнение с точки зрения системной — ввиду того, что -(i)g в остальных частях посессивно-именной парадигмы совершенно не представлен; препятствует такому толкованию словоформ типа sözüg также примеры, где эти словоформы явно употребле-

[14] В орхоно-енисейских памятниках, как известно, существовала строгая дистрибуция формативов вин. падежа по парадигмам склонения: за местоименной парадигмой был закреплен форматив -ni, за посессивно-именной — -n, тюрко-монгольский форматив -ig был «единственным аффиксом вин. падежа, выступающим при именах» (W. Radloff, Die alttürkische Inschriften der Mongolei, N. F., СПб., 1897, стр. 62; см. также: В. М. Насилов, Язык орхоно-енисейских памятников, М., 1960, стр. 25; А. А. Раджабов, Язык орхоно-енисейских памятников древнетюркской письменности. Морфология. АКД, Баку, 1967, стр. 9, 13).

[15] В. М. Жирмунский, Развитие строя немецкого языка, М.— Л., 1936, стр. 20.

ны без посессивного показателя: bayat aty birle söz-üg bašladym КВІ 29 В21$_{121}$ «именем бога начал я слово» (при söz должен был бы быть аффикс принадлежности 1-го лица ед. числа -üm).

Таким образом, если сфера форматива напр. падежа -gar ограничивается отдельными (но центральными) частями местоименной парадигмы и вовсе не захватывает ни именную, ни посессивно-именную парадигмы, то сфера действия аккузатива -(i)g, напротив, приходится главным образом на именную парадигму, распространяясь также на некоторые периферийные участки местоименной парадигмы и не задевает посессивно-именную парадигму (либо — под сомнением — затрагивает лишь одну ее часть — имена с аффиксами принадлежности 3-го лица). И в именной парадигме, и особенно в местоименной аккузатив на -(i)g по частотности сильно уступает обычному (почти универсальному) формативу вин. падежа -ni при том, что -(i)g и -ni употребляются, как правило, параллельно и нередко взаимозаменяются (это особенно заметно в словесных клише — см. 4.2).

2.4. Результатом избыточности своих формальных признаков склонение в языке «Кутадгу билиг» имело известную межпарадигматическую и даже внутрипарадигматическую несводимость и несоответствия, неустойчивость и недостаточную регулярность. Особенно заметны внутрипарадигматические несводимость и нерегулярность в склонении, например, местоимения kim «кто», как оно представлено в «Кутадгу билиг»: род. падеж имеет, как правило, огузский немаркированный форматив -iŋ, а дат. падеж характеризуется, напротив, маркированным -ke, между тем как для вин. падежа употребляются и маркированный -ni, немаркированный -i, и неконтрастный по отношению к ним форматив -(i)g.

В этих условиях было важно отделить наиболее существенные признаки склонения, игравшие в языке «Кутадгу билиг» основную роль в определении самой природы (типа) склонения и его специфики, от признаков менее существенных. Именно благодаря применению системного анализа удалось определить базисную систему карлукско-кыпчакского типа. Таким образом, стратификация падежного склонения в языке «Кутадгу билиг» предстает в следующем виде: базисная система карлукско-кыпчакского типа и традиционные — огузский и архаический — слои.

Причину «некоторой смешанности в отношении языка» «Кутадгу билиг» С. Е. Малов склонен был видеть в том, что сочинение это, написанное в Кашгарии в г. Баласагуне в XI в., дошло до нас в списках XV в.[16]. При всей справедливости заключения С. Е. Малова [17] следует все же признать, что поновления переписчиков были отнюдь не единственной причиной. Подобной смешанности в сильной мере способствовали, во-первых, действовавшая письменно-литературная традиция, сохранявшая свой наддиалектный характер, и, во-вторых, жанровая специфика поэзии, благодаря которой разнородные языковые факты в системе языка поэзии становятся либо выразительными средствами, либо своеобразным «строительным» материалом для метрики и рифмовки.

3. Второй лингвистический прием, к которому мы прибегли,— это верификация смешанного состояния падежного склонения в «Кутадгу билиг» на основе типологии близкородственных языков. Здесь мы обратились к данным современной тюркской диалектологии — в той их части, которая касается среднеазиатских районов активного межъязыкового и междиалектного контактирования.

---

[16] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951, стр. 300.

[17] Заключение С. Е. Малова было подтверждено специальным исследованием Э. Н. Наджипа (указ. соч.).

Современные близкородственные тюркские диалекты и говоры Средней Азии не являются друг для друга непроницаемыми: «... в области грамматики, кроме спонтанного развития грамматической системы, отдельные грамматические формы могут заимствоваться в результате взаимодействия между диалектами» [18]. Действительно, во многих тюркских говорах Средней Азии благодаря контактированию представлено склонение весьма смешанное, когда иноязычным (или: инодиалектным) воздействием затронуты одни звенья системы склонения и не охвачены другие. Тем не менее, как показали наши наблюдения, затронутые иноязычным влиянием звенья склонения чаще всего преобразуются в своего рода сопряженную подсистему, в которой оказываются так или иначе взаимосвязаны все варьирующиеся формы разных падежей [19].

Такой сопряженности нет между разными слоями склонения в языке «Кутадгу билиг». Никак не взаимообусловлены друг другом разнородные напр. падеж на -gar и огузский дат.-напр. падеж на -a. Столь же разнородны форматив вин. падежа: -ni, -i, с одной стороны, и -(i)g, с другой. Из них три форматива — -ni, -ṇ, -i — контрастируют друг с другом по признакам а) наличия или отсутствия консонантического анлаута, б) наличия или отсутствия вокалического ауслаута. Аккузатив -(i)g выпадает из этих противопоставлений, являясь неконтрастным по названным признакам.

Таким образом, применение приема верификации фактов памятника современными диалектными материалами позволяет констатировать, что перед нами склонение, в котором наблюдаются нарушения системных отношений и связей. С точки зрения структурно-генетической это явление трудно объяснимо.

4. К филологическим приемам, разработанным В. М. Жирмунским при исследовании древнетюркского эпоса и его рифмы, мы прибегли с целью определить характер употребления в изучаемом поэтическом тексте падежных словоформ, принадлежащих двум традиционным слоям — архаическому и огузскому.

Как известно, тюркскому стиху свойственна грамматическая рифма, обусловленная «материальным тождеством соответствующих именных или глагольных окончаний, характерным для языков агглютинирующего строя» [20]. По наблюдениям В. М. Жирмунского, особенно значителен вес глагольной рифмы; гораздо более ограничено использование именной рифмы, в том числе падежной. Надо сказать, что В. М. Жирмунский придавал большое значение изучению рифмы у старых, например немецких, поэтов не только в плане собственно стиховедческом, но также в аспекте исторической диалектологии уже потому, что как раз пестрота форм «достаточно прочно засвидетельствована рифмами точно рифмующих поэтов» [21].

Изучение падежной рифмы в «Кутадгу билиг» мы проводили при учете конкретных словоформ, в плане стилистики падежных форм. Это дало любопытные результаты.

4.1. Оказалось, прежде всего, что наиболее часто среди других падежных форм в рифме выступает аккузатив на -(i)g. Конкурировать с аккузативом по частоте употребления в рифме может, пожалуй, только основной падеж. Что же касается напр. падежа на -gar, то он выступает в рифме буквально в единичных случаях.

---

[18] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.— Л., 1956, стр. 540.

[19] См. об этом: Г. Ф. Благова, Соотношения типов и структурных разновидностей падежного склонения в среднеазиатско-тюркских языках и диалектах, сб. «Генетические и ареальные связи языков Азии и Африки», М. (в печати).

[20] В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм..., стр. 3.

[21] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 23.

В чем же причина такой высокой частотности аккузатива на -(i)g в рифме? Дело в том, что именно этот аккузатив был особенно удобен для рифмовки — он создавал возможности для более широкой маневренности в рифме, с его помощью достигалось известное разнообразие на довольно бедном, в общем-то, фоне грамматической рифмы. В случае, когда в качестве рифмы использовались окончания других падежей, необходимо было повторение формы того же падежа, а формантное тождество, разумеется, не способствовало обогащению рифмы.

Между тем аккузатив на -(i)g мог рифмоваться и не только сам с собою (т. е. рифма внутри словоизменительной сферы), но весьма часто сопрягался с некоторыми словообразовательными моделями. Словоформы аккузатива могли рифмоваться с именами, которые образованы либо с помощью аффикса -lik от имен, либо посредством аффикса -(i)k/-(i)g от глагольных основ (в первом члене приводимых ниже пар выступает отглагольный дериват, во втором члене через косую приводятся словоформы аккузатива, которые, по нашим наблюдениям, рифмуются с этим дериватом): **bil-ig** «знание»— erdem-ler-*ig* «добродетели» КВІ 185 С81$_{1683}$/til-*ig* «язык» 34 В25$_{174}$, 78 В55$_{623}$, 175 В124$_{1590}$; **ary-γ** «чистый» — yaraγsyzlar-*yγ* «неподходящих» 102 В71$_{817}$/mü'min-*ig* «правоверного» 120 А45$_{1022}$, 642 А184$_{6512}$, 643 С386$_{6518}$/ḥalajyq-lar-*yγ* «созданий» 120 А45$_{1022}$; **tiri-g** «живой»— er-*ig* «мужа» 162 С69$_{1417}$, 164 В116$_{1366}$, 201 А71$_{1839}$/jir-*ig* «место, земля» 39 А18$_{237}$, 155 В111$_{1383}$, 642 А184$_{6507}$/jir-ler-*ig* «земли» 602 С364$_{6069}$/bir-*ig* «одного (из них)» 176 В 124$_{1590}$/bek-ler-*ig* «князей» 602 С364$_{6073}$. Словоформы старого аккузатива рифмуются также со словами, которые воспринимаются как неразложимые: **čerig** «войско» — er-*ig* «мужа» КВІ 247 А87$_{2328}$/ersig-ler-*ig* «доблестных» 251 В178$_{2371}$; **qamuγ** «все» — qul-*uγ* «раба» 19 С14$_{28}$; **ilig** «князь»— er-*ig* «мужа» 75 С —$_{593}$, 178 В126$_{1613}$; **elig** «рука»— til-*ig* «язык» 169 А61$_{1519}$, 316 С177$_{3075-3076}$; **uluγ** «великий»— qul-*uγ* «раба» 77 В54$_{611}$, 206 В144$_{1884}$/jol-*uγ* «путь» 146 В105$_{1293}$, 201 А71$_{1842}$, 228 В161$_{2115}$, 232 В164$_{2163}$. В этих примерах благодаря словоформам аккузатива создается «рифма разного морфологического образования» [22], при которой звуковое тождество не опирается на формантное тождество рифмующихся членов стиха. В одном случае отмечено даже полное отступление от грамматической рифмы на основе использования в ней аккузатива — словоформа этого последнего рифмуется с самостоятельным словом ig «болезнь», благодаря чему рифма оказалась построенной на игре слов: teŋsiz **ig** «скверная болезнь»— teŋsiz-*ig* «неподобающего» КВІ 183 В129$_{1662}$.

В приведенных выше примерах форматив аккузатива -(i)g и имяобразующий аффикс -(i)g являются омофонами при том, что каждый из них принадлежит принципиально разным сферам — словоизменительной и словообразовательной. Такая омофонность разных морфем литературно обыгрывалась в тюркской поэзии XI в., где уже происходило «звуковое обособление рифмы как самостоятельного средства метрической композиции» [23]. Подобные рифмы разного морфологического образования, естественно, укрепляли позиции аккузатива на -(i)g, прежде всего, в поэтической разновидности письменно-литературного языка. Отказаться от использования аккузатива на -(i)g для поэта XI в. означало бы существенно обеднить и без того не слишком богатые возможности грамматической рифмы.

4.2. Хотя наибольшее число употреблений аккузатива в «Кутадгу билиг» падает на рифму, он мог достаточно широко использоваться и за пределами рифмы. И все же здесь можно усмотреть известное ограничение: дело в том, что большое число употреблений аккузатива за пределами

[22] В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм ..., стр. 11.
[23] Там же.

рифмы падает на своего рода словесные клише [24], из которых чаще всего встречаются следующие: bu bẹjt-*ig* oqy(γyl) КВІ 182 B128$_{1619}$, 188 C83$_{1708}$, 221 C106$_{2011}$, 240 B170$_{2253}$, 240 B170$_{2253}$, 271 C142$_{2578}$, 281 C150$_{2690}$, 349 C203$_{3479}$ (245 B174$_{2306}$, 275 A96$_{2625}$) «прочитай это двустишие», söz-*üg* sözle- КВІ 113 B80$_{962}$, 118 B84$_{1008}$, 209 B147$_{1912,1913}$, C97$_{1916}$ и söz-üg ay-119 C41$_{1012}$ «сказать сло́во», söz-üg bašla- «начать речь» (bayat aty birle sözüg bašladym КВІ 29 B21$_{121}$, 17 B13$_{1}$, 152 B108$_{3313}$, 325 B235$_{3188}$ «именем бога начал я слово»). Вообще одной из наиболее частотных словоформ аккузатива является söz-üg «сло́ва», сочетающаяся, кроме того, с другими глаголами, которые, как и в вышеназванных клише, могут выступать в различных формах: söz-*üg* ač- КВІ 119 A45$_{1018}$ «открыть (начать) речь», söz-*üg* tut- 164 B116$_{1469}$ «держать слово», söz-*üg* kes- 315 B226$_{3067}$, 588 A169$_{5938}$ «оборвать слово (речь)». Параллельно употребляются варианты тех же клише, где вместо аккузатива на -(i)g выступают формы вин. падежа посессивно-именной парадигмы на -n или же основного падежа имен, снабженных посессивными показателями либо не имеющих их. Примеры: söz-*i-n* kesti КВІ 78 B55$_{625}$, 112 B79$_{951}$, 121 C42$_{1034}$, 621 A179$_{6274}$ «он оборвал свою речь» и kestim söz-üm 86 C28$_{698}$ «я оборвал свою речь», kesgil soz-üŋ 612 C371$_{6182}$ «оборви свою речь»; bu söz bašladym 52 B39$_{380}$ «я начал это слово (речь)». Надо сказать, что названные варианты словесных клише гораздо менее частотны, нежели модели с аккузативом -(i)g. Само наличие таких вариантов может свидетельствовать о тенденциях к проникновению форм обиходного языка в словесно-литературные клише и шире — о взаимодействии письменно-литературного языка в его наиболее рафинированной, поэтической разновидности и языка обиходного. Менее стабильным и менее частотным в «Кутадгу билиг» является клише со словоформой аккузатива ölüm-*üg* «смерть»: ölüm-*üg* unyt(ma)-КВІ 144 C58$_{1273}$, 150 B107$_{1323}$, 155 B111$_{1381}$, 243 B172$_{2287}$ «(не) забывать о смерти» (ср. словоформу аккузатива ölüm-üg в сочетании с глаголами uq- 135 B96$_{1177}$, 170 B120$_{1536}$ «разуметь, понимать», kör- 135 B96$_{1178}$ «видеть», saqyn- 131 B94$_{1139}$ «размышлять; остерегаться», tiδ-136 C153$_{1196}$, 137 C53$_{1197}$ «задерживать», jet- 137 C53$_{1203}$ «достигать»). И в этих случаях видна известная связанность, литературность употребления аккузатива в «Кутадгу билиг».

Таким образом, применение филологического приема, нацеленного на изучение рифмы и традиционных формул в поэтическом тексте, позволяет сделать определенные выводы относительно характера употребления аккузатива в «Кутадгу билиг». Становится ясным, что в сохранении аккузатива, неконтрастного по отношению к другим формативам вин. падежа, системно никак не оправданного и не укладывающегося в систему склонения, в языке «Кутадгу билиг» сыграли роль не структурно-генетические факторы, но факторы, связанные с природой письменно-литературного языка и, в частности, с характером исследуемого текста, а именно — с принадлежностью последнего к поэтическому жанру, а соответственно — с требованиями метрики и рифмовки, с одной стороны, а с другой — наличием в письменном языке закрепленных литературной традицией словесных клише, включающих аккузатив -(i)g.

4.3. Наблюдения над напр. падежом на -gar показали, что он представлен только отдельными словоформами местоимений 1, 2 и 3-го лица ед. числа и указательного местоимения bu — muŋ͡gar «к этому». В рифме эти словоформы употребляются весьма редко, чуть ли не единственный пример следующий: orun ol törütti orun joq aŋ͡gar*anyŋsyz orun joq bütün bol muŋ͡gar

[24] Исследование разнообразных «готовых формул поэтического стиля» в языке древнетюркской письменности см.: Э. Р. Тенишев, указ. соч.

КВІ 19 В14$_{19}$ «он создал место, для него [же] нет места * [но и] без него нет места, будь уверен в этом».

Вообще же из четырех словоформ напр. падежа — maŋ͡gar «ко мне», saŋ͡gar «к тебе», aŋ͡gar «к нему» и muŋ͡gar «к этому»— только последняя является довольно частотной. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что эта относительная частота употребления возникла за счет того, что словоформа muŋ͡gar выступает в составе окказионально-устойчивого словосочетания, которое входит компонентом в словесно-литературную стандартизованную формулу. Наиболее часто употребительными являются такие варианты этой формулы (через косую приводятся варьирующиеся дополнения к сказуемому ajdy «сказал»; соответственно через косую же производится документация и перевод варьирующихся примеров; повторяющиеся примеры одного варианта документируются в интервале между косыми через запятую): muŋ͡gar meŋzetü ajdy ša'ṛ bu söz/sözi/sözin/tili/bu bẹjt / türkče mẹsel (в последнем случае из-за размера пропущено подлежащее ša'ṛ) КВІ 104 В73$_{467}$, 110 В77$_{927}$, 128 В91$_{1101}$, 215 А76$_{1971}$ /131 С49$_{1138}$, 207 А73$_{1900}$ / 138 С54$_{1212}$, 159 А58$_{1421}$ / 74 А31$_{586}$ / 197 В138$_{1798}$ «уподобляя этому, поэт сказал такое слово / слово / свое слово / речь / такой стих / тюркскую пословицу». Варьирование формулы может осуществляться также за счет изменения порядка следования членов второй ее части и иной временной характеристики сказуемого (muŋ͡gar meŋzetü sözni ša'ṛ ajur КВІ 223 С107$_{2065}$ «уподобляя этому, поэт говорит слово»), лексемного изменения сказуемого, а иногда и подлежащего (muŋ͡gar meŋzetü sözledi... КВІ 107 В76$_{901}$ «уподобляя этому, сказал», muŋ͡gar meŋzetü sözler öglüg kiši КВІ 99 В69$_{820}$ «уподобляя этому, говорит умный человек»). С названной формулой, безусловно, связана семантически близкая ей следующая формула: muŋ͡gar meŋzetü keldi emdi bu söz / keldi ša'ṛ sözi / keldi türkče mẹsẹl КВІ 84 А34$_{680}$, 95 В66$_{782}$ / 90 В63$_{733}$ / 200 В140$_{1826}$ «при сравнении с этим [на ум] пришло теперь такое слово / пришли стихи поэта / пришла тюркская пословица».

Как можно видеть из приведенных примеров, эти частотные формулы могут варьироваться в разных своих компонентах, но везде остается неизменным сочетание основы глагола meŋze- «быть похожим» с управляемой им словоформой muŋ͡gar.

Таким образом, и другая архаическая форма — напр. падежа на -gar, характеризующаяся очень ограниченным и специфическим лексемным охватом, оказывается обусловленной или по крайней мере поддержанной факторами, относящимися к литературно-письменной традиции.

4.4. Обращаясь к функционированию огузских падежных форм в языке «Кутадгу билиг», можно заметить, что они в своем большинстве— это касается вин. и дат.-напр. падежей — употребляются главным образом в рифме. Пример огузского вин. падежа в рифме: ịlahi küδezgil meniŋ köŋlüm-*i** sevüg savčy birle qopur qopγum-*y* КВІ 22С15$_{17}$ «О боже, сбереги мое сердце * С возлюбленным пророком еще более возвысь меня»; см. также КВІ В135$_{1753}$, 280 С149$_{2671}$ (из отмеченных огузских словоформ вин. падежа практически только две в одном из двустиший употреблены вне рифмы). Пример огузского дат.-напр. падежа в рифме: tilin birdi alqyš kör ögdülmiš-*e**ajur aj bügü beg uzun kič jaša КВІ 634 С378$_{6110}$ «Языком воздал он хвалу, смотри, Огдюльмишу * Говорит: о мудрый бек, долго здравствуй», ajytty qadašlaryn oδγurmyš-*a**esen tip ḫạbẹr birdi ögdülmiš-*e* КВІ 334 С191$_{3302}$ «Он расспросил Озгурмыша о его родственниках* Пожелав здоровья, подал весть Огдюльмишу», etöz can juluqlar meniŋ išim-*e* * du'a arturur bu kečer jašym-*a* КВІ 314 С176$_{3059}$ «Тело и душа [пусть станут] жертвой моему делу * Молитва добавляет [годы?] к этим прожитым моим годам»; см. также КВІ 6 С4$_{26}$, 126 В90$_{1081}$, 198 С89$_{1809}$, 199 А70$_{1815}$, 314

$C176_{3061}$, 320 $B230_{3131}$, 332 $C190_{3281}$, 621 $A179_{6275}$, 623 $A179_{6292}$, 625 $C375_{6305}$, 626 $C376_{6327}$, 627 $C377_{6340}$, 628 $C377_{6315}$.

4.5. Таким образом, филологический прием позволил установить, во-первых, что употребление таких форм, традиционных для текстов древнетюркской, частично и средневековo-тюркской письменности, как аккузатив на -(i)g и огузские падежные формативы, в языке «Кутадгу билиг», связано в первую очередь с принадлежностью исследуемого текста к поэтическому жанру и с требованиями метрики и рифмовки. Во-вторых, на этой же основе удалось выделить ряд словесных клише, традиционных формул, которые присущи поэтическому языку «Кутадгу билиг»,— устойчивыми компонентами таких формул являются словоформы аккузатива или словоформа напр. падежа muñgar. Следует подчеркнуть, что в таких клише выступают именно падежные словоформы архаического слоя и не отмечены словоформы огузского слоя. Исходя из литературности функционирования названных словоформ архаического слоя в словесных клише и устойчивых формулах, а словоформ обоих слоев — в рифме, можно полагать, что огузские и архаические падежные словоформы в языке «Кутадгу билиг», как правило, имели стилистическую маркированность.

Ясно, что литературно обусловленное, но тем не менее довольно частотное использование названных словоформ в рифме и в клише не могло не способствовать в известной мере сохранению тех же словоформ и за пределами рифмы и клише.

5. При опоре на типологию близкородственных письменно-литературных языков была проведена дополнительная проверка полученных результатов. При этом мы исходили из того, что язык тюркской поэзии во все времена остается весьма консервативным, благодаря чему в рядах варьирующихся форм устойчиво сохраняются по традиции и огузские, и архаические формы падежного склонения, глагольного спряжения, послелоги и др. Естественно, что наборы варьирующихся форм исторически изменялись, поскольку, в частности, многие архаические падежные формы, не поддержанные ни одним из живых языков, постепенно были утрачены навсегда. Тем не менее, различные огузские и архаические элементы встречаются, например, и в языке современной узбекской поэзии, хотя, конечно, общенародному узбекскому языку они не свойственны. Для XV — начала XVI в. путем языкового сравнения прозаических и поэтических сочинений Навои и Бабура выяснено, что огузские элементы в падежном склонении были свойственны именно поэтической разновидности письменно-литературного языка; для «нейтрального» прозаического стиля огузские элементы являлись чужеродными.

Пользуясь ретроспективным приемом типологии близкородственных письменно-литературных языков и опираясь на тот факт, что употребление огузских падежных форм в языке тюркской поэзии Средней Азии, как правило, носит характер вкраплений, можно с большей уверенностью квалифицировать огузизмы в системе склонения языка «Кутадгу билиг» как инородные формы, использование которых было обусловлено жанрово-стилистическими причинами, поэтической традицией, подражанием авторитетным образцам, требованиями высокого стиля [25]. Подобная квалификация огузизмов в языке «Кутадгу билиг», как и само выделение их там, может способствовать решению «сложнейшей историко-литературной и лингвистической проблемы», которую А. К. Боровков вслед за В. В. Радловым усматривал в самом наличии огузских элементов в средневековo-тюркском письменно-литературном языке XV в.[26]; в наше время изучение

[25] В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 22.

[26] А. К. Боровков, Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка, сб. «Алишер Навои», М.— Л., 1946, стр. 112.

этой проблемы предлагается вести в аспекте наддиалектной поэтической традиции (Э. Р. Тенишев).

6. Таким образом, продолжающиеся поиски новой методики изучения показаний историко-лингвистических памятников в связи с новыми задачами разработки сравнительно-исторической грамматики привели к синтезу собственно лингвистических приемов с филологическими: это обусловлено также сложностью, многослойностью самого исследуемого материала, с одной стороны, и невозможностью применить к нему прием синхронического сравнения из-за уникальности столь репрезентативного текста XI в.

Практика применения комплексного подхода при рассмотрении языка конкретного поэтического текста позволяет считать системный анализ особенно важным среди других приемов названного подхода. Посредством системного анализа удалось: а) определить базисную систему склонения в языке «Кутадгу билиг» как принадлежащую карлукско-кыпчакскому типу; б) выделить несколько слоев в склонении «Кутадгу билиг» и в том числе таких, обусловленных письменно-литературной традицией, как огузский и архаический; в) на основе выявления неконтрастности и гетерогенности этих двух слоев по отношению к базисной системе склонения, а также ограничений, которые испытывают формативы названных слоев в плане парадигмного и лексемного охвата, установить избыточность, чужеродность и несистемность огузского и архаического слоев по отношению к базисной системе склонения в «Кутадгу билиг».

Самый факт бытования огузских падежных формативов в языке поэмы XI в. как чужеродных говорит о том, что и тогда существовало четкое разграничение типов склонения, во всяком случае имелось вполне явственное противопоставление огузского типа карлукско-кыпчакскому.

С помощью стилистики падежных словоформ, функционально-стилистического и филологического приемов стало возможным объяснить, с какой целью использовались эти чужеродные и избыточные слои, помимо самодостаточной базисной системы склонения, в «Кутадгу билиг», показать литературно-жанровую обусловленность их функционирования в языке этого поэтического текста.

Представляется важным констатировать, что смешанный характер языка поэзии XI в. был обусловлен литературно-жанровыми причинами. Учитывая, что о специально стихотворном чагатайском языке со схожими признаками смешения (архаизмы древнеуйгурского характера и гораздо более значительные огузские элементы, в том числе и в склонении) говорил еще А. Н. Самойлович [27], можно утверждать, что в глубь веков уходила традиция сознательно оснащать тюркский письменно-литературный язык и особенно его поэтическую разновидность большим количеством инородных не только лексических, но и грамматических элементов, тем самым культивируя наддиалектный характер письменно-литературного языка и прежде всего языка поэзии. В свою очередь это позволяет высказаться в поддержку плодотворной идеи о наддиалектном характере языка древних тюркских рунических памятников [28].

В «Кутадгу билиг» имеется указание, проливающее свет на природу этой смешанности: поэма написана buγra ḫan tilinče «на бограханском языке», т. е., пользуясь современной терминологией, на письменно-литературном языке «аристократического типа» [29] но тут же уточняется — türk

[27] А. Н. Самойлович, Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи, «Записки Коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927, стр. 262.

[28] См. об этом: Э. Р. Тенишев, указ. соч.

[29] Там же, стр 170.

luγatinče КВІ 2 $A2_{13}$ — $A3B_{14}$ «тюркскими речениями». Это уточнение можно истолковать как сообщение о том, что обиходный язык XI в. тем или иным способом отражался в литературе. Такое толкование косвенно подтверждается тем, что, на протяжении всей поэмы не раз обращаясь к народной мудрости, автор использует одну и ту же формулу ajdy türkče meṣel КВІ 197 $B138_{1798}$ (см. также 200 $B140_{1826}$) «тюркская пословица гласит». Если принять эту гипотезу, то соположение buγra ḫan tilinče türk luγatinče можно истолковать как свидетельствующее об известных связях между письменно-литературным языком аристократического типа и обиходным языком. Опираясь на предложенную комплексную методику исследования, можно проследить, как производился отбор форм для «бограханского языка», как в словесные клише этого рафинированного языка проникали формы обиходного языка (ср. *söz-üg* kes- и *söz-in* kes-«оборвать свою речь», *söz-üg* bašla- и *söz* bašla- «начать слово/речь»), иными словами — происходило взаимодействие письменно-литературного языка и обиходной речи.

Таким образом, применение комплексной методики к изучению средневековых текстов в более широких масштабах позволит получить проверенный материал как для исторической грамматики, истории литературных языков, так и для сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

КОГОТКОВА Т. С.

К ВОПРОСУ ОБ ОСВОЕНИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ГОВОРАХ

Подъем и успехи русской областной лексикографии последних десятилетий создают благоприятные условия для продолжения наблюдений и постановки исследований, успешно начатых в 30-е годы работами Ф. П. Селищева, Н. М. Каринского, Ф. П. Филина и др., по перестройке лексико-семантических систем современных диалектов под воздействием литературно-нормализованного языка. Лексикографическую базу большинства подготавливаемых словарей составляют те картотечные собрания, которые сформированы на основе фиксации живой диалектной речи, протекающей непосредственно перед наблюдателем. Слово во всех его смысловых и стилевых модификациях попадает таким образом под профессиональный взгляд лексикографа (и лексиколога) не только в момент составления словарных статей, а еще ранее — на этапе его «проговаривания». А это значит, что имеется возможность во всей полноте воссоздать ситуацию и конситуацию: внеязыковую и психологическую, в которых осуществляется семантическая реализация слов.

Современная диалектная речь, как это хорошо известно, в значительной мере трансформирована и нивелирована под влиянием новых, прочно утвердившихся в жизни языковых и социальных условий. Очевидные, лежащие как бы на поверхности наблюдения примеры этого относятся прежде всего к лексико-семантическому уровню, как наиболее обращенного к внеязыковой действительности. Лексические и семантические вхождения в говор массовы, хотя и неоднородны с точки зрения их места в самой системе литературного языка. Ход и направление самих процессов перемещения лексико-семантических единиц из литературного языка в диалекты определяются целым рядом действенных факторов; многие из этих моментов, особенно лингвопсихологические, можно проследить и уловить благодаря уникальности самой исследовательской ситуации, когда лингвист становится свидетелем и участником самого акта речи. «...на наших глазах происходят грандиозные изменения в языке деревни, вызванные социалистической перестройкой сельского хозяйства,— писал Ф. П. Филин в конце 40-х годов.— Было бы преступно, если бы мы, свидетели знаменательных сдвигов в сельской речи, игнорировали все новое (ведущее в системе современных говоров) и записывали бы только частные, локально ограниченные явления. То, что мы можем записать теперь, когда процессы изменений диалектной речи предстают перед наблюдателем в своем обнаженном виде, вряд ли смогут записать грядущие поколения ученых» [1].

Качественное своеобразие внешних условий, от которых обычно зависят лексико-семантические заимствования из одной языковой системы

[1] Ф. П. Филин, Говоры современной деревни и Диалектологический атлас русского языка, «Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка», 6, М.— Л., 1949, стр. 7.

в другую, для русских диалектов нашего времени состоит в том, что в них (во внешних условиях) намного больше общего между городом и деревней, чем это было в прошлом. Изменившиеся условия современной деревни, экстралингвистические и языковые, подготовили восприятие литературной лексики целыми тематическими группами. Эти словарные единицы осваиваются в диалектах не понаслышке и смутным представлениям, а благодаря собственному активному жизненному опыту каждого носителя диалекта. Воспроизведение таких слов в диалектной речи четко связывается с хорошо известными в современной деревне новыми реалиями. Жизненный опыт фиксирует освоение в первую очередь тех семантических сторон входящего в говор слова, которые приближены к носителю диалекта экстралингвистически. По этой причине активные процессы освоения общенародной литературной лексики в диалекте протекают неравномерно на огромной территории распространения русского языка, и в то же время именно в них отражено своеобразие и специфика идиолектного лексико-семантического употребления. Известно, что общим, универсальным условием лексического заимствования, осуществляется ли оно при контактах языков или при диалектно-литературных связях одного и того же языка, является необходимость «быстро восполнить недостающие звенья в лексической системе...» [2]. Чем теснее внеязыковые связи (хозяйственно-экономические, культурно-образовательные, социально-политические, семейные, личные и т. п.), тем, естественно, больше необходимость лексического восполнения. Экстралингвистическая связь и взаимодействие современного города и современной деревни и есть основа того «историко-культурного критерия», обычного и необходимого момента в процессах лексического заимствования [3].

Лексические заимствования при диалектно-литературном контактировании одного языка, так же как и при разноязычных контактах, подвергаются фонетическому и морфологическому переоформлению и различным семантическим смещениям. Вместе с тем подобные контакты отграничиваются от контактов разных языков, в особенности, если эти последние осуществляются между независимыми друг от друга литературными языками. В литературном языке с его опорой на кодифицированную норму и стилевую организованность строже выступает семантико-стилевая дифференцированность заимствуемого слова и его русского аналога, если он наличествует. (При диалектно-литературных связях это тоже есть, но в меньшей мере.)

При диалектно-литературном контактировании заимствование литературной лексики протекает в условиях неравнозначных языковых систем, когда одна система (система диалекта) зависима от другой (системы литературного языка) [4]. Многочисленные факты оценок своей и фрагментов литературной речи у носителей диалектов четко отражают эту зависимость в их языковом сознании. Освоение лексики в этом случае должно сохранять все социально-лингвистические преимущества литературного языка. Поэтому, строго говоря, освоенным до конца слово литературного языка в говоре следовало бы считать лишь тогда, когда оно правильно воспроизводится в говоре не только по форме и содержанию, но и сохраняет языковые отношения литературного языка. Надо признаться, что этому правилу по причинам объективного характера подчиняются лишь от-

---

[2] Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка в 30—90-е годы XIX века, М.— Л., 1965, стр. 59.

[3] См.: Ю. В. Откупщиков, Лексические заимствования в условиях двуязычия, «Р. яз. в нац. шк.», 1973, 3, стр. 15.

[4] См.: Л. И. Баранникова, Русские народные говоры в советский период, Саратов], 1967, стр. 47.

дельные семантические микрогруппы литературного словаря, поступающие в говор (например, слова, обозначающие измерения: *метр*, *литр*, *килограмм* и т. п.). В большинстве же случаев диалектная система навязывает вновь появляющемуся в ней слову свои структурно-языковые признаки (деривационные или фразеологические), поэтому еще преждевременно говорить о полном освоении говором литературного слова, хотя попутно следует заметить, что в огромном количестве примеров трансформация входящего в говор слова, подчинение закономерностям принимающей, диалектной системы не создает коммуникативной ущербности, не мешает общению носителей диалекта между собой (ср. *в радиве играют* «поют по радио», *ехать по метру* «ехать в метро», включение несклоняемых существительных в парадигму склонения и мн. др.). В соотнесении входящего в говор литературного слова с узуально-нормативными представлениями системы литературного языка и заключен залог единообразия слова, одного из основных условий освоенности всякого слова, идущего из одной языковой системы в другую. А так как диалектная речь с отсутствием в ней кодифицированных норм постоянно стимулирует варьирование языковых средств и это ее свойство распространяется и на вновь появляющиеся слова из литературного языка, то единообразие и должно стать тем критерием, который способен объединить локальные речевые варианты. В столкновении двух систем, в их диалектическом противоречии состоит специфика современного этапа развития диалектов. Можно привести наглядные примеры, как литературное слово, входя в диалектную речь, надолго закрепляется в ней в трансформированном варианте; выход же данного варианта в широкие разговорные сферы свидетельствует об отсутствии каких бы то ни было ареальных ограничений (ср., например, *пéнсия* → → *пéнзия*, *пéньзия*[5]). В этом случае происходит подчинение литературного слова диалектной системе. Если бы столь устойчивые отклонения в форме заимствуемого слова по сравнению с его обликом в литературном языке (дающей системе), достаточно единообразное на продолжительном отрезке времени, имело место при межъязыковых контактах, то его можно было бы воспринимать как освоенное принимающей системой. В истории конкретных иноязычных лексических заимствований из разных языков можно найти немало примеров, как единообразная форма слова, созданная средствами принимающей системы, так и закрепляется в языке «*авиет-к(а)*, *танкет-к(а)*, (франц. *aviette*, *tankette*)... *пик-ирова-ть* (франц. *piquer*...), *пилот-ирова-ть* (франц. *piloter*...), *рентабель-н-ый* (нем. *rentabel*), *тотальн-ый* (франц. *total*...) и т. п.»[6]. При диалектно-литературном контактировании такой квалификации сделать нельзя. Трансформированные в диалекте по форме, иногда так называемые «ложные диалектизмы» в первую очередь благодаря их устойчивости и противопоставленности литературно-кодифицированной норме (типа *пéньзия* — *пéнзия*) аккумулируются по преимуществу в архаическом типе речи и всегда подвергаются коррекции в самой среде носителей диалекта. В речи младшей или средней возрастной группы говора уже возможна литературная форма слова (*пенсия*). Поэтому единая диалектная картина словоупотребления уже нарушена под влиянием социально-возрастной дифференциации диалектного коллек-

---

[5] Фиксируется уже Н. М. Каринским в ваниловском диалекте в 1936 г.— *десять рублей мне пензии платят* (Н. М. Каринский, Очерки языка русских крестьян, М.— Л., 1936, стр. 137). Два диалектных варианта *пензия* и *пенса* отмечаются в среднеобских говорах (В. В. Палагина, Словарь некоторых иноязычных слов в говорах средней части бассейна р. Оби, «Уч. зап. Томск, гос. ун-та», 57 — Вопросы языкознания и сибирской диалектологии, выпуск первый, 1966, стр. 38).

[6] Л. П. Крысин, Иноязычные слова в современном русском языке, М., 1968, стр. 44.

тива. Таким образом, налицо языковая динамика, конечная цель которой — норма литературного языка. Господство «ложного диалектизма», пусть продолжительное и повсеместное, это э т а п в освоении слова, этап проходящий, продолжительность которого варьируется и по местностям, и в зависимости от осваиваемой лексики, и от реализованного воздействия литературного языка (из 17 зарегистрированных в Деулинском словаре словоупотреблений слова *пенсия* — 13 в варианте *пе́ньзил* — в архаическом типе речи, и 4 — *пе́нсия* в речи лиц среднего поколения [7]).

Освоение новых слов при диалектно-литературном контактировании неотделимо от психологического механизма речи вообще. «Речь... обеспечивается актуализацией трех психических предпосылок — знаний, умений и навыков. Все эти механизмы являются приобретенными» [8] и благодаря обучению становятся устойчивыми. Так как эти три психических механизма речи, выработанные в условиях одной языковой системы (системы литературного языка) переносятся при диалектно-литературных контактах в другую (в систему диалекта), то неизбежны смещения данных критериев, а следовательно и трансформация языковых средств (на этом психолингвистическом механизме основана интерференция). Недостаточная реализация психолингвистического механизма в речи современного носителя диалекта при освоении слов литературного языка естественно проявляется в разнообразных и многочисленных нарушениях норм и правил литературного словоупотребления. Внимание наблюдателя диалекта невольно приковывают факты, когда эти три психических фактора (знание, умение и навыки) сбиты, спутаны в конкретном речевом акте. Это и случаи, когда говорящий на диалекте знает предмет (предмет своего высказывания), но не знает, как его назвать, или плохо знает предмет своего высказывания, имеет о нем лишь самые общие приблизительные представления, поэтому нет умения и навыков его назвать. В поиске нужного слова обычна субституция лексем из разряда тематически близких слов. Таков пример, демонстрирующий сам момент появления лексической подстановки, зафиксированный нами в говоре д. Мякурье Архангельской обл. (1971): [пожилая колхозница, рассказывая о строительстве дома, пыталась назвать новый в их местности вид кровли] — *Кры́шу* [когда кроют] ну́-ко как? *Ж е л е́ з о как называ́ют*? [подсказка наблюдателя: *Шифер*?] *Шы́фёр*! Нарушены психологические условия течения речи (нет твердого представления о самом предмете, а также еще не выработаны устойчивые навыки наименования).

Исходным моментом подобных речевых (не языковых) реализаций является знание о предмете; пусть неточное, неполное, но все-таки «осмысление» предмета предшествует, опережает его словесное выражение. Видоизменение же формы литературной лексики и фразеологии при ее вхождении в диалект как раз и позволяет наблюдающему эти процессы лингвисту обнаружить плохое (неточное) знание о предмете высказывания. Таково, к примеру, использование медицинского термина «кровяное давление». В архангельском говоре: *Пошто́ не пуска́ли в ба́ню*? — *Повыша́ец у нево*... (слово «давление» так и не было произнесено); в Деулине: *У мине́ давле́ния не́ту краве́й, у миня́ нарма́льныи кравя́* (т. е. нет повышенного кровяного давления).

---

[7] Цифровые данные здесь и ниже взяты нами из специальной картотеки литературных заимствований, составленной нами при подготовке монографии «Русская диалектная лексикология, ее состояние и перспективы». Картотека литературных заимствований представляет собой сплошную расписку иллюстративного материала всего текста Деулинского словаря.

[8] Е. М. В е р е щ а г и н, Психолингвистическая проблематика теории языковых контактов, ВЯ, 1967, 6, стр. 126.

Ведущая роль знания о предмете (реалии), т. е. примат смысла над формой в слове, настолько существенна в психолингвистическом акте освоения литературной лексики в говорах, что оно способствует сохранению тождества слова, несмотря на многочисленные и разнообразные трансформации при этом его звуковой оболочки. Чем же иначе объяснить устойчивое (типологическое и нетипологическое) бытование искаженных вариантов литературных слов в диалектах, как не их лексико-семантической общностью, одной из непременных сторон тождества слова [9]? И когда исследователи констатируют факт освоенности литературной лексики в современном говоре, то они имеют в виду прежде всего содержательное наполнение ее, хотя по форме она нередко видоизменена и приобрела яркую диалектную окраску [10].

Предпосылки для фонетических и морфологических трансформаций литературных слов заложены в достаточной устойчивости диалектной языковой системы, а семантические и фразеологические — в специфике внеязыковых условий, в соприкосновении с которыми новое слово получает иные метафорические и метонимические смещения. В богатстве и многообразии лингвопсихологических ассоциаций, особенно ярко проявляющихся в оценке носителей диалекта лексико-семантического состава литературного языка, снова выражается отличие диалектно-литературных контактов от контактов межъязыковых. Здесь вновь становится очевидной аксиома, что всякий диалект есть лишь частная реализация общеязыковой системы. Знакомство с экспериментом В. П. Тимофеева по изучению индивидуального запаса слов носителя диалекта (родной матери исследователя) обнаруживает, что при прямом опросе (выспрашиванию подвергся словник «Словаря русского языка» С. И. Ожегова — 52 892 слова) амплитуда психологической ассоциативности достаточно широка [11]. Это ассоциации, при которых диалектные и литературные словоупотребления — полные аналоги (*бока у коровы втянулись* — ДСЛ, *щеки после болезни втянулись* — Ожегов), морфолого-словообразовательные ассоциации, основанные на единстве языковой структуры говора и общенародного языка — *виночерпий*, *виноторговец* («один вино черпает, другой продает»), понятийно-идеографические ассоциации (*алюминий* — «железо», *анатомия*, *грамматика* — «ребята в школе учат») и др. [12].

Лингвопсихологический механизм речи способствует не только формальным трансформациям литературного слова при его вхождении в говор, но и смысловым. Он неотделим от условий некодифицированной устной речи. В соединении с внеязыковой спецификой каждой местности новые ассоциации исключительно благоприятствуют семантическому развитию слова, появлению в нем новых потенциальных значений. Смысловые сдвиги, охватывают ли они давние, традиционные значения слов, или, напротив, сравнительно новые, всякий раз направлены на реализацию основного в слове — его номинативной функции. Вновь образованные в этих случаях номинации в говоре восполняют либо отсутствие однословного эквива-

---

[9] См.: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

[10] Такие сведения, например, содержатся в статье А. Н. Соколовой «Изменение территориального диалекта под влиянием социальных факторов» («Уч. зап. Шадринск. пед. ин-та», 146 — Очерки по социолингвистике, 1971), где приводятся десять тематических групп иноязычных слов — общественно-политические термины, термины, связанные с различными науками, техникой и производством, а также с культурой, искусством, спортом, и абстрактные наименования.

[11] См.: В. П. Тимофеев, Диалектный словарь личности, Шадринск, 1971, стр. 15, 17 (ДСЛ).

[12] См. подробнее об этом в нашей статье «Заметки об изучении лексики в индивидуальной речи диалектоносителя», сб. «Русские говоры», М., 1975.

лента в литературном языке (ср., например, обозначение словом *машина* «автомата для газированной воды»), либо незнание со стороны носителя диалекта нужного литературного слова (сюда же примыкает и отсутствие навыков в обращении с ним). Различные причины, таким образом, порождают равные семантические следствия — семантические трансформации литературных слов, с которыми и имеет дело исследователь.

Известно, что слово *машина* в народно-разговорной речи бытует давно, обозна́чая разного рода механизмы, связанные прежде всего с сельскохозяйственными и домашними работами (жатка, молотилка, сеялка, веялка, ткацкий станок, швейная машина и т. п.). Технизация и механизация сельскохозяйственного производства, близость и смежность к нему многих других технически оснащенных работ, проводимых в сельских условиях в наши дни (добыча и обработка леса, мелиорация, разведка недр, разного рода строительные площадки, прокладка железных дорог и т. п.) поставили жителей современной деревни перед необходимостью в короткий срок освоить массу новых слов, связанных с последними нововведениями этого рода.

По данным картотеки полного диалектного словаря говора д. Акчим Пермской обл., исчерпывающего собрания слов одного говора в современном состоянии, можно видеть, какова денотативная соотнесенность слова *машина* с разными современными механизмами. *Машина* — это не только «автомобиль» (грузовой или легковой), но и другие самые различные современные механизмы: трактор, движок, швейная машина, сепаратор, заводская машина, геологоразведочная машина, пожарная машина, аппарат для газированной воды, стиральная машина, телевизор, экскаватор, горнодобывающая машина, жатка, машина для уборки клевера, сварочная машина и даже детская игрушка [13].

В литературном языке для обозначения этих механизмов есть или однословные номинативные единицы (*движок*, *экскаватор*, *трактор*), или устойчивые словосочетания (*швейная машина*, *стиральная машина*). Обилие современных механизмов, наименование которых в сравнительно короткий срок осваивается в говоре, предполагает вхождение значительного количества слов-освоений. Так как «порция» таких номинативных вхождений велика, то психолингвистический механизм восприятия (знание, умение, навык) не справляется с освоением новых слов в их нормативно-кодифицированном облике. Для реализации коммуникативных потребностей языковой механизм носителя диалекта приспосабливается в этом случае, используя близкие по значению слова. Так появляются в говоре контексты, не сходные с нормативно-кодифицированным употреблением литературного языка. Ср. употребление в псковских говорах слова *машина* для наименования «самолета-бомбардировщика» (*прилятéли зажигáтельные машúны*), «электробритвы» (*пратрú машúну-та*, *барадá набúлась*). Объединяющий стержень здесь — инвариантный семантический признак «механизм», который есть и в самом слове машина, и в наименованиях других механизмов, в которых содержится указанная инвариантность.

Многозначное слово общенародного литературного языка при переходе в диалекты редко осваивается равномерно во всей совокупности его словоупотреблений. Это естественно и понятно. Воспринимающая система диалекта осваивает в слове те значения и оттенки значений, которые актуальны для нее и прежде всего со стороны внелингвистической. Наблюдаемое при этом обычно синтагматическое расхождение обнаруживает

[13] Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность руководителю Акчимского словаря Ф. Л. Скишовой за представленную возможность ознакомиться с материалами картотеки.

всю языковую сложность приспособления вновь поступающего в говор слова к исконной системе говора. Актуализация каких-то сторон действительности, различная в различные исторические периоды, закрепляет на продолжительное время в качестве самостоятельных некоторые семемы-*машина* «поезд»; это же значение было и в литературном языке (*машинист*) [14]. Теперь же повсеместно *машина* — «автомобиль» и особенно «грузовой автомобиль».

В нашей специальной (по-своему экспериментальной) картотеке *машина* «автомобиль» — самая представленная лексема из слов-освоений в деулинском диалекте; на сто зафиксированных словоупотреблений лексемы *машина* в 96 случаях это «автомобиль». *Машина* «грузовой автомобиль» в диалектных лексических системах приобретает широкие синтагматические связи, объединяющие глаголы различных семантических классов (движения, перемещения, приобщения объекта, состояния, экзостенциальные и т. п.), выражаемые как лексемами общенародного, так и локально ограниченного распространения: *машины идут* — *машина летит* «быстро едет», *машина сéла* — *машина пострягла*, *с машины слезть*, *машина ухадилась* «утонула» и т. п. В говорах же благодаря метонимии «автомобильная» семантика отмечается и в однокоренных образованиях. Ср. характеристику вновь сделанной дороги: *дарóга бóйная* (т. е. торная), *харóшая*, *машы́нная* (т. е. «такая, по какой могут идти автомобили») (деул.).

В активных процессах освоения литературных слов в диалектах существенную роль играет оформленность слова. Все слова, вбираемые лексико-семантическими системами говоров из общенародного литературного языка, по признаку оформленности делятся на две большие группы. Группа дифференцирующейся лексики с исконными лексическими единицами говора — лексемная группа и группа равнооформленной лексики, различающаяся лишь семантически,— семемная группа. Первую группу составляют слова типа *колхоз*, *радио*, *дуст*, *штапель* и т. п., т. е. слова, которым нет однозвучащих соответствий в говоре, а вторую — слова, различающиеся лишь семантикой при одинаковости оформления: *вода* «бессодержательная речь, пустословие» [15].

Современный говор осваивает обе группы слов, лексемную и семемную, но очевидность такого освоения для наблюдателя неодинакова. Языковое сознание всегда более восприимчиво и поэтому способно выделить такие единицы языка, которые по-иному оформлены по сравнению со своими собственными. Момент отграничения чужого (литературного) от своего (диалектного) в говоре по существу тот же самый, что и в литературном языке, когда оцениваются диалектные фрагменты языка. Неодинаково оформленный языковой факт по сравнению с собственным — есть основа всяческих оценок. Лексемная группа освоений всегда вступает в говоре в сравнение со своими собственными; именно по отношению к ней применяются излюбленные конструкции «по-вашему — по-нашему», «по-культурному — по-деревенски» и т. д. и т. п. Роль контрастности форм входящего в говор слова по отношению к своему диалектному аналогу весьма существенна в перестройке лексического состава современного говора. И. А. Оссовецкий полагает, что в дублетных парах *паскáль* — *эпидéмия* и *комáр* — *комáрь* контрастные единицы типа *паскаль* менее

---

[14] См. указание на это в «Словаре синонимов русского языка» З. А. Александровой (М., 1968), поместившей оба слова *поезд* — *машина* в одном синонимическом ряду.

[15] См.: Г. Г. Мельниченко, Характеристика словарного состава местного говора по степени употребительности слов, «Доклады на научных конференциях. 1962. Ярослав. гос. пед. ин-т», I, 2, Ярославль, 1962, стр. 249.

устойчивы в говорах, чем единицы типа *кома́рь* [16]. По-видимому, это действительно так.

Обе группы лексических вхождений в говор рассматриваются в диалектологических работах обычно совместно, ибо исходным моментом их адаптации является связь с внеязыковой действительностью. Это бесспорно так. Однако, как осваивается новая семантика, как она взаимодействует с уже имеющимися в слове исконно диалектными значениями — об этом говорится меньше; меньше учитываются разные виды возможных семантических взаимоотношений в слове, хотя общая оценка перестройки смысловой структуры слова диалекта дана И. А. Оссовецким достаточно объективно и справедливо: это процесс длительный, значительно более медленный, «чем ...замена слова говора целиком каким-либо соответственным словом литературного языка» [17]. И. А. Оссовецкий, характеризуя процессы взаимодействия диалектной и литературной семантики в одном и том же слове, рассматривает это с двух сторон — с одной стороны, как вытесняется диалектная семантика и, с другой стороны, как взаимодействует, если вытеснения не получается. Чем дифференциальнее по отношению к литературному языку типичные контексты диалектной семемы, тем, по мнению И. А. Оссовецкого, вероятнее выпадение их из диалектной речи (*седой сатин*, *седое платье*), и наоборот, чем контексты менее различительны, тем менее вероятно выпадение этих семем из диалектной речи (*кушать*). Это с одной стороны, с другой же — если вытеснение контрастно-дифференцирующейся семантики не происходит, то наступает тесное семемное взаимодействие, в итоге чего наблюдается «наложение семантики». Наложению семантики способствует наличие общего семантического фона у многих слов говоров и литературного языка. Этот общий семантический фон (инвариантные значения) в разных словарных группах и отдельных словах выражается неодинаково. Как именно — это всякий раз требует специального исследования.

При движении литературных семем в диалект инвариантная общность играет важную роль для восприятия литературного значения, но эта роль двойственна. С одной стороны, общность исходного смысла слова, общность корневой морфемы облегчает контактирование лиц, речь которых восходит к разным системам литературного языка и диалекта, тем более, что при всяком устном общении, сопровождаемом многообразными паралингвистическими средствами, не обязательна точность применения входящих в высказывание слов. Объединяющая говорящих осведомленность в ситуации и конситуации дает возможность обойтись нередко лишь намеком на смысл слова. С другой стороны, достигнутое таким образом взаимопонимание, в основе которого лежит восприятие нередко «приблизительного» смысла, оставляет в тени, незамеченными ряд семантических нюансов, существенных в литературном языке. Это в значительной мере присуще осмыслению однокоренных образований литературного языка, если последние попадают в говор. Здесь они воспринимаются и воспроизводятся в речи в привычных языковых ассоциациях. Так, литературно-книжные словосочетания *согласованные / несогласованные действия*, семантические производные от группы *согласованный — согласованность* противопол. *несогласованный — несогласованность*, в языковом сознании деулинского информанта ассоциируются со словом *согласие* «взаимная дружба; мирные дружественные взаимоотношения» [18]. Подобных примеров

[16] См.: И. А. Оссовецкий, Народные говоры. Лексика, в кн.: «Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры», М., 1968, стр. 159.

[17] Там же, стр. 170—171.

[18] Подробнее о речевой ситуации появления в говоре словосочетания *согласованные действия* см. нашу статью «Некоторые наблюдения над лексикой современного говора (на материале русского языка)» (сб. Язык и общество», М., 1968), стр. 197.

можно привести много. Языковой барьер такого рода при диалектно-литературном контактировании нельзя недооценивать. Именно он является серьезной преградой на пути подлинного освоения литературного словоупотребления в диалектах [19].

Семемное несовпадение однозвучащих слов говора и литературного языка велико и многообразно. Это основной массив расхождений в семантическом фонде говоров и литературного языка, расхождений, исторически закономерных, внелингвистически оправданных. (Группа семантических диалектизмов — а речь идет именно о ней,— по всеобщему мнению исследователей, доминирует и превалирует над другими группами диалектных слов в говоре.) В ряде случаев традиционно-диалектные значения настолько устойчивы в говорах, что их не могут поколебать весьма актуальные и распространенные семемы общелитературного словоупотребления. Показательной в этом отношении является семантическая эволюция глаголов *воспитывать — воспитать* (а также их однокоренных образований). Как показало исследование П. И. Павленко, перераспределение смыслового комплекса в глаголе *воспитывать — воспитать* осуществилось на протяжении XIX в.[20]. Словарь В. Даля, хронологически самый удобный для того, чтобы показать ход этой семантической перестройки (середина XIX в.), в своем толковании глагола *воспи́тывать — воспита́ть* как раз и подчеркивает эту динамику: «в низшем значении вскармливать, кормить и одевать до возраста»; «в высшем значении научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно». В современном языке четко проходит смысловая грань между говорами и литературным словоупотреблением. В говорах до сих пор сохраняются благодаря исключительной определенности смыслового наполнения группы «низшего» (по В. Далю) семантического комплекса, т. е. «кормить, питать, выкармливать». Ср. деулинское: [старуха о себе:] *де́йка* [ее дочь] *вы́йдить* [замуж], *хто миня воспи́тывать будить*?; или [одна говорит о другой:] *рассказа́ла, как васпи́тывала* [больного] *му́жа сваво́, карьми́ла ис читыре́х блют.*

Стабильные и продуктивные в литературном языке семемы глагола *воспитывать — воспитать* связаны, как было замечено выше, с воспитанием в духовно-нравственном и политическом отношении. Эта обобщенная семантика уточняется, конкретизируется в таких устойчивых глагольных управлениях, как *воспитывать кем-каким* (ленинцем, прилежным, преданным, усердным, патриотом и т. п.), *воспитывать в чем* (в правилах, в почтении, в доверии и т. п.), *воспитанный на ком, чем-либо* (воспитанный на классической литературе) и особенно однокоренное *воспитанный* «получивший хорошее воспитание». Однако эта актуальная как для города, так и для деревни семантика прививается в диалектной речи с большим трудом, несмотря на массовые тексты и контексты литературного языка, поступающие через школу, радио, телевидение и т. п. Литературный

---

[19] Расхождение в семантике у слов одного и того же гнезда — повод для появления каламбуров в произведениях художественной литературы, и особенно тогда, когда хотят подчеркнуть плохое знание кем-либо русского языка. Ср. у А. П. Чехова в «Ионыче»: «Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость».

[20] Образования на *воз-* считаются книжными и в литературном языке сопрягаются с высоким стилем (по происхождению из церковнославянского языка). Но в работе над пятым выпуском СРНГ был открыт сплошной массив лексики с приставкой *воз-/вос-* (300 слов). Компактно-алфавитный материал, помимо лексикографического описания, был подвергнут специальному семантико-стилистическому исследованию П. И. Павленко [см.: П. И. Павленко, Слова с приставкой *воз-* в русских народных говорах (в сопоставлении с литературным языком). АКД, Л., 1973].

смысловой комплекс глагола *воспитывать — воспитать* пока еще в пассиве диалектного словоупотребления, если иметь в виду средние и старшие возрастные группы. Таковы результаты наших специальных наблюдений над этим словом по деулинскому говору.

Вместе с тем по сведениям пятого выпуска СРНГ семантика «кормить, питать, вскармливать, выкармливать» у глагола *воспитывать — воспитать* и однокоренных охватывает широкий ареал: арх., олон., костром., перм., ленингр., новгород., волог., свердл., кемер, смол., рязан., тульск. и др. говоры. Фиксация его датируется как в XIX в., так и в современных материалах. Богатство однокоренных образований, начиная от *воспитание* с диалектным осмыслением «питание», подчеркивает и углубляет именно эту семантику: *воспитальник* «ребенок, взятый на воспитание»; *воспитáльница* (жен. к *воспитáльник*), *воспитáтельник*, *воспитóмец*, *воспитóмка* и др. Устойчивость и стабильность данной семемы в диалектной речи, по-видимому, связывается с внутренним строением слова (*воспитание*), корневая морфема — *питание* прямо направляет языковое сознание носителя диалекта к рассматриваемому лексическому значению. В семеме литературной эти ассоциации отсутствуют. Сами же психологические основы речи с ее свойством возврата к первичным формам языкового выражения под воздействием возрастного фактора способствуют консервации изначальной семантики.

Малоизученное, но в то же время регулярное и действенное лингвопсихологическое явление возврата с возрастом к первичным языковым средствам (Ф. Л. Скитова называет его «регрессом в эволюции речевой практики поколения» [21]) в говорах сдерживает наступление на них литературного языка.

В нашей картотеке (возврата к материнской основе речи), которую мы собираем почти двадцать лет, наблюдая речь пожилой учительницы, уроженки г. Пронска Рязанской обл.[22], зафиксированы редкие и нетипичные для нее контексты использования диалектной семемы глагола *воспитывать — воспитываться*. Приведем эти примеры полностью. Рассуждения о воспитании детей в старое время (текст неспровоцированный): — *А я фсе дума о, как раньше васпитывали детей. Как люди питались. Горсть луку нарвёт Гардевна, квасу вазьмет, накрошит.* [— *И детей квасом васпитывали*?] — *Канéшно, и дишéвли и здыравее. Так питались.* Дальнейшее метонимическое расширение этой семантики в глаголе *воспитывать* (запись все той же беседы) не отключает его от «детской» темы, хотя и показывает применение с новой стороны: *Надежда* [когда была младенцем] *в люлечке васпитывалась, а ты нет. В Рязани радилась, а ента в Пронски* (речь і дет о ее дочерях).

Объективная интерпретация литературной принадлежности значения слова в говоре должна опираться на выявление всей сложности системных взаимоотношений слова — деривационных, синонимических, антонимических, сочетаемостных. В основе же методики описания лексико-семантических групп должен быть целенаправленно собранный материал. Пока делаются первые шаги по изучению полисемии и синонимии слова как единого семантического комплекса. Общие выводы исследований подчеркивают исключительную смысловую подвижность нетерминологиче-

---

[21] Ф. П. Скитова, Явление регресса в эволюции речевой практики поколения, «Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию», ч. II, Самарканд, 1966.

[22] Часть материала из этой картотеки приведена в нашей статье «Литературный язык и диалекты» (сб. «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970), стр. 140 и сл.

ской лексики диалектов, сложные и не всегда легко вычленимые переходы в семантике между диалектным и литературным словоупотреблением [23].

Сопоставительные наблюдения с целью выявления вновь появляющейся в говоре семантики показали в то же время, что в целом ряде идеографических сфер затруднительна четкая сегментация самих понятий (и признаков) действительности. Весьма показательной в этом отношении является лексико-семантическая группа, связанная с обозначением психических, духовно-нравственных и интеллектуальных свойств человека. Не основано ли, к примеру, смысловое расхождение прилагательного *спеси́вый* в деулинском говоре «стеснительный, боящийся подойти к людям» (*хто вот бай́цъ так вот разгава́ривать с кем ни с ке́м, с людьми́, ска́жуть: — Ана́ кака́я-та спяси́вая, к людя́м ни патхо́дить; спяси́вая кака́я, ни сади́цца*! [за стол], *стясни́тельная*) и литературного *спесивый* «с большой спесью, чванливый, высокомерный» на зыбкости внеязыковой грани, на отнесенности к такой экстралингвистической ситуации, когда причина душевных движений и побуждений личности сложна для определения вообще. При этом надо иметь в виду, что данный пласт лексики несоизмеримо богаче, семантически точнее и гибче, а фразеологически разнообразнее именно в литературном языке, чем в говорах. Это преимущество, по-видимому, связано с большим влиянием языка художественной литературы, где сфера эмоций личности, интеллектуально-психических состояний, их нюансов и оттенков является едва ли не главным объектом изображения. Здесь эта лексика шлифуется, семантически уточняется, функционально-стилистически дифференцируется [24]. В разговорной речи диалекта подобных лингвистических условий нет: поэтому данный лексический слой группируется вокруг обозначения более определенных, броских свойств человеческого характера, ума и психики [25].

Характер семантических процессов при освоении говором литературных значений в равнооформленных словах разнообразен, сложен и противоречив. В этих процессах не исключается наложение семантики, о чем пишет И. А. Оссовецкий, но это добавление смысла не всегда идет автоматически, и не все группы диалектной лексики, как мы пытались показать это на фактическом материале, в равной мере воспринимают и адаптируют литературные семемы.

Квалификация семантических расхождений с точки зрения времени их появления в говоре, если за появляющимися значениями нет четко выраженной предметно-понятийной связи (*машина* «автомашина», *работа — работать* «работать где-либо, получая за это зарплату; состоять на службе»), сложна. Всегда есть опасность принять за семантическое новообразование смысловой реликт прошлого, тем более, что условия устной речи, в которых диалектное слово бытует, порождает широкое семантическое варьирование. Нельзя исключать и той возможности, что новое семантическое образование в говоре совпадает по своему результату с былым, ушедшим из языка осмыслением слова. Как, например, квалифицировать значение «желание, сильное стремление к чему-либо», у слова *аппети́т* в таких контекстах: *апяти́т у меня был вяза́ть, а вышыва́ть ня люблю́* или *у е́й-та нет апети́ту за́муш итти́* (ПОС, вып. I) — как семантическое

---

[23] См., например, работы: В. Л. Козлова, Анализ лексико-семантической группы в говоре. (К вопросу о многозначности и синонимии). АКД, М., 1971; Л. Г. Самотик, Лексико-семантическая система русского старожильческого говора Тасеевского района Красноярского края (на материале двух лексико-семантических групп). АКД, Красноярск, 1974.

[24] См., например: «Поэтическая фразеология Пушкина», М., 1969.

[25] См.: И. Н. Чусова, Лексика, связанная с обозначением особенностей, склонностей человека и действий, в которых они проявляются. АКД, М., 1969.

новшество или консервация старого осмысления [26]? Каждый отдельный факт такого рода требует специального и кропотливого исследования, но надо признать, что не всегда такой поиск обеспечивается фактическими сведениями.

Семантические адаптации литературной лексики в современных говорах лишь часть общих процессов преобразования лексико-семантических систем диалектов: они длительны по времени и внутренне противоречивы по содержанию. Таково естественное следствие столкновения двух автономных систем — системы литературного языка и системы диалекта.

С большим преимуществом адаптируются в говорах предметно тематические объединения слов. С новыми реалиями и понятиями осуществляется прямой перенос слов литературного языка в диалекты (*колхоз*, *метр*, *аванс*, *соревнование*, *нормы выработки*, *учет*, *контроль*, *симулировать*, *автобус*, *телевизор*, *пенсия* и т. п.). Влияние диалектных систем в процессе их освоения ограничивается по преимуществу планом выражения (изменение фономорфологического облика слова, сочетаемостных связей) и не затрагивает смысловой стороны. По этой причине данную группу слов принято считать полностью освоенной в говоре. Слова, стабильно объединяемые в лексико-семантические группы в системе литературного языка, имеющие там развитые лексические парадигмы и фразеологические связи, идут в говор не лексемно изолированно, а с этими же семантико-сочетаемостными отношениями. Освоение этих отношений литературного языка — один из сложнейших моментов в перестройке лексико-семантических систем диалекта над воздействием литературного языка.

Адаптация полисемантической литературной лексики сложного и емкого смыслового наполнения начинается с семантического расщепления слова, в диалекте актуализируются те значения и их оттенки, которые приближены носителю говора с внеязыковой стороны. В этом случае возможно возникновение устойчивых семантических новообразований (*нервы* «нервное расстройство»; *атом* «атомный взрыв; атомная бомба»). (Подробно, на большом материале, факты этого рода рассматриваются нами в указанной выше монографии.)

Отличительной особенностью указанных выше семантических вариантов является их интердиалектное распространение вплоть до слияния с разговорными сферами общенародного языка. Влияние многочисленных диалектных микросистем, подчинение их закономерностям в этом случае также затрагивает не смысловую сторону, а формальную (*в нервах* «будучи в нервном расстройстве»). Нивелирующие тенденции, проявляющиеся в спонтанном возникновении тождественных семантических образований в говорах разных ареалов, сдерживаются и тормозятся появлением новых диалектно-языковых единиц. В соединении этих двух сторон процессов лексико-семантических адаптаций в говорах и заключено противоречие современного момента.

---

[26] В. В. Виноградов в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (М., 1938, стр. 159) приводит выдержки из словарика в журнале М. Чулкова «И то и сио» (1769, неделя 26 и 27), где слово *аппетит* определено как «побуждение, желание, хотение».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

РЕФЕРОВСКАЯ Е. А.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГЮСТАВА ГИЙОМА

Центральными проблемами лингвистической теории Г. Гийома, одного из крупнейших филологов современной Франции, являются отношение языка и мышления и отношение языка и речи. Как известно, согласно марксистско-ленинской теории познания, мышление неразрывно и необходимо связано с языком, который возникает на его основе и служит его выражению в речи. Но мышление и язык не образуют тождества, хотя и существуют в неразрывном единстве. Отношение языка к мышлению и к речи — основные и наиболее сложные вопросы теории языкознания.

Г. Гийом делает попытку проникнуть в глубину этих отношений, представить себе, как именно осуществляется постоянная связь мысли с языком и как язык служит через речь выражению мысли. Его теория изложена в трех монографиях, в статьях и сборниках лекций, читанных им в 1948—1949 гг. в «École des Hautes Études» в Париже.

По образованию Гийом — математик. По лингвистическим воззрениям — последователь Соссюра и непосредственный ученик Мейе. Он умер в 1960 г. Его работы стали пользоваться особой популярностью лишь после его смерти. П. Гиро считает, что Гийом «родился раньше времени» [1] и что современная ему лингвистика не была готова к принятию его идей. Сейчас число его последователей быстро растет. У него появляются сторонники не только во Франции, но и в Англии, Швейцарии, Болгарии, Румынии, Дании, Бельгии, Канаде. Его теорией начали интересоваться у нас, в Советском Союзе. В основном это романисты, германисты, англисты, печатающие свои статьи на страницах многочисленных журналов. В 1950—1970 гг. вышел в свет ряд монографических исследований последователей Гийома, стоящих на позициях его теории и развивающих ее [2].

Исходное положение теории Гийома, определившее его исследовательский метод, состоит в том, что язык — это средство выражения системы понятий, возникших из взаимодействия человека с реальной действительностью [3]. Эти понятия обобщены, классифицированы и систематизи-

---

[1] Сб. «Current trends in linguistics», XI — Diachronic, areal and typological linguistics, ed. by Th. A. Sebeok, The Hague, 1973.

[2] См.: G. Moignet, Bibliographie des travaux de linguistique française d'inspiration guillaumienne, «Langages», 7, 1967; C. Veyrat, Bibliographie des écrits d'inspiration guillaumienne. 1919—1971, Québec, 1971; M. Wilmet, Gustave Guillaume et son école linguistique, Paris, 1972; A. Jacob, Les exigeances théoriques de la linguistique selon Gustave Guillaume, Paris, 1970, и др.

[3] Ср.: «Principes de linguistique théorique de G. Guillaume. Recueil de textes inédits», Paris, 1973, стр. 23, 231, 238, 241, 258; G. Guillaume, Langage et science du langage, Paris, 1969, стр. 208, 218.

рованы сознанием и пребывают в нем в виде системы (совокупности подсистем), имеющей языковые обозначения.

По представлениям Гийома, система понятий в сознании человека — это виртуальное означаемое, виртуальным означающим которого является система языка, располагающая языковыми знаками. В системе языка каждая виртуальная языковая единица занимает свою позицию. Этой позицией определяется ее языковое значение, которое в свою очередь обусловливает возможные для нее речевые реализации [4].

Гийом считал, что речевые факты нельзя объяснить, исходя из них самих, что свое объяснение они находят на более высоком уровне, на уровне теории. И Гийом стремился создать такую теорию, которая обобщала бы и объясняла бы все речевые факты [5]. Прежде всего он исходил из положения о том, что мысль не неподвижна. Она находится в постоянном движении, в ходе которого и создаются понятия, облекаемые в языковую форму.

Мы знаем, что марксистско-ленинская теория познания считает понятия высшим результатом обобщения образов действительности, и создаются они, так же, как и их языковое отображение, мыслительными операциями. Вопрос, который ставил себе Гийом, это не «как мы мыслим?» (решение этого вопроса он предоставлял психологам), а «какую роль играет язык в формировании, познавании и внешнем выражении мысли?». Он высказал гипотезу о том, что мыслительная операция формирования понятия занимает определенное время, и мысль может быть уловлена в ее движении, познана «перехватом» ее в каких-то точках этого отрезка времени [6]. Точкам, отмечающим этапы в движении мысли, соответствуют языковые единицы. Они фиксируют отдельные моменты формирования понятия в виде языковых значений.

Таким образом, по идее Гийома, язык не есть статическое отображение статической системы понятий. Он считает, что язык представляет собой абстрактную сущность, не содержащую готовых понятий, которые могли бы быть использованы в речи в этом готовом уже виде и совокупность которых представляла бы статическую картину мира. Мир динамичен, и язык — динамическая система абстрактных схем мыслительных операций, необходимых для языкового воспроизведения того или иного фрагмента реального мира [7].

В связи с этим возникает вопрос: как определял Гийом назначение языка? Для чего существует язык? В своем ответе он единодушен с некоторыми французскими философами XVIII в., например, с философом-сенсуалистом Э. Бонно де Кондильяком (1715—1780), последователем Локка, автором знаменитого «Трактата об ощущениях», который полагал, что было бы ошибочным считать, что язык существует только в целях общения, ибо первое назначение языка — анализировать мысль [8].

Признавая язык социальным явлением, Гийом вместе с тем считает, что язык выполняет функцию передачи двух кардинальных отношений: отношения «Вселенная/Человек» и отношения «Человек/Человек». Это значит, что: 1) выражая систему понятий, отражающих реальный мир, язык служит познанию мира через мысль, которая конструирует в понятиях ди-

---

[4] «Leçons de linguistique de Gustave Guillaume 1948—1949. Structure sémiologique et structure psychique de la langue française», I, Québec, 1971, стр. 79.

[5] «Principes...», стр. 255; «Leçons... 1948—1949», стр. 104.

[6] G. Guillaume, L'architectonique du temps dans les langues classiques, в кн.: «Temps et verbe», Paris, 1968, стр. 17, § 3.

[7] R. Valin, Petite introduction à la psychomécanique du langage, Québec, 1955, стр. 47.

[8] Э.-Б. де Кондильяк, Трактат об ощущениях, М., 1935, стр. 166.

намическую картину этого мира, и 2) язык обеспечивает возможность общения через речь, использующую языковые средства для выражения мысли.

Соответственно задаче построения системы языка и претворения языка в речь, Гийом делил лингвистику на три раздела: 1) психосистематика, 2) психомеханика, 3) психосемиология. Приставка «психо-» сигнализирует ментальный, абстрактный характер языковой системы. Она относится к понятию «психики», но не «психологии». Ошибаются те, кто считает Гийома психологом. Он не только не принадлежал к психологическому направлению своего времени, но неоднократно высказывал резкие критические соображения против лингвистического психологизма всех оттенков. Гийом — менталист: он стремился выявить те мыслительные операции, которые осуществляют построение лингвистических систем и образование лингвистического знака. Выводы Гийома о структурных принципах языковой системы основываются на лингвистическом наблюдении речевых фактов (как правило, древнегреческого, латинского и французского языков, отчасти и других). Представленные схематически, языковые факты интерпретируются Гийомом чисто лингвистически.

Возвращаясь к трем разделам гийомовской лингвистики, можно формулировать их содержание следующим образом:

1. Психосистематика — воспроизведение системы языка как выражения обобщенной и систематизированной совокупности понятий, хранящейся в языковой памяти как отражение реальной действительности. Положение Соссюра о системности языка остается бесплодным, если не воссоздать эту систему для последующего ее изучения. Поэтому воспроизведение системы и есть первая задача систематики. Она основывает свои построения на двух понятиях: Пространства и Времени. Имена — образ Пространства, глаголы — образ Времени. Системные отношения языковых элементов изображаются Гийомом в виде векторных схем, ибо графическое изображение движения времени может быть представлено только в терминах пространства. Простейшее изображение движения времени в виде стрелки уже носит пространственный характер.

2. Психомеханика. К компетенции этого раздела лингвистики относится изучение действия механизмов, которыми располагает мысль, чтобы улавливать последовательные этапы на пути формирования понятий, получающих соответствующие языковые обозначения, и реализации языковых элементов в речи, ибо, по мнению Гийома, «язык является совокупностью средств, систематизированных и пребывающих в сознании. Они созданы мыслью для того, чтобы она могла в любой момент перехватить свое собственное движение и уловить то, что ею в этот момент создается» [9].

Системы, которые изучает психомеханика, это только морфологические системы, интеграция морфем в системы (синтаксис Гийом относил исключительно к речи). К этому разделу относится и собственно построение схем, изображающих отношение между формированием понятий и языковыми единицами, обозначающими этапы этого процесса.

3. Психосемиология. К этому разделу относится система грамматических форм, участвующих в построении речи. Семиологическая система не тождественна языковой, абстрактной системе, так как для обозначения одного системного значения речевая система может располагать несколькими различно образованными формами. Например, французский претерит при одном системном значении — «совершение

[9] G. Guillaume, L'architectonique..., стр. 17, § 1.

действия в прошлом» — располагает для его выражения в речи тремя типами форм: на *-ai*, на *-is* и на *-us*. С другой стороны, форма имеет в системе языка одно значение, оно всегда одно, так как форма занимает в системе одно место и ее значение обусловлено этим местом. Но она может служить передаче в речи разных функциональных значений, обязательно вытекающих из ее системного значения. Например, французский имперфект может в речи обозначать действие безграничное, мгновенное, несостоявшееся, повторявшееся и т. д., но все его речевые значения сводятся к его системному значению «совершение плюс совершенность действия в прошлом».

Семиологическая система изменчива, но Гийом объясняет ее изменения. исходя не из самой речи, а из изменений в системе понятий. Он рассуждает так: система языка, отражая систему понятий, зависит от диапазона обобщенного в них человеческого опыта. Семиологическая система должна обеспечивать возможность выразить в речи все то, что заложено в языке. Какими именно средствами — это, в сущности, безразлично. Например, в одних языках модальные значения выражаются формами наклонений, в других — модальными словами. Речь всегда использует то, что есть в языке, она зависит от языка и не может изменяться сама по себе. Для того чтобы изменилась речь, надо, чтобы произошли сдвиги в системе языка, а эти сдвиги могут появиться лишь в результате изменений в системе понятий. Так объясняются диахронические изменения. Например, когда к восприятию медиального характера действия прибавилось представление о возможности появления внешней силы, вызывающей это действие (агенс), формы греческого, а затем латинского медиума стали обозначать пассив.

Последователь Соссюра, Гийом развил некоторые его идеи, в некоторые его положения внес свое понимание [10]. Так, например, Гийом различает два типа означаемого — одно принадлежит полю виртуального (языковое означаемое, каковым является понятие), другое — полю актуального, речи (образ денотата). Их связывает знак. При переходе от языка к речи происходит сокращение объема виртуального означаемого, включающего потенциально все его речевые реализации, и сведение значения к одному, частному, требуемому речевой ситуацией. Таким образом, всякое речевое означаемое может быть только тем, что допускается виртуальным означаемым. Посредником между виртуальным и актуальным означаемыми служит знак. Отсюда слово незнакомого языка оказывается ничего не значащим, так как с ним не связано никакое понятие.

Гийом считает, что различие между знаком и означающим формально с точки зрения концептуального содержания. Но знак имеет и физическую сторону — звуковую, проявляющуюся в речи.

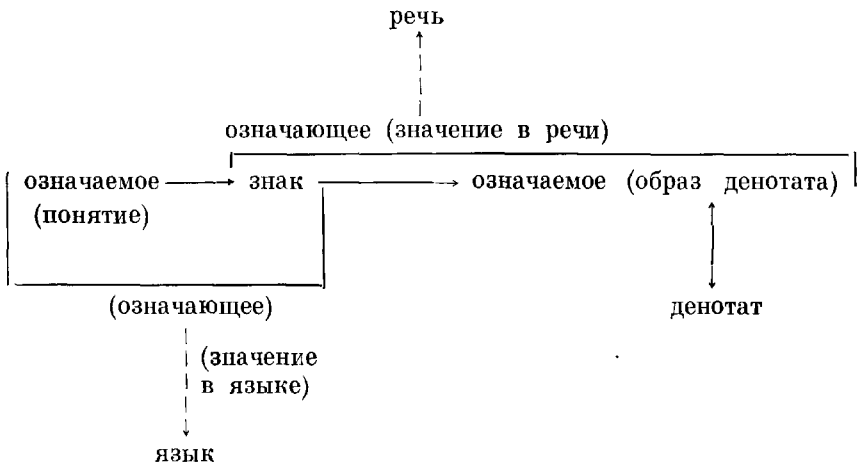
Будучи приведены средствами актуализации в соответствии с речевой ситуацией и с задачами высказывания, виртуальные означаемые и их означающие перемещаются в речь. Становясь речевыми, они предполагают наличие определенных денотатов.

К этому надо добавить, что так как вся система языка не появляется единовременно в речи, то и система в целом не нуждается в особом означающем. Означающим обладают лишь единицы языка, способные занять свое место в речи. Система же пребывает в сознании, не выходя из него в речь целиком, является абстрактным означаемым без означающего. Например, глагольная система включает означающее для каждой вре-

---

[10] R. Valin, указ. соч., стр. 40—59.

менной или модальной формы, интегрированной в систему, но не имеет специального означающего для всей системы в целом:



Отношение языка к речи Гийом рассматривал так: между абстрактной системой языка и системой конкретных форм, употребляемых в речи, нет знака равенства. Речи предшествует мыслительный акт образования (или выбора?) понятия, за которым сразу же следует семиологический акт выбора конкретных речевых средств для высказывания. В этот момент кончается компетенция языка и начинается речь [11].

В языке слово и форма имеют обобщенное значение, соотносясь с понятиями. В речи значение их определяется речевой ситуацией и задачами коммуникации. Гийом считал, что выбор и комбинирование понятий для будущего высказывания и последующее речевое его оформление требуют определенного времени, чего человек может и не замечать — оно очень мало. Но то, что процесс этот все же протекает во времени, дает возможность графического его изображения в виде векторных схем.

При переходе от языка к речи проявляется двунаправленность движения мысли — от частного к общему и от общего к частному. Этот механизм движения отвечает восприятию человеком реалий окружающего мира: как конкретных явлений и как обобщенных понятий.

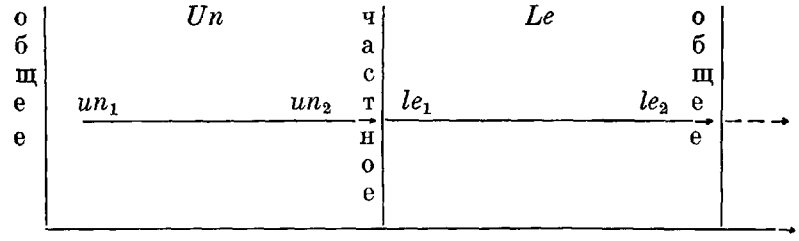
Бинарность языковых явлений — выражение, ставшее уже сейчас тривиальным,— понимается Гийомом как явление динамического порядка. Для него бинарность не есть статическое противопоставление, а два последовательных движения мысли от одного полюса к другому.

Исходя из этих и ряда других положений, Гийом строил векторные схемы, цель которых — показать, как на пути формирования понятий мысль останавливается, чтобы дать отдельным точкам этого пути языковые обозначения, которые потом будут перенесены в речь. Гийом считал, что не может быть универсальной схемы, изображающей строение всех языковых систем. Система понятий в сознании людей может быть единой — она определяется опытом, а языковое ее оформление — индивидуально для каждого языка. Он строил свои схемы в основном для французского языка, некоторые — для древнегреческого и латинского. В этом плане интересна интерпретация Гийомом некоторых грамматических категорий французского языка, например, артикля или временных глагольных форм.

---

[11] «Leçons de linguistique de Gustave Guillaume...», стр. 105.

I. Артикль (движение мысли происходит между полюсами «индивидуализация» — «генерализация»).



В речи оба артикля определяют существительное как обозначение понятия «частного» или «общего», но осуществляют это в разных ситуациях:

un_1 (= *tout*): ***une mère** est toujours indulgente*; обобщающая функция артикля; он определяет предмет (или лицо) как представителя целого класса подобных, к которому и относится предицируемое свойство;

un_2: ***un garçon** entra dans la pièce*; индивидуализирующая функция артикля; он определяет данный предмет (или лицо) как принадлежащее к классу подобных;

le_1: ***le chien** que vous voyez là appartient à mon ami*; индивидуализирующая функция артикля; он определяет предмет (или лицо) по связи с ситуацией речи;

le_2: ***l'homme** est mortel*; обобщающая функция артикля; он определяет предмет (или лицо) как совокупность свойственных ему признаков.

II. Формирование понятия времени, выраженное через систему французского глагола.

Время не имеет собственного выражения, оно выражается через действие. Действие связано с двумя представлениями о времени: о времени «внутреннем», включенном в действие, и о времени «внешнем», в которое помещается действие.

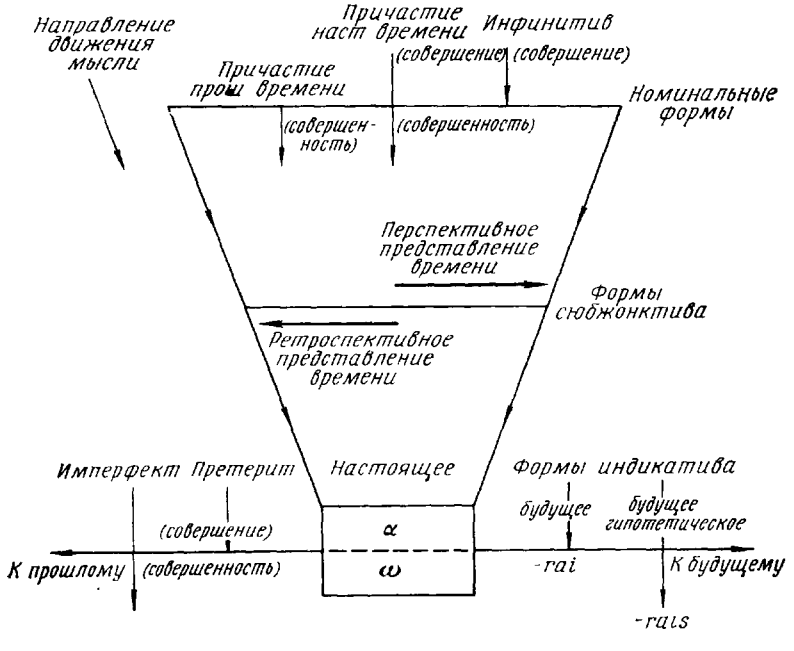


Рис. 1

Последовательные этапы формирования понятия времени получают языковые обозначения, которые образуют глагольную систему французского языка. Первый этап отмечен «номинальными» формами глагола — инфинитив и причастия. Абстрактное понятие действия исключает представление о «внешнем» времени. «Внутреннее» время понимается как «совершение» и «совершенность» действия. Формы глагола бессубъектные, граничат с именными. Второй этап отмечен формами сюбжонктива. Время представлено в виде двух потоков — уходящего (объективное представление) и поступательного (субъективное представление). Разделения на три временные плана еще нет. Формы глагола — субъектные. Третьему этапу отвечают формы «индикатива». Три плана времени: настоящее, прошедшее и будущее. Настоящее разделяет прошедшее и будущее и само разделяется на два уровня, включая частицу прошедшего и частицу будущего. Формы глагола — субъектные. План прошлого характеризуется реальностью, план будущего — недостоверностью. Так называемые глагольные наклонения имеют во французском языке темпоральное содержание.

В речи номинальные формы безразличны ко времени, т. е. могут помещаться в любой временной план (*je veux*, *voulais*, *voudrai partir*), им свойственно лишь отношение к «включенному» времени — «совершение» или «совершенность» (= вид). Они на грани имени.

Формам сюбжонктива свойственно лишь приблизительное обозначение времени, движение которого направлено вперед или назад. Четкого обозначения временного плана действия нет. Поэтому формы сюбжонктива употребляются для обозначения действий неутверждаемых, относящихся к «теме». Формам индикатива присуща точная локализация действия во времени. Отсюда их употребление для обозначения действий утверждаемых, относящихся к «реме».

III. Наречия «мало — немного». В своей работе, о наречиях *peu* и *un peu* в функции выражения меры признака К. Виммер показала возможность приложения принципов Гийома к изучению лексики [12].

При образовании понятий «мало» — «немного» мысль переходит от поля положительного («много») к полю отрицательного («ничего»).

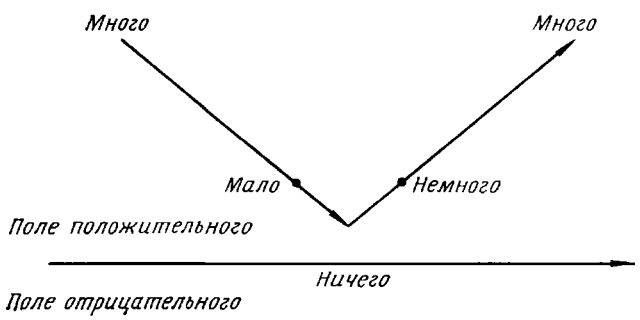


Рис. 2

Системная позиция «мало» и «немного» (peu и un peu) определяется противопоставлением полей положительного и отрицательного. Оба слова обозначают положительное количество, хотя и малое. «Мало» отвечает представлению о количестве, при формировании которого мысль идет от

[12] Ch. Wimmer, *Peu et un peu*, «Travaux de linguistique et de littérature de Strasbourg», XII, 1, 1974.

положительного поля к отрицательному, хотя и не доходит до него. При движении от положительного к отрицательному мысль ориентирована на представление «ничего» (rien), вблизи которого она останавливается на значении «мало». Не доходя до поля отрицательного (значения обоих слов положительны), мысль поворачивает опять в сторону поля положительного. Удаляясь от поля отрицательного, она ориентируется на понятие «много». Позиция «немного» находится на этой оси, недалеко от начала.

В речи эти позиции допускают употребление «мало» со словами положительного значения, «немного» — со словами отрицательного значения: *Cet homme est peu agréable — Cet homme est un peu désagréable.*

При положительном значении качества мысль может направляться только от поля положительного к полю отрицательного и наталкивается на позицию «мало». При отрицательном значении качества она направляется от поля отрицательного в сторону поля положительного и наталкивается на позицию «немного».

Сочетание отрицательного качества с «мало» возможно только в качестве литоты («выражение качества через отрицание противоположного качества»), но такие построения, как *Cet homme est peu méchant = Cet homme est plutôt bon* относятся к чисто речевым, стилистическим приемам.

Какое место занимает теория Гюстава Гийома среди лингвистических направлений XX в. и каково отношение к ней его современников? Голландский романист А. Схогт пишет: «Гюстав Гийом не принадлежит ни к какой школе. Он — создатель своей школы. Связи его с Соссюром слабы и относительны. Разумеется, он воспринял от него некоторые основные положения, которые он затем развил, отойдя, в некоторых случаях довольно далеко, от идей Соссюра, например, в вопросе о дихотомии язык — речь, в определении понятий означаемого и означающего и др. От Пражской и Копенгагенской школ его отличал откровенный ментализм. Стремлением проникнуть в структуру языка, лежащую в основе речевой деятельности и обусловливающую речевые структуры, он заслужил название структуралиста. Но его „структурализм“, если пользоваться этим термином, не имеет ничего общего с структурализмом пражцев и копенгагенцев или американцев. И лучше не употреблять этого термина в отношении концепции Гийома» [13].

Гийом стремился выявить мыслительные операции, рождающие в конечном счете акт речи. Его теория противоположна структурализму, ибо опирается прежде всего на непосредственные связи и взаимозависимость языка и мышления. Гийом стремился воспроизвести движение мысли, создающей представления и понятия в результате взаимодействия человека с действительностью, мысли, дающей отдельным отрезкам этого движения языковые обозначения, хранящиеся в сознании человека в виде языковой системы. Сам Гийом считал себя структуралистом, так как занимался структурой языка.

Лингвистов-позитивистов младограмматического толка пугала чрезвычайная абстрактность теории, стремление исследователя проникнуть через формы речи в ментальную сферу языка. Сам Гийом утверждал конкретность своего метода, защищая теоретическую и менталистскую позицию против позитивизма [14]. Он очень резко высказывался и против дескриптивизма, не идущего дальше составления инвентаря языковых элементов, что для него служило лишь началом работы. Гийом так определял свою позицию: «Следует порвать с долгой традицией позитивизма, согласно принципам которого лингвисты рассматривали как реальное только

[13] H. G. Schogt, Temps et verbe de Gustave Guillaume, «Linguistique», 1, 1965.
[14] R. Posner, Can Guillaume teach us a lesson?, «Archivum linguisticum», V, 1974.

непосредственно наблюдаемое. Лингвист должен путем наблюдения фактов, их анализа и обобщения прийти к познанию глубоких и скрытых явлений, на которых покоится структура языка. Только этим путем лингвистика станет настоящей наукой, а пока она носит характер чистых описаний и классификаций. Только так она пойдет по пути, намеченному Соссюром, которым много восхищались, но которому мало следовали» [15].

Не менее решительно высказывался Гийом по поводу психологизма в языкознании. Гийом чужд интереса к психологическим процессам, происходящим в сознании отдельного человека. Его антипсихологизм сказался также в том, что он не признавал влияния речи на язык.

Ментализм Гийома далек от интроспекции и психоанализа. Он не проявлял стремления проникнуть в область «подсознательного», считая это делом психологов. Он стремился понять лишь целенаправленное движение мысли, обусловливающее природу языка и функционирование его в речи. Гийом критически отзывался о взглядах лингвиста-психиатра Э. Пишона, своего современника, который стоял на позициях фрейдизма.

Теория Гийома — это лингвистическая теория. Его исследовательский метод — индуктивно-дедуктивный: исходный момент анализа — речевой факт. От него индуктивный путь к теоретическому обобщению и возвращение обратно к факту речи для проверки правильности теоретического построения и для объяснения наблюдаемых фактов.

Примечательно соответствие общих контуров доктрины Гийома основным принципам современной теории информации. Интересно также сопоставление теории Гийома с генеративной грамматикой Хомского. Хотя эти две теории совершенно различны, в среде французских и американских лингвистов идея такого сопоставления родилась ввиду внешнего сходства некоторых положений этих двух теорий. Это — представление о языке как о деятельности, а не как о статическом конструкте, о возможности сведéния множественных речевых значений к ограниченному числу системных языковых значений, отрицательное отношение к грамматике позитивистской и бихейвиористской, к дескриптивным и чисто индуктивным процедурам.

Во всяком случае сейчас происходит интересный диалог между многочисленными представителями этих двух направлений. Он проходит на конференциях, организуемых Французским Центром научных исследований (прошло уже пять таких конференций) и на страницах лингвистической периодической литературы и специальных изданий [16].

Что особенно характерно для Гийома с точки зрения методологии? Во-первых, его представление о связи и взаимозависимости мышления и языка. Во-вторых, и это для него очень важно, понимание языка как динамического явления, представление о непрерывном движении мысли, представление о неразрывности этих двух движений, будь то в процессе формирования понятий и их языкового выражения или при перемещении языковых единиц в речь. Понимание Гийомом динамизма языка сильно отличается от динамизма в представлении, например, Хомского. Если для Хомского он машинален, основан на автоматически действующих механизмах языка, откуда создание речи — процесс, в сущности, антиментали́стский, несемантический, то для Гийома важны процессы, происходящие в каждый данный момент в уме человека, формирующие понятия и представления, образование которых в сознании человека необходимо связано с их языковыми обозначениями.

---

[15] G. Guillaume, L'architectonique..., стр. 16.

[16] См., например, сб. «Grammaire générative et psychomécanique du langage», Paris, 1973; четвертый номер журнала «Le français moderne» за 1974 г. целиком посвящен этому обсуждению.

Гийом следует принципу деривационности, возможности выведения речи из языка и речевых значений из системных, языковых. Он стремится дать объективное, даже наглядное представление о процессах, происходящих в мыслительно-языковом континууме. Наиболее доступным образом сам Гийом резюмировал свой научный метод в двух появившихся посмертно статьях, озаглавленных «Наблюдение и объяснение в науке о языке» [17].

В положениях и конкретных выводах Гийома есть некоторые спорные тезисы, с которыми трудно согласиться. Например, он считает, что синтаксис (построение фразы) относится исключительно к речи. В поздних работах он, однако, допускает разделение синтаксиса на «генетический» и «результативный». Первый помещается им где-то вблизи языковой системы, он ведает фактическими связями между словами предложения, второй осуществляет линейное его построение. Это трудно себе представить. В речи не может быть ничего, что не выводилось бы из системы языка. Речь — реализация языковых единиц, и в речи они поступают в распоряжение синтаксиса, который строит предложения. Но модели, по которым они строятся, все же, вероятно, предусмотрены самой языковой системой и не принадлежат только семиологической, т. е. речевой системе. Не очень убедительно, что при каждом речевом акте мысль всякий раз должна пробежать весь путь формирования понятия для того, чтобы выбрать нужную для речи языковую единицу, которая уже находится в языковой памяти. Вызывает недоумение непризнание возможности влияния на систему языка собственно речевых изменений, которые могли бы иметь место под воздействием внелингвистических факторов и т. п.

Тем не менее, несмотря на ряд спорных положений и недоработку в некоторых вопросах, ознакомление с теорией, или, быть может, вернее, с гипотезой Г. Гийома представляет большой интерес, ибо это — первая попытка осуществить построение абстрактных языковых подсистем, которые в совокупности представляют систему языка. Не последнее значение имеет и то, что построения Гийома дают в ряде случаев возможность объяснить те факты функциональной грамматики, которые до сих пор не получали убедительного истолкования.

Аналогичным образом оценивал работы Г. Гийома его учитель, крупнейший филолог начала XX в. А. Мейе, писавший о том, что, на первый взгляд, абстрактные построения Гийома оказываются вполне оправданными, когда, будучи приложены к лингвистическим фактам, дают самое верное и наглядное их объяснение [18].

Как это следует из изучения работ Гийома, при всем своем абстрактном характере, а может быть именно в силу этого, теория Гийома является для лингвиста действенным орудием для решения вопросов языковой практики. Ее практическое значение заключается в том, что она приложима к изучению всех особенностей соотношения системных и речевых значений строевых элементов языка, а следовательно, объясняет и множественность последних при единичности определяющих (по терминологии Гийома — «разрешающих») их системных значений.

Теория Гийома интересна тем, что она значительно продвигает науку о языке, облекая в конкретные формы некоторые из основных теоретических положений лингвистики, сформулированных почти столетие назад, но не получивших до настоящего времени своего адекватного раскрытия.

---

[17] G. Guillaume, Observation et explication dans la science du langage, «Langage et science du langage», стр. 25 и сл.; 272 и сл.; см. также: J. Hewson, The essential Guillaume, «Linguistics», 92, 1972, стр. 26.

[18] См.: BSLP, 31, 2, № 93, 1918.

О жизненности и научной перспективности концепции Г. Гийома свидетельствует все более распространяющееся в наши дни влияние его воззрений, увеличивающееся с каждым днем число его сторонников, многочисленные публикации которых (монографии и статьи на страницах ведущих лингвистических журналов) привлекают к себе все больше и больше внимания.

Гийомовская теория — строго менталистская — основана на признании неразрывной связи языка и мысли. Теория, определяющая язык как средство выполнения важнейшей социальной функции — служить общению между людьми, но в первую очередь быть орудием познания человеком окружающего его реального мира, объективно свидетельствует о материалистической позиции ее создателя.

Определить свое отношение к теории Г. Гийома значит для лингвиста включиться в обсуждение животрепещущих лингвистических проблем современности, выбрать путь для дальнейшего развития языкознания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1977

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Словарь русского языка XI — XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений».— М., «Наука», 1975. 126 стр.

Выход в свет первых четырех выпусков «Словаря русского языка XI—XVII вв.» с приложением «Указателя источников» данного словаря — большое событие в культурной жизни нашей страны [1]. Этот факт сам по себе знаменателен тем, что возобновилась прерванная на некоторое время традиция русской исторической лексикографии. Со времени издания «Материалов» И. И. Срезневского [2] мы не имели словаря, в достаточной степени полно охватывающего словарный состав русского языка старшего и среднего периода его развития. В Словарном секторе Института русского языка АН СССР в Ленинграде подготавливается «Словарь русского языка XVIII в.» и новое издание «Словаря современного русского литературного языка». С выходом их в свет широкий круг читателей самых различных специальностей, которых интересуют вопросы истории русского народа, получит в свое распоряжение ценнейшие пособия для ознакомления с историей слов русского языка и их значением.

Составление любого словаря, как известно, начинается с картотеки. Картотека отражает круг расписываемых текстов, способ их расписки. По кругу источников, которые расписываются для картотеки словаря, можно с достаточной степенью вероятности судить о том, насколько картотека, а следовательно, и сам словарь дают представление о лексическом богатстве русского языка прошлых эпох в разных направлениях: жанры памятников, отражающие тематические слои лексики разных сфер жизни; хронологические периоды; территориальная распределенность памятников; их оригинальное происхождение или переводной характер. По этим (очевидно, далеко не исчерпанным) показателям можно оценивать круг источников Словаря русского языка.

Достаточно полно круг источников Словаря охарактеризован с разных сторон в статьях О. И. Смирновой, С. П. Мордовиной и Г. Я. Романовой, специально посвященных данному вопросу [3]. Это избавляет от необходимости давать развернутую характеристику источников, кладя в основу всякий раз определенный конкретный principium divisionis. Напомним лишь основные моменты, дающие представление о том, что при отборе круга источников составители Картотеки и Словаря исходили из того, чтобы дать читателю полное представление о богатстве словарного состава русского языка с разных его сторон.

О подборе текстов по хронологическому признаку. Основное внимание уделено

---

[1] «Словарь русского языка XI—XVII вв.» вып. 1 (*А — Б*), М., 1975; вып. 2 (*В—Волога*), М., 1975; вып. 3 (*Володѣнье—Вящьшина*), М., 1976; вып. 4 (*Г — Д*), М., 1977. Вышедшие рецензии: Р. Эккерта (ZfS, 20, Hf. 5—6, 1975); И. С. Козырева (ФН, 1976, 2); А. М. Булыки («Весці АН БССР». Сер. грамад. навук, 1975, 6) — в очень лаконичной форме касаются «Указателя источников».

[2] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, 1 — СПб., 1893; 2 — СПб., 1895; 3 — СПб., 1903. Фотомеханическое переиздание в Москве в 1958 г. тиражом 5000 экз. и за рубежом значительно увеличило круг исследователей, которым стал доступен словарь, все равно продолжающий оставаться библиографической редкостью.

[3] О. И. Смирнова, Картотека Древнерусского словаря (ДРС), в кн.: «Лингвистические источники. Фонды Института русского языка», М., 1967; С. П. Мордовина, Г. Я. Романова, Об источниках Словаря русского языка XI—XVII вв., ВЯ, 1974, 3.

совершенно обоснованно периоду XV—XVII вв., поскольку он не охвачен в «Материалах» Срезневского. Захватывается также период вплоть до 30-х годов XVIII в., но только в том случае, если слово имеет традицию употребления в предшествующий период. Таким образом, лексика специфически Петровского периода исключается, что соответствует вполне хронологическим рамкам XI—XVII вв.

Соотношение печатных и рукописных источников дает наиболее ясное представление о степени новизны привлекаемого материала. Напомним некоторые цифры. Для расписывания материала в Картотеку привлечено: по периоду XI—XIV вв.— 120 памятников (из них ~ 17 рукописей), XV в.— соответственно 160 (~ 14), XVI в.— 170 (~82), XVII в.— 500 (~145). Эти цифры не дают абсолютно точного представления о числе текстов, так как Картотека постоянно пополняется новыми источниками, в том числе рукописными. Ценность Картотеки повышается еще и тем, что она содержит выписки из рукописей, утраченных в настоящее время (например, рукописи библиотеки Смоленского пед. ин-та). Широко привлекаются и зарубежные публикации.

Что касается обследованных архивов, то по числу расписанных рукописей первенство принадлежит ленинградскому архиву ЛОИИ, московские архивы (ГБЛ, ГИМ) в этом отношении уступают ЛОИИ. Обследованы рукописные хранилища Киевской библиотеки АН УССР и лишь некоторые из областных и периферийных архивов: Смоленского пед. ин-та, Архангельский, Ивановский, Калининский, Горьковский областные архивы. Данный перечень свидетельствует о том, что обследование отечественных и, по возможности, зарубежных рукописных архивов — задача первостепенной важности с целью пополнения Картотеки новыми рукописными источниками. Однако, на наш взгляд, недостаточно использованы неизданные материалы ЦГАДА, обладающего богатейшими собраниями рукописей указанного периода. Это недостаточное внимание к неизданным рукописям можно оправдать тем, что Словарь задуман как научно-популярный общедоступный справочник и ориентирует на чтение и понимание текстов уже изданных, напечатанных.

С точки зрения жанрово-тематической подбор источников для Словаря и Картотеки характеризуется широким диапазоном привлекаемых текстов, отражающих разные стороны жизни русского общества, различные сферы применения языка. Среди источников [4] — жития, летописи, хронографы, сказания и повести, поучения и слова, тысячи актов различного назначения, юридические памятники, церковные и княжеские уставы, договоры, эпиграфический материал, литературные произведения, толковые азбуки, писцовые, таможенные, строельные, разрядные, посольские, родословные, приходо-расходные, кормовые, вкладные и записные книги, судебники, песни, былины, травники, лечебники, частная и деловая переписка, лексиконы XVII — начала XVIII в., статейные списки.

Что же касается территориальной принадлежности источников, то при достаточно полной представленности текстов московских, северного (новгородские, псковские) и северо-западного происхождения, тексты южновеликорусские сравнительно немногочисленны. Поэтому в настоящее время ведется интенсивное пополнение Картотеки этими материалами и оперативно привлекаются новейшие издания текстов.

«Указатель источников» Словаря (составлен С. Ф. Геккер, подготовлен к изданию Г. Я. Романовой) имеет самостоятельное значение как перечень важнейших источников XI—XVIII вв. с приведением необходимых библиографических сведений. Он включает свыше 1800 названий памятников. Комплекс сведений, приводимых в библиографическом описании, несколько шире обычных, поскольку включает в себя ряд дополнительных данных, необходимых для целей Указателя. Этот комплекс может быть несколько расширен прежде всего за счет источниковедческих сведений, особенно если иметь в виду возможное переиздание Указателя как самостоятельной книги. К такого рода источниковедческим сведениям следует отнести: оригинальный или переводной текст, протограф или список, способы воспроизведения текста в издании (включая сюда ответ на вопрос — наборное это издание или нет), время написания списка, место создания текста, писцы (если имеются сведения о них), рукописи каких архивов опубликованы.

Составители по вполне понятным причинам не могли дать все эти сведения сразу, потому что для их выявления требуются дополнительные разыскания. Хотелось бы увидеть в Указателе как самостоятельной книге более полные сведения о переводных книгах: например, «Новое галанское карабельное строение... вместе снесено чрез Карлуса Алярда». М.,

---

[4] С. П. Мордовина, Г. Я. Романова, Картотека ДРС и перспективы ее пополнения, «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975. Москва», 4 — Теория и практика исторической лексикографии, М., 1975.

1709 (10)[5]; «Поверенные воинские правила како неприятельские крепости силою брати. Чрез Е. Ф. барона фон Боргсдорфа...» 1697. М., 1709 (16); «Воинская книга немецкая» (рукоп. ГПБ, F IX, № 19, ок. 1610 г.) (19); «История о Париже и Вене». Переводная повесть в стихах Петровского времени. Пригот. к изд. Н. Н. Виноградов. СПб., 1913 (Сб. ОРЯС, т. 90, № 6). XVIII в. (42); «Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте... Кугорна». М., 1709 (60) и некот. др. Во всех этих случаях отсутствует полнота сведений о переводе: либо не указан переводной характер текста, либо язык, с которого сделан перевод, либо автор перевода, либо непосредственный оригинал. В других же случаях об оригинале даны сравнительно полные сведения: например, «Брунона Вирцбурского толкование на псалтирь». Пер. с лат. Дм. Герасимова, 1535 г.— Рукоп. ГИМ, Син., № 305, XVII в. [лат. ориг.— инкунабула 1498 г.] (17); «Против иудеев Николая Де Лира. Пер. с лат. Дм. Герасимова, 1501 г.— Рукоп. ГИМ, Увар., № 346 (1°), л. 185—217, перв. пол. XVIII в. [лат. ориг. Disputatio magistri Nicolay de Lira... contra perfidiam Iudaeorum, 1475—1482] (25—26) и в других случаях.

За редкими исключениями [см. «Синодик Нижегородского Печерского монастыря 1552 г.— Рукоп. Гос. архива Горьк. обл., ф. 2013, сп. 502а, д. 161» (103)] не указывается, рукописи каких архивов изданы.

В ряде случаев для целей предварительной ориентировки лингвиста было бы желательно иметь даже в кратком библиографическом описании вынесенные за его пределы в квадратных скобках дополнительные сведения, характеризующие такую сторону источника, как его лингвистическая содержательность. Например, в описании «Путешествия стольника П. А. Толстого» (27) было бы ценно указать район его путешествия — европейские страны (Силезия, Польша, Италия). Следовало бы пояснить, почему рукопись Лечебника именно 1763 г. (т. е. времени, выходящего за рамки словаря) избрана как источник, не является ли она списком с более ранней рукописи? (62).

В некоторых библиографических описаниях недостает тех сведений об источнике, которые составителем признаны как обязательные, в частности, не указано время написания рукописей. Это относится к «Грамотам, данным Ниловой Столбенской пустыни» по утраченным рукописям библиотеки Смоленского пед. ин-та (23), «Русским достопамятностям», ч. 1—2. Изд. ОИДР. М., 1815—1843 (99), «Сведениям и заметкам о малоизвестных и неизвестных памятниках» И. И. Срезневского, [т. 1—4], СПб., 1867—1881.— Сб. ОРЯС, т. 1, 12, 15, 20, 22 (102); «Сказаниям об антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах творений св. Ипполита» И. Срезневского, СПб., 1874 (104); «Обзору хронографов русской редакции» А. Попова, вып. 1—2, М., 1866—1869 (122). Слишком общо, без раскрытия содержания и состава рукописей подана коллекция И. К. Зинченко XVII в.— хранится в ЛОИИ, к. 56 (59).

Встречаемся с неточностями в самом библиографическом описании. В издании Пролога (96), подготовленном М. Виднэс, следует уточнить страницы 20—66 (вм. 20—52) и год 1966 (вм. 1967), что будет соответствовать году 1966 в выходных данных. Одно и то же, по всей видимости, повторяется под сокращениями: Сказ. о Конст. [1] и Сказ. о Конст. [2] (105) с тем лишь отличием, что сокращение с индексом 1 представляет публикацию рукописи, а сокращение с индексом 2 дает полное название самой рукописи с указанием места и шифра ее хранения. В таких случаях в Указателе они даются как один источник. Этот пример является неожиданным исключением. При искажении заглавия в рукописи [см. Толк. речем [1] (117)] следовало бы фиксировать на этом внимание читателей: «познаваемо» [!] вм. «познаваемом», как последнее читается в других случаях —«познаваемом» или «познаваемым». В противном случае получается обратный смысл заглавия с совершенно неуместной оценкой: «толкование неудоб познаваемо» вм. должного: «толкование неудоб познаваемо[м] в писаных речем» с другой синтаксической соотнесенностью причастия «познаваемо[м]».

В описании «Материалов для археологического словаря» в Древностях. Тр. Моск. Археол. об-ва, т. 1—4, 8—10. М., 1865—1885 (63) в сокращении даны все тома I—X, что не соотносится с раскрытием сокращения. Сведения об оригинале и времени перевода «Похождения в Землю Святую князя Радивила Сиротки» (122) лучше заключить в скобки. В описании «Русского хронографа» редакции 1512 г. (122) следовало бы для ясности понимания добавить: сп. (список) 1538 г.

Особо хотелось бы коснуться вопроса о соотношении сокращений с их полным описанием. Основное требование, которое при этом должно выполняться, на наш взгляд,— это полная ясность словесного состава сокращения, его словесная соотнесенность с текстом полного описания. Реализация на практике этого требования тем более важна в данном издании, что оно рассчитано на достаточно широкий круг читателей, которые обратятся к Указателю как научно-популярному пособию. Не все сокращения, однако, удовлетворяют данному требованию. Приведем несколько примеров. Читатель более

[5] Здесь и далее в круглых скобках даются страницы Указателя.

осведомленный, естественно, догадается о том, что в Гр. Наз. (23) — Наз. означает Назианзин или Назианский (XIII слов Григория Богослова...). Но что означает мен.— Гр. мен. III (23)в сокращении опубликованных С. А. Шумаковым Сотниц (1537—1597), грамот и записей (1561—1696) — (Чт. ОИДР, 1902, кн. 2, с. 1—50, 201—235)? Меновные грамоты? Подобного сокращения в других местах нет. Его мы найдем только в условных сокращениях в вып. 1 (стр. 370). Почему «Разночтения к Коншинскому списку Домостроя»— в кн.: Домострой по Коншинскому списку и подобным. К изд. пригот. А. Орлов (Чт. ОИДР, 1908, кн. 2), с. 71—126, сп. XVII—XVIII вв. (26) сокращены как Дм. В.? Что означает В.— выписки? варианты? (см. вып. 1, стр. 370 — вар.). В других случаях В. = = великорусские (17), великие, великая (19, 20). Полное название источника не раскрывается в сокращении Отп. Ртищева (73). Читатель должен догадываться, что А. А. Голубев публикует один из документов, связанных с историей бунта Стеньки Разина в Заволжье (Чт. ОИДР, 1894, кн. 3, отд. 1, с. 7—23). Обратившись за расшифровкой к другим сокращениям, едва ли читатель узнает, что значит (К.) в сокращенном обозначении «Сказания о Акире премудром царя Синографа» (82). Трудно раскрыть сокращение Ряз. ст. Мещ. (101), относящееся к Сотной грамоте (списку) с писцовой книги на дворцовое село Федотьево Переяславль-Рязанского уезда, 1597 г.: *ст.— сотная? Мещ.*, очевидно, Мещерская? Такие же вопросы возникают при чтении сокращения Сл. Григ. Ц. (107), относящегося к «Григория архиепископа Киевского и всея Руси слову похвальному, иже у Фролентии и у Костентии собору...».

Два и бóльшее число способов раскрытия одного и того же сокращения (Г.— Герасим, гость; Гр.— грамоты и Грозный, Георгий, грек) — явление, естественно, нежелательное, но избежать его, очевидно, было очень трудно при большом наборе сокращаемых слов. Главное, чтобы эти сокращения раскрывались при сравнении с полным библиографическим описанием. В таком случае многозначность сокращения нейтрализуется.

Едва ли целесообразно исключать при сокращении однобуквенный предлог: Пов. Карпе Сутул. (81), Пов. Петре Орд. (85), Пов. суде Шемяки (86), Сказ. Инд. царстве (104). Эти сокращения не соответствуют синтаксическому строению заглавия и противоречат подавляющему большинству случаев, где предлог «о» сохранен.

Едва ли удачно с точки зрения удобства читателей решение вопроса о подаче дополнительного списка источников в выпусках 5, 10, 15 Словаря. Читателю выпусков со второго по четвертый окажется незнакомым ряд сокращений источников, и он должен будет ждать по крайней мере 4—5 лет, пока не появится список дополнительных источников. Следовало бы в данном случае пойти по пути «Этимологического словаря славянских языков» [6], дающего в каждом последующем выпуске дополнения к источникам и литературе, или учесть опыт «Словаря русских народных говоров» [7], помещающего по мере расширения круга источников в последующих выпусках дополнительный их список с разделением на печатные и рукописные источники. Правда, дополнительные сведения об источниках второго выпуска мы найдем в «Предисловии» к выпуску, но в третьем они уже конкретно не указаны.

Отметим, что «Указатель источников» тщательно выправлен. Удалось обнаружить опечатки чисто технического и пунктуационного характера, а не смыслового.

Перечисленные недостатки, носящие в основном сугубо частный характер, ни в коей мере не могут снизить высокого научного качества и самостоятельной ценности рецензируемого Указателя как библиографического описания важнейших памятников русской письменности XI—XVII вв.

Демьянов В. Г.

---

[6] См. «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд», под ред. О. Н. Трубачева, 2, М., 1975, стр. 3—5.

[7] «Словарь русских народных говоров», вып. 1, сост. Ф. П. Филин, М.—Л., 1965, стр. 4, 18. См. также: вып. 2, М.—Л. 1966, стр. 6—9; вып. 3, Л., 1968, стр. 4—12; вып. 5, Л., 1970, стр. 5—8.

«Словарь русского языка XI — XVII вв.» — М., «Наука», 1975—1977.

Создание исторических словарей русского языка — одна из важнейших задач советской русистики. До последнего времени в научной и учебной работе, в разнообразных практических целях использовались выдающиеся по своему характеру «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского (т. 1—3 и Дополнения, СПб., 1893—1912), охватывающие преимущественно лексику древнерусской письменности XI—XV вв., и несколько дополняющие их в отношении XVI—XVII вв., «Материалы для словаря древне-

русского языка» А. Дювернуа (М., 1894). Оба эти словаря (несмотря на переиздание в 1958 г. «Материалов» И. И. Срезневского) являются библиографической редкостью.

В советское время были изданы «Материалы для терминологического словаря древней России», составленные Г. Е. Кочиным (М.— Л., 1937), издание нефилологическое, также дающее сведения о древнерусской терминологии лишь XI—XV вв., четыре выпуска «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“» (составитель В. Л. Виноградова, М.— Л., 1965—1973), небольшие по своему объему и охвату древнерусской лексики «Словарь языка мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII вв.» (составитель Н. А. Цомакион, Красноярск, 1971) и «Частотный словарь русского языка второй половины XVI — начала XVII вв.» А. А. Грузберга (Пермь, 1974) и некоторые другие еще более ограниченные по охвату лексики лексикографические работы, что ни в коей мере не снимало остроты проблемы создания исторических словарей русского языка разных типов, а особенно полного исторического словаря русского языка.

При этом следует учитывать, что огромное количество важных для истории русского языка памятников, хранящихся в библиотеках и архивах нашей страны, стало достоянием науки в советское время (в их числе берестяные новгородские грамоты, новые памятники новгородской, псковской и др. письменности, новые списки летописей, материалы частной переписки, разного рода акты, статейные списки посольств, вести-куранты, «Назиратель» и мн. др.), что значительно продвинулась вперед критика древнерусских текстов, сложилась как наука русская историческая лексикология.

Выход в свет первых четырех [1] выпусков подготавливаемого в Институте русского языка АН СССР «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (отв. редактор член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов, редактор Г. А. Богатова) — необычайно важное событие в культурной жизни нашей страны. Словарь этот крайне необходим не только филологам — историкам языка, диалектологам, исследователям лексики, фразеологии и словообразования современного русского языка, но и специалистам разного профиля, так или иначе соприкасающимся в своей работе с древнерусскими памятниками (историкам, студентам гуманитарных факультетов, юристам, историкам культуры и науки, техники, промыслов и промышленности, сельского хозяйства и мн. др.), и, наконец, широким кругам лиц, интересующихся русской историей и культурой, древнерусской литературой и другими видами русской письменности от ее зарождения до XVII в. включительно.

Достоинства рецензируемого словаря определяются прежде всего той огромной подготовительной работой, которая велась большой группой языковедов и историков, археологов, текстологов на протяжении более чем 50 лет при участии и под руководством таких выдающихся ученых, как А. И. Соболевский, М. Н. Сперанский, Б. А. Ларин и др., и результатом которой явились как картотека древнерусского словаря XI—XVII вв., хранящаяся в Институте русского языка и насчитывающая сейчас полтора миллиона словарных карточек-цитат из расписанных полностью или частично древнерусских текстов XI—XVII вв., словарей, справочников и др. источников [2], так и первый проект большого академического (полного как по объему словника, так и по количеству цитат-иллюстраций) Древнерусского словаря [3] и его пробные наборы. Первый том задуманного Б. А. Ларина и коллективом авторов Древнерусского словаря (буквы *А* — *благонько*) был подготовлен и отредактирован в 1949 г., но, к сожалению, публикация его не состоялась, а дальнейшая работа над этим словарем была прервана.

«Словарь русского языка XI—XVII вв.» — новое важное, крайне необходимое для современной науки лексикографическое предприятие, базирующееся на картотеке Древнерусского словаря XI—XVII вв. (в дальнейшем — Картотека), которая пополнилась и пополняется лексическими материалами, извлеченны-

[1] С четвертым выпуском Словаря рецензенты смогли ознакомиться в корректуре, за что выражают благодарность сотрудникам издательства «Наука».

[2] Не останавливаемся на источниках Словаря и принципах выборки лексического материала, описанных в ряде публикаций, см., например: Б. А. Ларин, Проект Древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники), М.— Л., 1936; О. И. Смирнова, Картотека Древнерусского словаря (ДРС), «Лингвистические источники. Фонды Института русского языка АН СССР», М., 1967; Г. А. Богатова, История слова и русская историческая лексикография, «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г. Москва», 3 — Теория и практика исторической лексикографии, М., 1975.

[3] «...мы пришли к замыслу научной работы комплексного характера, выполняемой коллективом ученых разных специальностей, но строго подчиненной единому заданию подлинно-научного исторического словаря... В... синтезе узко-филологического словаря с историко-терминологическим и со словарем культурных реалий мы видим новый этап в области исторической лексикографии...» (Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 7).

ми из новых публикаций письменных памятников древней и средневековой Руси, и задуманное «как общедоступное справочное пособие при чтении памятников русской письменности XI—XVII вв.» (Введение, § 2). Как таковое его и следует рассматривать и оценивать.

Хронологические рамки Словаря дают возможность представить лексический фонд нескольких этапов истории русского языка: древнейшего, периода восточнославянского языкового единства, т. е. той исходной базы, на основе которой развились три самостоятельных восточнославянских языка (поэтому Словарь имеет существенное значение не только для русистики, но и для лексикологического изучения украинского и белорусского языков): значительно расширяет Словарь наши представления о лексическом фонде русского языка XIV — первой половины XVI в., эпохи образования языка великорусской народности, и второй половины XVI—XVII в., времени, когда начинается формирование национального русского языка и литературного языка на национальной основе.

Насколько богаче и полнее словник Словаря в сравнении с «Материалами» И. И. Срезневского, можно судить на основании четырех опубликованных выпусков. В них представлено 13 933 словарные статьи на буквы *А* — *Д* и более 30 000 цитат, иллюстрирующих значения слов, а три тома и Дополнения «Материалов» И. И. Срезневского содержат 39 000 словарных статей (и около 120 000 цитат-иллюстраций). Можно предполагать, что в полный объем Словаря войдет 85—100 тысяч словарных статей и не менее 250—300 тысяч цитат-иллюстраций. Сопоставление небольшого отрезка (*Б* — *баяти*) «Материалов» И. И. Срезневского и «Словаря русского языка XI—XVII вв.» дало следующие результаты: в «Материалах» в этом отрезке 101 слово в том числе 11 в Дополнениях, в Словаре — 335 слов, из которых 83 представлены в «Материалах» И. И. Срезневского (не вошли в Словарь собственные имена, слова, не подтвержденные цитатами, и два книжных сложных слова: *баснословивый*, *баснoумышление*). Таким образом словник этого отрезка Словаря больше на 252 слова, из которых не менее 11 (*база*, *базарецъ*, *базаряне*, *бальство*, *банъ*, *банникъ*[1] и др.) представлены уже в памятниках XI—XV вв. В отрезке *вид* — *винствовати* «Материалы» И. И. Срезневского дают 58 слов, из которых в Словарь XI—XVII вв. не включены пять (*видомо*, *видомый*, *видотвореный*, *вижа*, *виникъ*), в Словаре этот отрезок насчитывает 114 слов.

В Словарь входит «почти весь лексико-фразеологический материал, зарегистрированный в Картотеке», исключаются: «а) собственные имена (личные и географические); б) названия племен и народностей, а также образованные от них прилагательные; в) названия жителей по географическому названию местности» (Введение, § 6). Исключение из словника Словаря отдельных разрядов лексики в связи со стремлением к его компактности вполне понятно. Но вместе с тем многие названия племен и народностей, как и образованные от них прилагательные, непонятны массовому читателю древнерусских памятников, значения этих слов не могут быть уяснены из контекстов. Их отсутствие приведет к тому, что пользующиеся Словарем будут обращаться к другим справочным, далеко не общедоступным изданиям. Не случайно составители и редакторы Словаря вынуждены отступать от принятого ими в отношении этой категории слов принципа, см., например: «*Азямский* (*Озямский*, *прил.* 1. Персидский... *По-азямски...*» (1, 25); «*Веницейский* (*Венецейский*), *прил.* Венецианский (о сорте чего-*л.* по месту производства, происхождения)...» (2, 75); «*Венецкий* (*Венедцкий*), *прил.* То же, что *веницейский*» (2, 74) и др. Но обозначать предмет, товар по месту их производства, изготовления, происхождения могли и прилагательные *амстрадамский*, *анбурский*, *англинский* (*аглинский*), ...*шкотский* и мн. др. (*аглинское сукно лундыш*; *пистоль*, *замок шкотцкий* и т. п.). Поэтому издание специального тома, который содержал бы имеющиеся в Картотеке и исключенные из основного корпуса Словаря разряды лексики [особенно указанные в пунктах б) и в) § 6 Введения], представляется совершенно необходимым.

Широта словника Словаря проявляется и в том, что в нем регистрируются как слова общего употребления, так и лексика книжная, принадлежащая литературе церковной и сочинениям высокого стиля, а также слова обиходно-разговорного характера и диалектные, отраженные некоторыми источниками обиходно-делового характера. Это позволит отчетливо проследить соотношение различных жанрово-стилевых пластов в литературно-письменной речи разных периодов истории русского языка, оценить роль того или иного лексического пласта в процессе формирования русского национального литературного языка. Полно представлены в Словаре лексико-фразеологические средства, обслуживавшие разные сферы жизни русского общества с XI по XVII в.: общественно-социальные, торгово-денежные, правовые, судебно-юридические отношения, производительную деятельность, культуру и быт.

Полно раскрывает Словарь контакты русского языка с другими языками как в древнейшую эпоху, так и в средневековье. Здесь слова, усвоенные русским языком из греческого и латыни, тюркских, угро-финских, германских, романских и других языков. Желательно было бы во всех случаях, когда мы имеем дело

с заимствованием, указывать соответствующее слово того или иного языка-источника, как это делают толковые словари современного русского языка; ср. в Словаре слова *бадавѣя*, *барва*, *барела*, *батъ* и др., где такие параллели приводятся.

Достоинством Словаря является показ производной лексики: относительных прилагательных, уменьшительно-ласкательных и уничижительных отыменных образований, бессуффиксных, приставочных и суффиксальных производных от одной глагольной основы, выражающих видовые, залоговые и лексические оттенки значения. Приведем лишь один (далеко не полный, так как в последующих выпусках будут его новые элементы) словообразовательный ряд с корнем *гон-/гн-*: *гнание*, *гнати*, *гнатися*, *гонъ*, *гоня*, *гонение*, *гонецъ* [1], *гонецъ* [2], *гонецкий*, *гонивать*, *гонитва*, *гонитель*, *гонительствовать*, *гонити*, *гонительный*, *гонительский*, *гонительство*, *гонитися*, *гонка*, *гонный*, *гончий*, *гончикъ*, *гонщикъ*, *гоньба*, *гоняти*, *вгонити*, *вгонное*, *вгоняти*, *вогнати*, *возгнати*, *возгонити*, *выганивати*, *выгнанецъ*, *выгнание*, *выгнати*, *выгонъ*, *выгонецъ*, *выгонивати*, *выгонити*, *выгонка*, *выгонный*, *выгоняти* (42 слова). Таким образом, Словарь дает огромный материал для изучения закономерностей русского исторического словообразования

«Словарь почти целиком строится на материалах Картотеки,— указывается во Введении (§ 2),— и многие особенности словаря объясняются состоянием Картотеки». Лексико-фразеологическое богатство Картотеки, обилие цитатного материала, представленного в ней, тем не менее не означает, что Картотека и Словарь исчерпывающе инвентаризируют лексику и фразеологию русской письменности XI—XVII вв. Знакомство с вышедшими выпусками Словаря показывает, что авторский коллектив пополняет Картотеку лексикой из памятников, опубликованных в последнее время («Грамотки XVII — начала XVIII вв.», «Назиратель», «Успенский сборник XII—XIII вв.» и др.). Но многие памятники, хранящиеся в центральных и областных архивах, остаются неиспользованными. Составление полного словника русской письменности XI—XVII вв.—дело будущего, дело чести всех филологов-русистов нашей страны, и его осуществлению будет содействовать выход рецензируемого Словаря.

Обширны и разнообразны по своему характеру, жанрово-стилевой принадлежности и сфере употребления устойчивые словосочетания разных типов (двучленные термины, стилистические штампы, фразеологизмы разного рода, предложно-падежные конструкции наречного характера и т. д.), включенные в Словарь, см., например: *На бѣгъ* (*бѣги*) *обратитися* (*устремитися* и т. п.); *бѣгу ятися*; *Въ бѣгу*, *въ бѣгахъ* (*жити*, *быти*); *Изъ бѣговъ* (*сысканъ*, *привезенъ*, *явился* и т. п.); *Бѣги небесные*; *На бѣгство* (*въ бѣгство*) *устремитися*; *Бѣда исходная*; *Бѣда огненная*; *Безъ языка*; *Безъ мала* (*весь*); *Безъ остатка* (*останка*) (*весь*); *Беречи что глаза своего*; *Бѣшенымъ обычаемъ*; *Битися кулаки* (*кулачки*); *Битися въ персяхъ*; *Матерой берегъ*; *Береговая служба*; *Блескъ прокажения*; *Ближнѣе рещи*; *Вскладати порты чернечьскыя*; *Выимати очи* (*зракъ*); *Не выимуючи*; *На выимокъ* (*выемокъ*); *На вылечкѣ*; *Дати горло* и мн. др. «Материалы» И. И. Срезневского в сравнении со Словарем несоизмеримо беднее в этом отношении. Так, например, в статье на глагол *бити* у И. И. Срезневского не находим: *бити падучею болѣзнию*; *бити въ перси* (*въ лицо*, *по ланитамъ*); *бити на правежѣ*; *бити гусли* (в «Материалах»: *ударити въ гусли* как словосочетание не выделено); *бити зарю*; *бити на кого-н.*; *бити отъ кого*, *чего*; *бити езъ* (в «Материалах» приводится в цитатном материале на слово *езъ*); *бити печь*; *бити сакму*; *бити по рукам*; *бити челомъ въ службу*. Таким образом, Словарь даст большой материал для изучения русской фразеологии в историческом аспекте.

Вместе с тем можно рекомендовать авторскому коллективу продолжать совершенствовать организацию и размещение фразеологического материала. В некоторых случаях устойчивые словосочетания, сложившиеся по одной и той же модели, помещаются в разных словарных статьях. В словарной статье на слово *Ведро* приводятся словосочетания *ведро полуаршинное*, *ведро осмивершковое*; *ведро государево*, *казенное*, *дворцовое*, *въ дворцовую мѣру*; *ведро смоленское*, *новгородское*, а далее следуют: *Ведро отдаточное* см. *отдаточный*, *Ведро рядовое* см. *рядовой*. Устойчивые словосочетания *безъ языка* «не оставив завещания», *безъ великого княжения* «не получив права, ярлыка на великое княжение», *безъ иконы*, *безъ мала* (*весь*) «почти», *безъ остатка* (*останка*) «целиком, полностью» помещены в словарной статье на предлог *безъ*. Отметим также случаи, когда устойчивые словосочетания, представленные в цитатном материале, не выделяются: в словарной статье на слово *Варенье* не выделено *соляное варенье* «изготовление, выпарка соли», но ср. здесь же *варенье фитильное* «изготовление фитилей-запалов», *варенье шелковое* «кипячение шелковичных коконов»; не выделено *вѣнчатися около вербы* «состоять в супружеских отношениях без церковного брака», см. *верба*.

Вопрос об орфографии заголовочного слова в Словаре, об отражении в словарной статье произносительных и морфологических вариантов слов детально рассмотрен во Введении, §§ 12—26. В качестве основного принято написание слова

«в конце охватываемого словарем периода» (Введение, § 13), т. е. в XVI—XVII вв., что несомненно целесообразно и удобно для читателя [4]. Выдвинутые во Введении правила подачи вариантных написаний применены в Словаре достаточно последовательно, но тем не менее есть случаи, когда проблема тождества слова решается по-разному. Желательно было бы более решительно объединять в одной словарной статье разные произносительные и орфографические варианты слов при наличии тождества значения. Так в разных словарных статьях даны *Видокъ* и *Видакъ* «очевидец», *Балберъ* (*балверъ*) и *Барберъ* «лекарь, цирюльник», *Басурманъ* и *Бусурманъ* «мусульманин». Встречаются также примеры, где в заголовке словарной статьи соединены словообразовательные параллели, которые, согласно Введению, должны разрабатываться в отдельных словарных статьях: *Берестяникъ* (*берестеникъ*), *Гобинный* и *гобненый*.

Объяснение значений слов составляет основную задачу любого словаря. В словаре древнерусского языка точное истолкование семантики приобретает особую важность, так как словник содержит большое количество слов и значений слов, неизвестных читателю наших дней.

Сопоставление словарных статей Словаря с соответствующими данными «Материалов» И. И. Срезневского показывает, что, как правило, семантическая характеристика слова в Словаре значительно углублена. Ср. словарные статьи на *Баран* — разграничены значения «самец овцы» (с оттенками значения «баранья туша», «выделанная баранья кожа») и «единица натурального обложения», вновь выделено значение «стенобитное орудие»; *Видѣти* — разграничены значения «воспринимать зрением», «наблюдать что-л.», «чувствовать, испытывать», вновь выделено значение «предвидеть, предчувствовать» и употребление в значении вводного слова «как видно»; в слове *Вид* разграничены два омонима: *Вид* [1] «способность видеть», «внешний вид, облик» и др. значения и *Вид* [2] «вид как единица систематики», см. также слова *Баба* [1], *Басма*, *Башня*, *Виноватый*, *Виноград* и мн. др.

Авторский коллектив и редакторы Словаря провели большую и сложную работу по комментированию значений древнерусских слов. Глубоко понимая всю трудность и ответственность этой работы, позволим себе сделать замечания о некоторых словах. Слово *господа* определено как «собир. к *господин*», однако в памятниках новгородских и псковских, которые цитируются в статье, оно имело специфические оттенки значения: «почетный титул новгородского боярства» («*Цѣ*ловал есми крестъ... не на государя своего великого Новагорода, ни на васъ, на свою *господу* и братию». Соф. вр. II, 174) и «(в Пскове) судебная коллегия, состоявшая из князя, двух степенных посадников и сотских» («А кто предъ *господою* ударитъ на судѣ своего истьца...» Псков. судн. гр.). Словосочетания *головной тать* и *головная татьба*, помещенные под словом *головной*, определены предположительно, однако значение этих выражений таково: первое означает «тот, кто совершил кражу с убийством», второе — «кража с убийством» [5].

В отдельных случаях значение древнерусского слова определено авторами Словаря, как это показывают иллюстрации, неточно, с известной приблизительностью. Наречие *беззазорно* помещено под прилагательным *Беззазорный* «безукоризненный, незаслуживающий порицания» без определения, но см. пример: «Кучюмъ бѣ вѣры бусурманские... пребываше бѣззаконно, яко имети ему 100 жѣнъ и юношъ, тожь дѣвицъ, такожь и протчимъ агаряномъ бѣззазорно [„без стыда". — *С. В.*, *О. М.*], елико числомъ хощутъ». Наречие *голомя* определяется как «много; очень», но в приведенных примерах оно скорее означает «довольно долго»: «Да отшедъ говорили межъ себя *голомя* и пришедъ били челомъ Олексѣю...».

Трудно согласиться с толкованием производных слов путем общего отсылочного определения и подачей оправдательных примеров без распределения их по значениям производящего слова. Например: *Виноградный* прил. к *виноградъ* (в знач. 1, 2), *Виноградие* собир. *к виноградъ* (в знач. 2, 3, 4). В подобных случаях хотелось бы, чтобы примеры на производное слово были распределены по соответствующим номерам значений производящего слова. Это сделало бы семантическую разработку производного слова более точной и помогло бы избежать пропусков значений. Сомнительные определения встречаются и при описании семантики устойчивых словосочетаний: фразеологизм *безъ вѣка* (*быти*), определенный как «быть недолговечным», может иметь значение «получить увечье, стать инвалидом»: «А били [дворянъ], сказываютъ, на смерть; но милостию пречистыя всѣ, далъ богъ, живы, а впрокъ два и три безъ вѣка».

Сопоставляя некоторые словарные статьи многозначных слов в Словаре с нашими выборками из Картотеки и из источников, изданных сектором лингвистического источниковедения Института русского языка АН СССР, а также цитатным материалом Словаря, приходится констатировать, что иногда составители не выделяют некоторых, обычных в

[4] Ср.: Б. А. Ларин, Проект..., стр. 45.

[5] Ср.: «Памятники русского права», 3, М., 1955, стр. 359.

письменности XVI—XVII вв. (и более раннего периода) значений. Так, в словарной статье глагола *Бить* не отмечены оттенки второго значения: «наказывать ударами чего-н.» («Не *бѣй* мужика кнутом, а *бѣй* ево рублем». Посл. Сим., 128, 1791, ср. также обычные в то время названия форм наказаний: *бити батоги, кнутом* или *кнутьем, плетьми*); «причинять, наносить ущерб» («Сама ся раба *бьетъ*, что не чисто жнет». Посл. Сим., 140, 2156). Значение «стрелять из орудий» должно быть более широко сформулировано, что демонстрируют цитаты-иллюстрации, приведенные в Словаре («изъ пушекъ и *из пищалей* по городу *били*», «ис пушекъ *бити* и *из мѣлъкаго оружья*», ср. также: «Татары в них *бьют* со крутои горы, *стрелы летят*, какъ части дожди». Сб. Кирши Дан., 345, XVII в.). Для глагола *Дать* следовало бы выделить оттенки первого значения: «написав, выдать, вручить как удостоверение, свидетельство чего-н. (в сочет. с названием акта)» — «И... *послушная владѣлная грамота* ...ему Александру епискупу *дана*» (см. *Владѣльный*); «передать под охрану кому-н., отдать на чье-н. поручительство (как охранная мера)», ср. обычные устойчивые сочетания *дать за пристава, на поруки, дать беречь кому-н., дать держать кому-н.*; «возвратить, вернуть»— «А заидутъ, ли ся куны до того же года, то *дадять* ему куны въ треть». Р. Прав. Яр.— Срезневский, 1, 632, ср. в памятниках XVII в.: «И как я... тѣ ему десять рублевъ *отдалъ*, и онъ, Елизарей, взявъ денги, а того закладу мне не *далъ*». АЮБ, 1, № 104, 657, 1647 и др.; глагол *дать* использовался также в значениях «одолжить, предоставить в долг», «заплатить, уплатить, выплатить» и оттенке этого последнего значения «уплатить какую-н. цену за что-н.»— *дать за что* или *от чего*, см. в Словаре под словом *Балберъ* (*Балверъ*): «И язъ отъ тѣхъ ранъ лежалъ у балверя шесть недѣль, *далъ отъ лечьбы* 4 рубля».

Строгое ограничение объема Словаря привело к необходимости сократить количество цитат в нем до двух на каждое значение, но и при этом условии редакторы и составители Словаря стремятся «дать представление о хронологических рамках употребления слова: первая цитата должна быть по возможности ранней, вторая — поздней» (Введение, § 28). Однако приходится признать, что сведения о времени употребления слова в древнерусской письменности, содержащиеся в иллюстративном материале, для ряда слов, издавна бытующих в русском языке, оказываются весьма приблизительными. Глагол *Видати* в основном значении «то же, что видѣти (в знач. 1) «представлен примерами XVI—XVII вв., тогда как И. И. Срезневский отмечает это значение в церковных памятниках XI в. и Молении Даниила Заточника. *Виноватый* в третьем значении «признанный виновным» документируется памятниками конца XVII в., но здесь же субстантивированное прилагательное представлено уже примером из Судебника Ивана III (XV в.), сверка с «Материалами» И. И. Срезневского показывает, что слово в указанном значении употреблялось в Русской Правде. *Виноградъ* в значении «растение» отмечено в Словаре только в памятнике XVII в., но в «Материалах» И. И. Срезневского есть примеры употребления этого слова в XI в. (Изб. 1073 г.). *Баснь* и *Басня* «сказка, вымысел» иллюстрируется примером из Жития Стефана Пермского (XV—XVI вв. ~ XIV в.), но уже просмотр производных образований, отмеченных Словарем, показывает, что слово было известно значительно раньше: *Баснозиждецъ* — Хрон. Г. Амарт. XIII—XIV вв. ~ XI в., в том же источнике *Баснословецъ*, *Баснь слути*. У И. И. Срезневского *Баснь* «сказка» зарегистрировано уже в Изборнике 1073 г.

Возникает более общий вопрос — о распределении иллюстративного материала Словаря по различным историческим периодам. Рассмотрение отрезка *Вид — Винствовати*, содержащего 114 слов, показывает, что всего в нем отражено 186 значений, из которых XI—XIII веками датируются 56, XIV—XV веками — 25, а XVI—XVII веками — 105 значений (более 50%). Преобладание цитат из памятников XVI—XVII вв. легко объяснить тем, что «Картотека ДРС содержит богатое собрание лексических материалов периода XV—XVII вв., практически впервые отражаемых словарем» (Введение, § 5). Сознавая, что Картотека ДРС по замыслу ее организаторов в меньшей степени отражает лексику старшего периода развития древнерусского языка, составители решили дополнить ее включением в Словарь лексических материалов, собранных в словаре И. И. Срезневского. Однако эта часть работы, как показывают приведенные выше примеры, пока выполняется авторами недостаточно последовательно. Кстати, заметим, что цитаты, заимствованные у И. И. Срезневского, не всегда выделяются звездочкой, как это оговорено во Введении (§ 26), ср. *Балование* (Кирил. Иерус.), *Баралище* (Златостр.), *Басненный* (Козма Инд.), *Батя* (Ипат. лет.), *Баяти* (Изб. Св.), *Видимо* (Кир. Тур.). Неудачным приемом является показ в Словаре цитат, представляющих лишь фрагмент предложения. Ср. под *Глаголание* —«И движенье и ~ гланье». Панд. Ант., 148 (пример И. И. Срезневского); «В пѣтии и въ глаголании и чтении». Нил. Сор. Устав, 59.

Ограниченный объем журнальной рецензии не позволяет остановиться на ряде вопросов, связанных со словарной статьей Словаря, таких как грамматиче-

ская характеристика слова, подача и интерпретация цитат из церковно-книжных памятников старшего периода и некот. др. Но эти проблемы могут составить содержание других рецензий.

В заключение отметим, что «Словарь русского языка XI—XVII вв.» выпускается небольшим тиражом, не обеспечивающим потребности в нем, причем тираж Словаря не стабильный, а колеблется от выпуска к выпуску: 1 вып. — 14 000, 2 — 16 500, 3 — 15 400. Словарь — издание, рассчитанное на длительное повседневное использование, поэтому он должен печататься на бумаге повышенного качества.

«Словарь русского языка XI—XVII вв.»— интересная, полезная и нужная работа. Он содержит ценный материал, который может быть использован для различных лингвистических исследований: изучения лексико-фразеологического состава русского языка эпохи восточнославянского языкового единства, периода феодальной раздробленности, времени формирования и развития языка великорусской народности и, наконец, в начальный этап формирования национального русского языка; структурно-семантических связей слов в каждый из рассмотренных периодов (синонимии, антонимии и т. д.); изучения словообразовательной системы, контактов с родственными и неродственными языками, жанрово-стилевых особенностей литературно-письменной речи XI—XVII вв. и мн. др. Словарь является также крайне необходимым справочным пособием для широкого круга специалистов, студентов гуманитарных вузов, для всех любителей и ценителей русского слова. Выход Словаря в полном его объеме позволит нам полностью установить и оценить все то, что унаследовал от русского языка древнейшего периода и средневековья современный русский язык.

Знакомство с вышедшими выпусками «Словаря русского языка XI—XVII вв.» показывает, что авторский коллектив от выпуска к выпуску совершенствует методику и практику выполняемого впервые лексикографического описания огромного лексико-фразеологического материала, сосредоточенного в Картотеке (см. например, глубоко продуманные и тщательно выполненные словарные статьи слов с корнем *волоч-*, *вор-*, *вступ-*, *выбир-/выбр-*, *гон-*, а также *гораздо*, *готовый* и мн. др.). Коллектив Словаря выполняет большую, трудоемкую, сложную и ответственную работу, и следует пожелать ему дальнейших творческих успехов.

Волков С. С., Мжельская О. С.

A. H. Kuipers. A Dictionary of Proto-Circassian Roots. — Lisse/Netherlands, The Peter de Ridder Press, 1975. 93 стр.

Новая работа известного голландского кавказоведа А. Койперса посвящена реконструкции проточеркесского (общеадыгского) корнеслова. Словарю предпослано краткое введение, где дается таблица проточеркесских фонем, в очень сжатой форме рассматриваются основные фонетические изменения, имевшие место после распада проточеркесского языка, т. е. в период самостоятельного существования адыгских (черкесских) языков, а также приводится список проточеркесских сегментов. Заметим, что таблица фонем воспроизводит список проточеркесских фонем, приведенный в более ранней работе того же автора [1]. Однако в последнюю таблицу проточеркесских фонем А. Койперс внес и некоторые изменения: из нее исключены ларингальные смычные ', '° и твердая шипящая аффриката ǯ.

Словарь А. Койперса учитывает достижения адыговедения как в нашей стране, так и за рубежом. А. Койперс основывается на положении Г. В. Рогава, согласно которому преруптивные (неаспирированные, по терминологии А. Койперса) согласные западных адыгейских диалектов являются архаичными, т. е. исходными для смычных других черкесских (адыгских) диалектов. То же самое следует сказать об историческом взаимоотношении одного ряда адыгских аффрикат и кабардинских спирантов. В этом вопросе А. Койперс стоит на точке зрения Г. В. Рогава, установившего исходность адыгейских шипящих аффрикат и вторичность кабардинских спирантов. В то же время А. Койперс выдвигает ряд новых положений, касающихся реконструкции проточеркесских форм. Так, А. Койперс считает, что глухие аспирированные *ph*, *th*, *ch*, *kh*° и др., представленные в бжедугском и шапсугском диалектах адыгейского языка, восходят к проточеркесскому языку. Мнение о том, что глухие согласные *p*, *t*, *c*, *k*°... темиргоевского, абадзехского и кабардинских диалектов возводятся к бжедугско-шапсугским аспирированным *ph*, *th*, *ch*, *kh*°..-, одновременно и независимо друг от друга

[1] A. H. Kuipers, Proto-Circasssian Phonology: An Essay in Reconstruction, «Studia Caucasica», I, The Hague, 1963, стр. 56—90.

было высказано А. Койперсом и Ю. А. Тхаркахо в 1963 [2]. Заслуживает внимания положение голландского лингвиста об исходности кабардинского начального слога с ларингальным *h* (ср. каб. *har* «он», *hada* «отец», *hana* «мать» и др.). А. Койперс относит к проточеркесским неаспирированным (абруптивным) согласным шипящие спиранты: *š*:, *š*: ', ср. приведенные в словаре проточеркесские формы **š* : *ə* «мерить», **š* : *k°a* «охотник», **λaš* : *ə* «сильный», **š* ' : *a* «продавать», **č'* : *aš* ' : *ə* «ночь», **g°aš* ' : *a* «княгиня».

Исследование А. Койперса строится на материале кабардинского языка и бжедугского диалекта адыгейского языка. *В этой связи автор словаря пишет*: «Для реконструкции в основном достаточно иметь бжедугские и кабардинские формы» (стр. 3).

В разбираемом словаре предпринимается также попытка определить список проточеркесских сегментов с бжедугско-кабардинскими соответствиями. При этом под проточеркесскими сегментами понимаются как одноконсонантные, так и двух- и трехконсонантные фонетические единицы типа *ps*, *px*, *st*, *tx*, *šx*, *pst*, *psk''*, *stx*, *stx°* и др. В список проточеркесских сегментов вошли 130 фонетических единиц.

В целом словарь А. Койперса, включающий большое число общеадыгских корней, представляет несомненный интерес для исследования общеадыгской лексики. Материал, представленный в словаре, также способствует решению вопроса об отношении адыгского корнеслова к общезападнокавказскому лексическому фонду. Наряду со списком проточеркесских корней словарь содержит целый ряд ценных и интересных наблюдений над морфологическим и этимологическим строением отдельных лексем. Ср., например, членение проточерк. **čx°a* «уздечка» на *č^h^ə* «лошадь», **x°a* «сухожилие, связка» (стр. 7) и др.

Вместе с тем исследование А. Койперса содержит некоторые спорные положения. Требует более основательной аргументации положение о первичности бжедугских глухих аспирированных *ph*, *th*, *ch*, *kh*, *čh'*, *čh*, *qh*, *qh°*, *šh*, *šh'* и вторичности соответствующих глухих *p*, *t*, *c*... в абадзехском, темиргоевском и кабардинских диалектах. Трудности заключаются в том, что с рассматриваемой точки зрения абадзехский, темиргоевский и *кабардинские диалекты объединяются с* абхазским, абазинским и убыхским языками. Поэтому принятие бжедугских глухих *ph*, *th*, *ch*... как исходных означает принятие этого положения и в отношении абхазского, абазинского и убыхского материала. Однако возможность подобной трансформации глухих *ph*, *th*, *ch*... во всех западнокавказских языках и диалектах, за исключением бжедугского и шапсугского диалектов, представляется маловероятной. Во всяком случае, положение об исходности *ph*, *th*, *ch*... нуждается в обосновании.

В список проточеркесских корней А. Койперс включает не только корневые морфемы, но также значительное число сложных и аффиксальных основ. Как отмечает сам автор во введении к словарю, членимые основы «содержат уникальные компоненты, имеют непредсказуемые значения, демонстрируют употребление связанных форм и т. д.» (стр. 3). Не вызывают возражения случаи, когда А. Койперс включает в число проточеркесских корней опрощенные образования типа *max°a* «день», *maça* «мало» и др., первый компонент которых (*ma-*) отошел к корню не позже проточеркесского хронологического периода. Второй компонент подобных образований лишь этимологически соотносится с корневыми морфемами. Ср. каб. *x°ə* «белый; светлый», адыг. *ça* «молодой, новый». Однако не все единицы, вошедшие в список проточеркесских корней, обладают структурными признаками корневой морфемы. Многие из них не содержат ни уникальных, ни десемантизированных, ни связанных морфем. К ним относятся, например, *nap^h^a* «лицо», *napa* «веко», *p^h^aPgə* «спинка носа», *shac^h^ə* «волос», *c^h^ə p^h^a* «волосок», *λap^h^ça* «голенище», *λaq*:°*a* «нога», *λag°ə* «подошва ноги», *λəntx°a* «артерия», *q'abla* «рука, предплечье», *q'ap^h^ça* «запястье», *q'ag°*(*a*) «ладонь», *š*:*ak°a* «охотник», *λ'ək°a* «вестник», *lak°a* «маляр», *g°ak°a* «приятный», *p^h^ač^h'^a* «предводитель», *q'ax°a* «пастух», *č^h^ə Pzə* «кобыла» [3], *č^h^ə x°ə* «конь», *sampa* «ножны», *pč^h'^ap^h^λə* «сумерки», *pxaxə* «пила», *psəλa* «фляжка», *p^h^aça^h^a* «возле; впереди», *pš*:'*əλ'ə* «слуга», *pš*:'*əq*:°*a* «брат мужа», *pš*:*əpx°ə* «сестра мужа», *psəǯa* «наводнение», *p^h^ax°ə* «белоносый» (о животных), *λabza* «метка на лапах домашних птиц», *Pğaçx°a* «ястреб», *Pğag°ə* «грудинка», (*P*)*ğə Pza* «плач», *Pğeça* «горная вершина» и др. Нетрудно заметить, что все вышеприведенные основы (а число их легко можно увеличить) являются двуморфемными. Эти основы *по своему морфологическому* строению весьма прозрачны, причем они морфологически членимы не только на проточеркесском уровне, но — что главное — и

[2] A. H. Kuipers, указ. соч.; Ю. А. Тхаркахо, Особенности чемгуйского диалекта адыгейского языка. «Уч. зап. Адыг. НИИ», Серия филологическая, II, Майкоп, 1963, стр. 33.

[3] В транскрипции А. Койперса *P* обозначает звонкий лабиальный *b* в консонантных группах типа *bz*, *bž*, *bǯ'*, *bğ*, *bl* и др.

в современных адыгских (черкесских) языках.

Разбираемые основы образованы способом сложения, причем каждая из них состоит из двух корневых морфем, обнаруживающих между собой достаточно четкие семантические связи. В данном случае не может быть речи о процессах деэтимологизации ранее членимых основ, что необходимо для отнесения их к корневым морфемам, точнее — к опрощенным образованиям. Как на общеадыгском уровне, так и в современных адыгских языках все основы рассматриваемого типа не утратили этимологической мотивированности, являясь обычными сложными основами, образованными по модели «корень + корень».

Другая большая группа основ, включенных А. Койперсом в список проточеркесских корней, представляет собой производные формы, образованные с помощью различных основообразующих аффиксов. К ним относятся: *phak*:°*a* «тупой, неострый», λ*ak*: °*a* «низкий», *c*:*ak*: °*a* «неострый»; λ*apca* «босой», *ṣhapca* «без головного убора», *p*ʰ*apca* «острый», *Pzaga* «злой», λ*aga* «высокий», *P*λ*əž'ə* «красный», *x*°*əž'ə* «белый», *ǧ*°*až'ə* «желтый», λ*at*ʰ*a*- «летать», *h*°*at*ʰ*a*- «продвигаться», *dət*ʰ*a*-«стегать», *zala* «один вершок», *t'q̇*•*ala* «два вершка», *təja* «дикая яблоня» и др.

В словарь проточеркесских корней включены также производные образования типа «аффикс + корень + аффикс» (ср. *wəPzət*ʰ*a*- «резать», *wəp̀čat*ʰ*a*- «резать; рубить»), субстантивированные (производные) формы (ср. *stəra* «горячий», *səra* «горький»).

Из приведенного материала видно, что под понятие проточеркесского корня у А. Койперса подводится как непроизводные, нечленимые основы (корневые морфемы), так и производные, членимые основы (сложные и аффиксальные образования). Такое расширительное толкование проточеркесского корня, естественно, делает определение структурных особенностей корневой морфемы несколько расплывчатым и неясным.

В целом рецензируемое исследование, хотя и не лишено спорных и недостаточно обоснованных положений, является, несомненно, ценным и полезным для решения вопросов строения проточеркесского языка, его отношения к другим проязыковым состояниям западнокавказских языков.

Кумахов М. А.

В. Г. Гак. Русский язык в сопоставлении с французским.— М., «Русский язык», 1975. 278 стр.

Надо всячески приветствовать появление этой нужной и интересной книги. Хотя работа В. Г. Гака вышла «в качестве учебного пособия для студентов-иностранцев», ее значение далеко выходит за пределы учебника. Книга приобретает теоретическую ценность как тщательное сопоставительное изучение двух языков. Наряду с книгой А. И. Смирницкого «Очерки по сопоставительной грамматике русского и английского языков» (2-е изд., М., 1975), рецензируемое исследование — очень вдумчиво выполненная работа, которая сослужит большую службу в пропаганде сопоставительного изучения языков. Необходимо подчеркнуть, что в эпоху, когда внимание к русскому языку стремительно возрастает во всем мире, такого рода разыскания приобретают двоякое значение — и теоретическое, и практическое. Между тем авторов и книг, которые шли бы навстречу подобному интересу, у нас все еще очень мало [1].

В. Г. Гак уже давно зарекомендовал себя не только как лингвист-теоретик, но и как практик, умеющий привлекать теорию для всестороннего осмысления процесса функционирования тех или иных конкретных языков, в данном случае — русского и французского, точнее русского сопоставительно с французским. Как подчеркивает автор, «целью книги является систематическое сопоставление русского и французского языков. . .», причем наибольшее внимание уделяется расхождениям между двумя языками (стр. 3). Это последнее положение хотелось бы особенно подчеркнуть, так как в наше время в разных странах находятся такие лингвисты, которые стремятся выработать универсальную схему, будто бы автоматически приложимую к материалу любого языка. Спору нет: универсальные элементы в разных языках интересны и показательны, но наряду с ними не меньшее внимание должны вызывать и особенности отдельных языков. В противном случае универсальные схемы могут обернуться бумажными схемами, способ-

[1] Можно назвать еще книгу: К. Г. Крушельницкая, Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков, М., 1961. Из старых работ в свое время прекрасно был выполнен сравнительный русско-французский учебник: P. Boyer et N. Spéranski, Manuel pour l'étude de la langue russe, Paris, 1905.

ными «украшать» страницы публикаций, но неприменимыми в процессе изучения конкретных языков народов мира.

Все это отлично понимает В. Г. Гак, но обо всем этом приходится говорить в нашу эпоху, эпоху острого столкновения различных методов анализа языков, в эпоху, позволяющую отдельным ученым переносить методы осмысления тех или иных искусственных «сигнальных систем» на методы осмысления реальных национальных языков. Между тем — это принципиально различные явления и с подобным различием обязан считаться каждый серьезный исследователь.

Книга В. Г. Гака написана так, что с ее помощью всякий человек, родным языком которого является французский, может изучить русский язык, всякий раз убеждаясь в том, где оба языка «идут» рука об руку и где они расходятся, полностью или частично (а нередко и чуть-чуть расходятся), не совпадая друг с другом. Все эти положения подкрепляются многочисленными, как правило, удачно подобранными примерами и упражнениями, помогающими усвоить материал. Это придает рецензируемому учебнику большую силу наглядности и убедительности.

В тех же случаях, когда с первого взгляда между двумя языками расхождения кажутся незначительными, их обнаружить и на них обратить внимание читателя особенно важно. В противном случае, изучая один язык с позиции другого, обучающиеся всегда будут допускать ошибки. Поэтому роль сознательного осмысления расхождений между двумя языками особенно велика.

Вслед за автором обратим, например, внимание на такой случай. «Нередко существительное в форме одного рода обозначает только лицо, а в форме другого рода — и лицо, и орудие (машину, прибор). Фр. *semeur* „сеятель“ (только лицо), но *semeuse* „лицо женского пола и машина-сеялка“. Русск. *счётчица* (только лицо), но *счётчик* (лицо мужского пола и прибор). Совпадение значений лица и орудия в одном слове в русском языке встречается реже, чем во французском, в связи с чем одному французскому слову может соответствовать два русских: *fraiseuse* „фрезеровщица“ (лицо) и „фрезерный станок“ (машина)». Далее следуют другие примеры (стр. 19). Казалось бы «мелкие расхождения» практически оборачиваются важными расхождениями: не зная подобного правила, говорящий или пишущий всегда может попасть впросак, не понять своего собеседника. Подобные «чуть-чуть не так» играют важнейшую роль при осмыслении расхождений между языками, в особенности между языками, генетически родственными.

Разнообразные несходства и расхождения между двумя языками (в сфере прежде всего грамматики) и анализируются в рецензируемой книге. При этом автор не забывает и о сходстве между языками. Нередко, однако, и в самом сходстве раскрываются различия, определяя те самые «чуть-чуть не так», которые только что отмечались.

Более сложные проблемы возникают при сопоставительном изучении синтаксиса. Здесь автор выделяет собственно синтаксический уровень наряду с уровнями семантическим и логико-коммуникативным (стр. 189). Логико-коммуникативный уровень чаще всего называют актуальным членением предложения. Стремясь полнее сопоставить два языка, В. Г. Гак идет и дальше, сравнивая структуру диалогической речи в русском с аналогичной структурой во французском языке. Эта область еще совсем мало исследована. Желание же автора установить достаточно жесткие схемы диалога в двух языках не всегда представляется мне оправданным.

Поясню свою мысль примером. Хорошо известно, что французский как язык аналитический неохотно опускает сказуемое в предложении, тогда как русский как язык флективный подобное опущение (особенно в диалоге) легко «терпит». Ср. *Où vas-tu, Antoine?* «Ты куда, Антуан?» Это различие бесспорно. Гораздо более спорными оказываются те случаи, когда несходство между двумя языками определяется не столько грамматически, сколько контекстно, ситуативно. Автор сравнивает: «Так это вы и есть Сергей?» *Ah! C'est vous, Sergueï?* Комментарий: «. . . для выражения усиления во французском диалоге используются частицы, восходящие к эмоциональным междометиям, тогда как в русском — к частицам, первым значением которых является выражение следствия, отрицания, подтверждения» (стр. 268). Стремление автора подобные тончайшие различия между двумя языками в области диалога уложить в схему явно наталкивается на препятствие — на конкретный материал. Приведенное французское предложение совсем необязательно всякий раз передавать по-русски с помощью «выражения следствия»: «Так это вы и есть Сергей?» Здесь допустимы самые различные диалогические построения: «Вы, Сергей?», «Это Вы Сергей?» и пр.

Трудность проблемы заключается в том, что в сфере синтаксиса резко возрастает роль контекста, роль актуального (а не чисто грамматического) членения предложения. Поэтому сопоставительные модели двух языков в синтаксисе установить гораздо труднее, чем в морфологии или словообразовании. Сам автор признает, что модус (термин Ш. Балли — отношение говорящего к тому, о чем он говорит) оказывается важнейшим элементом диалогической речи (стр. 269), а он-то в наименьшей степени укладывается в жесткие схемы. Думаю, что обобщение, согласно которому «модальность фран-

цузских реплик выражена более явно, чем русских» (стр. 269), едва ли может быть принято как общая закономерность. Здесь почти все зависит от самих говорящих, от их намерений, от их эмоций, от условий протекания диалога. Поэтому в этой сфере так трудно установить общие схемы различий между сопоставляемыми языками.

И все же материалы, которые приводит автор, и их анализ, если и не всегда бесспорны, то всегда интересны и поучительны. Правда, в отдельных случаях анализ материала несколько осложнен и, на мой взгляд, без достаточных оснований. В учебном пособии такого рода все должно быть как можно более просто изложено. Допустимо упрекнуть автора и в недостаточно ясном отношении к термину «традиционный» (традиционная лингвистика, традиционная грамматика, стр. 61). Сам автор подчеркивает, что в своем изложении он придерживается традиционной классификации грамматических понятий (стр. 61), но читателю остается не до конца ясным, хорошо ли это или плохо. К тому же «традиционная лингвистика» никогда не была единой, как не является единой и «современная лингвистика».

Сравнительно не так давно один из известных западногерманских лингвистов выпустил книгу, которую назвал «очерком новой науки о языке» и которая посвящена внутренним отношениям между сопоставляемыми языками[2]. Едва ли здесь следует говорить о «новой науке о языке» (слишком часто стали «открывать новые науки о языке»). Но в одном отношении этот ученый безусловно прав: наступило время пристального синхронного сопоставления двух или нескольких языков. Подобное сопоставление важно не только теоретически, но и практически, при с о з н а т е л ь н о м освоении иностранного языка с позиции родного языка. Для советских ученых особенное значение приобретает изучение русского языка сопоставительно с самыми разными языками народов мира, в том числе, разумеется, и с различными языками народов нашей страны. Здесь открываются широкие возможности для дальнейших разысканий, весьма важных во всех отношениях. Подобные исследования могут быть самых различных типов: учебники и учебные пособия, анализы отдельных тем и проблем, собрания русских текстов, сопровождаемых комментарием, составленным с позиции другого языка и т. д. и т. п.

Оценивая книгу В. Г. Гака в целом, я еще раз хочу подчеркнуть ее отличные научные и педагогические достоинства: строго продуманное изложение, богатый и разнообразный материал, точный и всесторонний комментарий к текстам и примерам, хорошо составленные упражнения, помогающие практически «закрепить» содержание книги. Рецензируемая книга еще раз обращает наше внимание на всю важность самой проблемы исследования русского языка сопоставительно с другими языками мира. Надо всячески приветствовать инициативу издательства «Русский язык», которое задумало широкую публикацию разысканий подобного характера.

Будагов Р. А.

[2] M. W a n d r u s z k a, Interlinguistik. Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971.

«Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги». — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1974. 384 стр.

Разнообразие языков Советского Союза, высокая степень их изученности создают надежную эмпирическую базу для разработки типологии. Марксистская философия и богатая традиция лингвистической мысли служат для нее прочной теоретической основой. О широком интересе к вопросам типологии свидетельствует целый ряд сборников, монографий и исследований, опубликованных в последнее время в СССР. В таких благоприятных условиях формировалась ленинградская группа типологов. Она шла своим путем, но каждая ее монография широко обсуждалась отечественными и зарубежными лингвистами. Рецензируемая коллективная монография подготовлена в группе структурно-типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР. Ее основная концепция была изложена в брошюре «Категория залога. Материалы конференции» (Л., 1970). Книга была обсуждена на конференции в 1975 г.; к этой конференции была опубликована брошюра «Диатезы и залоги» (Л., 1975). В ней содержатся в основном доклады авторов, уточняющие и разъясняющие некоторые положения.

В книге сочетаются два основных подхода к типологической проблематике: изучение универсалий и основанных на них типов, релевантных для теоретической лингвистики, и лингвистическая характерология, существенная для описания отдельных языков и их оптимального сопоставления. Так сфера типологии

распространяется от отвлеченной теории до прикладного языкознания.

Вопрос о диатезах является одним из центральных разделов типологии и связан с разными типологиями отдельных подсистем языка. Для исследования содержательной проблематики грамматической теории и для изучения индивидуальных языков он существен потому, что касается структур с разными обязательными компонентами предиката и их преобразования.

Книга состоит из вводного теоретического раздела, из статей, основанных на материале 14 языков, и из заключительного раздела, который можно было бы условно назвать «Miscellanea theoretica». Рецензент едва ли нуждается в оправдании, если он позволит себе остановиться лишь на некоторых статьях сборника.

Первая статья вводного раздела «Пассивные конструкции» В. С. Храковского (стр. 5—45) излагает основные вопросы диатез. Она хорошо дополняется и уточняется С. Е. Яхонтовым в статье «Формальное определение залога» (стр. 46—53) и Г. Г. Сильницким в статье «Глагольная валентность и залог» (стр. 54—72). Статья руководителя группы А. А. Холодовича «Miscellanea marginaliaque», наряду с действительно маргинальными вопросами, посвящена центральной проблеме исчисления залогов. В дальнейшем я рассматриваю некоторые вопросы диатез на основе статей теоретического раздела.

При исследовании диатез рассматривается соотношение двух «объектов»: один из них семантического характера, а другой синтаксического [1]. Релевантным для диатез считаются партиципанты, а иногда и атрибуты, ибо и они могут вовлекаться в пассивные преобразования, например, англ. *The bed has been slept in by John* «В этой кровати спал Джон». Другой «объект» составляет синтаксический предикат, имеющий синтаксические переменные: актанты и сирконстанты. Актантами считаются подлежащее и дополнение, а сирконстанты являются обстоятельствами. Однако следует отметить, что вопрос об отношении между типологическими категориями «актант» и «сирконстант» и такими категориями индивидуальных языков, как подлежащее, дополнение и обстоятельство, значительно сложнее, чем это представлено в статье Храковского. Конечно, в его задачу не входило рассмотрение этой сложной проблемы, которая требует и изучения членов предложения в разных языках и в разных грамматиках [2].

В книге проблематика диатезы определяется так: «Условимся называть диатезой соответствие членов предложения партиципантам ситуации. Тогда соответствие членов предложения партиципантам ситуации, фиксируемое в исходной конструкции, можно назвать исходной диатезой. При переходе от исходной конструкции к производной происходит изменение исходной диатезы. Суть изменения заключается в том, что партиципанты обозначаются не теми членами предложения, что в исходной конструкции, или на лексическом уровне не обозначаются вовсе. Диатезу, фиксируемую в производной конструкции, будем называть производной диатезой. Деривационные отношения, связывающие исходную и производную конструкцию, условимся называть залоговыми» (стр. 13). Из цитаты ясно, что́ понимается под термином «диатеза» и как автор модифицировал употребление термина «залог». На мой взгляд, не следовало бы расширять значение термина «залог» и надо было сохранить его в традиционном понимании для обозначения тех диатез, в которых происходит изменение исходной формы предиката. В дальнейшем задание книги суживается: «. . . опишем не все производные залоговые конструкции, а только те из них, в которых нарушено соответствие подлежащее — партиципант X, который обычно является субъектом» (стр. 13). Такое ограничение вполне правомерно, иначе цель исследования не была бы достигнута. Определение диатез оперирует традиционными категориями членов предложения, которые хорошо известны из описаний отдельных языков, но их типологический статус неясен именно из-за их тесной связи с особенностями разных языков (ср., например, эти категории в русском и венгерском). Проблематичной является и конкретизация семантических терминов: при дальнейшем анализе они выступают как агенс, пациенс, адресат и др. Это — универсальные категории, в их понимании наблюдается значительное совпадение мнений, но в деталях наблюдаются и разные толкования. Автор поступил правильно, когда он пользовался ими при анализе конкретных структур, но не привлек их в свои определения.

В. С. Храковский уделил большое внимание разным вопросам образования диатез: формальным средствам, служащим для маркирования глагола и существительных в производных диатезах, соотношению актива и пассива, эргативным конструкциям, синтаксической валент-

[1] С других позиций, но в сходном плане был рассмотрен залог в палеоазиатских языках Г. А. Меновщиковым, В. З. Панфиловым и П. Я. Скориком в сб. «Вопросы грамматики», М.—Л., 1960, стр. 82 и сл.; 105 и сл.; 129 и сл.

[2] Ср. «Члены предложения в языках различных типов. Мещаниновские чтения», Л., 1972.

ности. Все же осталось неясным соотношение диатез из-за отсутствия четкого представления об их исчислении. При чтении книги создается впечатление, что был обобщен богатый фактический материал, но специфика типологического сравнения все же не была достигнута, ведь типология — это не просто обобщение данных отдельных грамматик. Способ исчисления, представленный А. А. Холодовичем и уточненный В. С. Храковским в брошюре «Диатезы и залоги», хорошо известен, он употребляется и в типологии порядка слов. Возьмем, например, простейший случай: из двух семантических переменных (А, В) на синтаксическом уровне получаются цепочки АВ, ВА, а при отсутствии одной или двух переменных, обозначаемых знаком Х— АХ, ВХ, ХХ, где переменные — это «аргументы» предиката. Сдвиг в диатезе обозначает изменение «веса» АВ: *Метростроевцы* (А = 1) *построили метро* (В = = 2); *Я* (А =1) *вспомнил его слова* (В = = 2); ВА: *Метро* (В =1) *построено метростроевцами* (А = 2) и *Его слова* (В = 1) *вспомнились мне* (А = 2).

Краткая статья С. Е. Яхонтова «Формальное определение залога» содержит ряд интересных замечаний и наблюдений о залоге, которые связывают проблематику залога с другими явлениями языковой системы. Существенное дополнение в проблематику диатезы вносит Г. Г. Сильницкий в статье «Глагольная валентность и залог». Он считает, что «семантические отношения между залоговыми разрядами. . . логически выводимы из валентностных соотношений и. . . могут рассматриваться как явления вторичного порядка, сопутствующие тому или иному способу перестановки управляемых глаголом субстантивных основ из одних синтаксических позиций в другие» (стр. 55). Преобразование может быть 1) субстанциальным, при котором соотносительные конструкции различаются по количеству элементов лексического глагольного окружения, 2) реляционным, при котором конструкции отличаются по синтаксическому оформлению, или 3) субстанциально-реляционным, когда происходят оба эти явления (стр. 57). При субстанциальном преобразовании учитываются разные валентностные потенциалы глаголов, при реляционном — различия позиций, а при субстанциально-реляционном — оба фактора. Эти виды преобразований четко проанализированы и проиллюстрированы автором.

В теоретических статьях и в конкретных разработках книги имеется обильный фактический материал, но ясно, что полное изучение и обобщение данной проблематики — дело будущего.

Необходимо, однако, отметить существенный недостаток грамматической типологии вообще, который не мог не отразиться в книге: частные типологии не связаны между собой, не составляют целостную грамматическую *типологию*, в связи с чем связь типологии диатез с другими типологиями систематически не разъяснена. Причину этого следует искать в нынешнем состоянии типологии и грамматической теории.

Было бы, однако, неправильно судить о книге только на основе того, чего в ней не достает. Как было отмечено в начале рецензии, предлагаемый подход оказался плодотворным для исследования индивидуальных языков. Правда, не совсем ясно, на какой основе были выбраны именно те языки, которые подвергаются анализу, и почему не рассматриваются такие важные языки, как русский, английский, немецкий. Все же статьи по анализируемым языкам производят хорошее впечатление и совокупно, и по отдельности, например, в статье Э. Ш. Генюшене «Диатезы и залоги в современном литовском языке» (стр. 203—231) дается сжатый, подробный анализ явлений литовского языка. В ней автор стремился представить свой материал так, чтобы он был доступен и неспециалистам, имеющим основные сведения о литовском, поэтому статьей могут и будут пользоваться слависты при изучении сходных явлений своих языков. Все статьи сборника характеризуются обилием фактического материала, его хорошим знанием, четким и сжатым изложением. Если авторов можно было бы упрекнуть в чем-нибудь, то это скорее в чрезмерной конспективности.

Рецензируемая книга убедительно показывает, что типологические исследования уже теперь вносят ценный вклад в изучение индивидуальных языков. Со временем они могут стать его неотъемлемой частью и будут служить основой сопоставительных исследований.

Дэжё Л.

ЭМИЛЬ БЕНВЕНИСТ

Французская и мировая наука понесла горестную утрату. В ночь на 3 октября 1976 г., после тяжелой болезни, на ряд лет приковавшей его к постели, в Париже в возрасте 74 лет скончался один из крупнейших лингвистов нашего времени профессор Эмиль Бенвенист.

Бенвенист родился в 1902 г. в гор. Халеб (Алеппо) в Сирии. Образование получил в Париже. Очень рано проявил исключительные способности в лингвистической науке. В 20 лет был уже адъюнкт-профессором. В 25 лет — директор (directeur d'études) в Высшей школе (L'École des Hautes Études). Его первая фундаментальная работа «Origines de la formation des noms en indo-européen» вышла в свет в 1935 г., когда автору было 33 года. Тогда же он возглавил кафедру сравнительной грамматики в Collège de France. Его предшественником на этом посту был один из корифеев индоевропейского языкознания Антуан Мейе. Он-то и рекомендовал Бенвениста в качестве своего преемника и не ошибся. Эстафета перешла в надежные руки. Свыше сорока лет Бенвенист неутомимо обогащал лингвистику трудами первостепенного значения и уже при жизни приобрел престиж и авторитет классика. Острый, пытливый и вместе с тем строго логичный ум, обширная эрудиция, феноменальная работоспособность — это сочетание дало богатейший урожай. 18 монографий, 291 статью, 300 рецензий находим мы в списке его работ. Но дело, разумеется, не только в количестве. Всем его работам, большим и малым, присуще качество, которое можно назвать субстанциозностью: в них всегда присутствуют и факты, и идеи.

Какой бы области лингвистики ни коснулся Бенвенист, он оставлял в ней неизгладимый след. А области эти были обширны и разнообразны: общее языкознание (около 50 работ, посвященных самым различным общелингвистическим проблемам), индоевропейское языкознание в полном объеме (хеттский, тохарский, индоиранский, индоарийский, иранский, армянский, греческий, латинский, французский, кельтский, германский, балтийский, славянский). Особенно значителен его вклад в иранистику. Трудно указать такую область иранской филологии, которая не была бы ему обязана какими-нибудь новыми фактами, сопоставлениями, идеями. Все же в первую очередь следует выделить работы, посвященные древнеперсидскому, Авесте, согдийскому, осетинскому: «Grammaire du vieux-perse» (в соавторстве с Мейе), 1931; «Titres et noms propres en iranien ancien», 1966; «Les infinitifs avestiques», 1935; «Essai de grammaire sogdienne, II. Morphologie, syntaxe et glossaire», 1929 (первую часть этой грамматики написал Р. Готьо, безвременно погибший в первую мировую войну); «Textes sogdiens», 1940; «Vessantara Jātaka», 1946; «Etudes sur la langue ossète», 1959.

Здесь не место останавливаться на разборе этих книг. Они получили в свое время компетентную оценку в специальной печати. Хочется только особо подчеркнуть роль Бенвениста в изучении согдийского языка. Памятники на этом интереснейшем среднеиранском языке были найдены только в начале нашего века в Китайском Туркестане. Французская экспедиция Пельо (Pelliot) доставила в Париж богатое собрание согдийских текстов. Некоторые из них были вскоре изданы Готьо (Gauthiot). Остальные были переданы в Bibliothèque Nationale и лежали там в полном забвении, пока не были вновь открыты в 1936 г. За их издание взялся Бенвенист. И надо поражаться той быстроте и вместе с тем высокому научному уровню, с какими было реализовано это исключительно трудное научное предприятие. Трудности были на каждом этапе: при дешифровке (арамейское письмо, но с рядом особенностей), переводе (в неизвестном ранее языке, хотя и родственном некоторым уже изученным языкам, всегда много не встречавшихся ранее слов и грамматических форм), комментировании, составлении словаря. Эти трудности были успешно преодолены Бенвенистом, и его издания согдийских текстов, а также составленная им вторая часть согдийской грамматики стали настольными книгами каждого ираниста.

После кончины Мейе в 1936 г. Бенвенист стал душой Парижского лингвистического общества и издаваемого им «Бюллетеня». Он состоял также директором Иранистического института при Париж-

ском университете, президентом международной ассоциации по семиотике, редактором «Revue des études arméniennes».

К 70-летию Бенвениста вышли два сборника в его честь: «Langue, discours, société», 1975 и «Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste» (издание Société de linguistique de Paris).

Несколько слов о теоретических взглядах Бенвениста. Автор некролога, помещенного в газете «Monde» от 9 октября 1976 г., называет Бенвениста «наследником Соссюра» (l'héritier de Saussure»). Если это понимать в том смысле, что автор некролога относит Бенвениста к числу структуралистов, вряд ли покойный безоговорочно согласился бы с такой характеристикой. Если уж говорить о наследстве, то Бенвенист был прежде всего наследником своего предшественника Антуана Мейе. Верно, что Бенвенист относился к Соссюру с пиететом. Ведь Соссюр был не только родоначальник структурализма, но и автор блестящей работы о первоначальной системе гласных в индоевропейском. Верно также, что Бенвенист оценил то положительное, что несет в себе подход к языку как к знаковой системе. Но он ясно и недвусмысленно отмежевался от соссюровского учения о произвольности языкового знака. Он не имел ничего общего с крайними направлениями структурализма, которые выхолащивают из языкознания его гуманитарное содержание. В его исследованиях по конкретным языкам нет ничего от структуралистского схематизма и формализма. В этих исследованиях он прежде всего реалист. Реалист в том смысле, что языковые данные неразрывно связаны для него с реалиями материального и общественного бытия людей. Характерна в этом отношении одна из последних работ Бенвениста: «Vocabulaire des institutions indo-européennes», I—II, 1969. В этом труде автор путем анализа лексики восстанавливает широкую картину древнего индоевропейского общества, его хозяйства, семейных и общественных отношений, политического устройства, права, религии. Но ведь эта проблематика — проблематика «языка и истории» — идет от «традиционного» языкознания, от Якоба Гримма и Отто Шрадера, но никак не от Соссюра. Лингвистика Бенвениста — это не структурализм и не какое-то другое модернистское направление, а классическое сравнительное языкознание на новом этапе.

В феврале 1966 г. мне привелось несколько раз встречаться и беседовать с Бенвенистом. Незадолго до этого, в 1965 г., вышел русский перевод его книги «Études sur la langue ossète», и я говорил ее автору о том большом интересе, который она вызвала не только у лингвистов, но и среди широких кругов осетинской интеллигенции. Бенвенист заметил с улыбкой, что во Франции его книга не может похвастать таким же успехом.

На одном из приемов Бенвенист сказал много теплых слов о советской иранистике и призвал всемерно крепить и расширять дружественные связи между французскими и советскими учеными.

На русский язык, помимо книги об осетинском языке, были переведены «Origines de la formation des noms en indo-européen» («Индоевропейское именное словообразование», М., 1955) и первый том сборника его статей «Problèmes de linguistique générale» («Общая лингвистика», М., 1974). Тем временем в Париже вышел второй том этого сборника («Problèmes de linguistique générale», II, 1974). Следовало бы и этот том перевести на русский язык. Нет сомнения, что он имел бы у нас такой же успех и так же быстро разошелся бы, как первый.

Абаев В. И.

CONTENTS

Articles: B e l o d e d, I. K. (Kiev). Progress in science and technology and the language of belles-lettres; **The 60-th Anniversary of the Great October Socialist Revolution:** K o n o n o v, A. N. (Leningrad). Turkic linguistics in the USSR to-day; **Discussions:** S k o r i k, P. Y. (Leningrad). The problem of language community of the aboriginal North-East Asians; Z y c a r, Y. V. (Tbilisi). Typological characteristics of the ergative construction in the Basque language; A k h m a n o v a, O. S., G j u b e n n e t, I. V. (Moscow). «Vertical context» as a philological problem; M a k o v s k i j, M. M. (Moscow). Necessity and freedom in lexico-semantic change; B l o k h, M. Y. (Moscow). The problem of the identity of the sentence in the light of the correlation of syntax, semantics and information; **Materials and notes:** B l a g o v a, G. F. (Moscow). On the methods of study of medieval Turkic poetic texts; K o g o t k o v a, T. S. (Moscow). On the assimilation of lexico-semantic units of the literary language in the modern Russian territorial dialects; **From the history of science:** R e f e r o v s k a j a E. A. (Leningrad). The linguistic views of Gustave Guillaume; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: B e l o d e d, I. K. (Kiev). Progrès technique et scientifique et la langue des belles-lettres; **À l'occasion du 60-me anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre:** K o n o n o v, A. N. (Léningrad). Les études turques en URSS aujourd'hui; **Discussions:** S k o r i k, P. Y. (Léningrad). Problème de la communauté linguistique des aborigènes du nord-est asiatique; Z y c a r', Y. V. (Tbilisi). Caractéristique typologique de la construction ergative du basque; A x m a n o v a, O. S, G j u b b e n e t, I. V. (Moscou). «Contexte vertical» en tant que problème philologique; M a k o v s k i j, M. M. (Moscou). La nécessité et la liberté dans les changements lexico-sémantiques; B l o k h, M. Y. (Moscou). L'identité de la proposition sous le jour de la corrélation de syntaxe, sémantique et information; **Matériaux et notices:** B l a g o v a, G. F. (Moscou). Principes méthodologiques pour l'étude de la morphologie des textes mediévaux turcs; K o g o t k o v a, T. S. (Moscou). À propos de l'assimilation des unités lexoco-sémantiques de la langue littéraire par les dialectes du russe moderne; **De l'histoire de la science:** R e f e r o v s k a j a, E. A. (Léningrad). La doctrine linguistique de Gustave Guillaume; **Comptes-rendus.**

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1 Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 1/III-1977 г. Т-03294 Подписано к печати 28/IV-1977 г. Тираж 7275 экз.
Зак. 1930 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 12,6 Бум. л. 4½ Уч.-изд. л. 13,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. **Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.**

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.